

891

B-49

1913

P"

25384

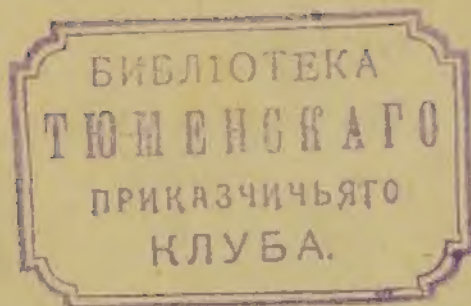
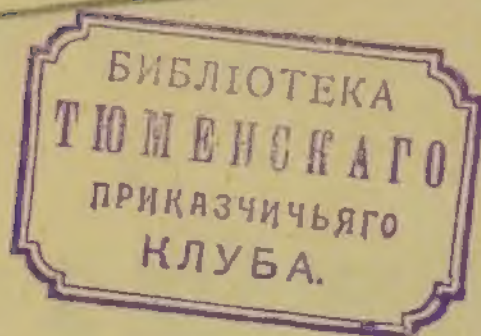
1. 3m

1000
03 ✓

X 96

3948
3.

IV-43(3)

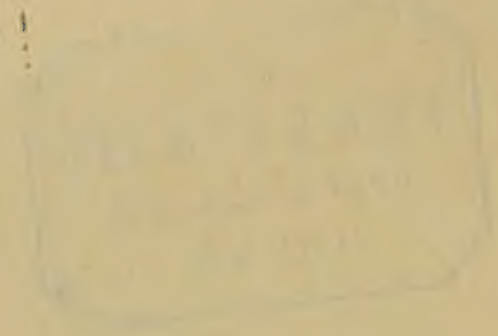


244

111

2

Cl. 11



2

2

2

891.7
#348 Н.а.

17-81

СБОРНИКЪ

КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ

3

0

Н. А. НЕКРАСОВЪ.

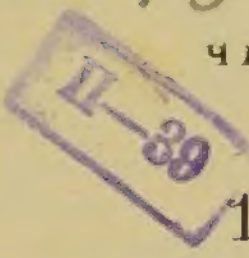
45

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

1864 — 1873.

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.



11/2/24 y. 1/2

25384

~~11/2/24~~

Изданіе третье.



МОСКВА.

Типографія Вильде, Малая Кисловка, домъ № 3.
1914.

37

11
BAC

DEPARTMENT

REVENUE

A. A. KENTON

1

ОГЛАВЛЕНІЕ

второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А.
Некрасовѣ“.

Предисловіе.....	Стр. V
Статья Д. Мережковского о Некрасовѣ	VII

Критика шестидесятыхъ годовъ.

1864 годъ.

Статья В. Зайцева о „Стихотвореніяхъ Н. А. Некрасова“.....	1
Библіографическій отзывъ, изъ „Книжнаго Вѣстника“.....	13

1865 годъ.

Статья изъ „Журнала для дѣтей“, о поэмѣ „Морозъ—красный носъ“.	15
----------------------------------------------------------------	----

1866 годъ.

Отзывъ о поэзіи Некрасова, изъ „Иллюстрированной Газеты“	20
Разборъ поэтической дѣятельности Некрасова, изъ „Воскреснаго Досуга“.	21

1867 годъ.

Отзывъ о Некрасовѣ Д. И. Писарева	25
-----------------------------------------	----

1868 годъ.

Замѣтка М. А. Загуляева о стихотвореніяхъ Некрасова	27
Статья Н. Соловьева, изъ „Всемирнаго Труда“	—
Статья Н. Л—ъ, изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, о „Генералѣ Топтыгинѣ“	32

1869 годъ.

Статья о Некрасовѣ М. Велинскаго, изъ „Кіевскаго Телеграфа“	36
Статья о Некрасовѣ Н. Страхова, изъ „Зари“	41

Критика семидесятыхъ годовъ.

1870 годъ.

Статья М. М., изъ „Иллюстрированной Газеты“	45
Замѣтка Л. Л., изъ „Новаго Времени“, о поэмѣ: „Кому на Руси жить хорошо“	48
Статья о Некрасовѣ Н. Страхова	—
Замѣтка Н. С. Тургенева о поэзіи Некрасова	56

	Стр.
Отзывъ В. Буренина о стихотвореніи „Дѣдушка“	57
Критическій очеркъ о литературной дѣятельности Некрасова, изъ „Новаго Времени“, подписанный псевдонимомъ <i>Иса</i> (И.В. Андреева?). 1872 годъ.	58
Разборъ Некрасовской поэзіи В. Г. Авсеенко, изъ „Русскаго Міра“...	86
Критическій очеркъ Постнаго (П. Н. Ткачова), по поводу романа: „Три страны свѣта“	91
Разборъ В. П. Буренина предыдущей статьи П. Ткачова.....	127
1873 годъ.	
Критическая статья В. Буренина о музѣ Некрасова	132
Статья А. С., изъ „Новаго Времени“, о поэмѣ „Русскія Женщины“..	141
Статья изъ „Новостей“, Новаго критика, подъ названіемъ: „Княгиня Волконская“	145
Статья В. Авсеенко о поэмѣ „Русскія Женщины“.....	148
Его же о поэмѣ: „Кому на Руси жить хорошо“ .. .	151
Отзывъ А. С., изъ „Новаго Времени“, о второй части поэмы: „Кому на Руси жить хорошо“.....	154
Статья В. Буренина о „Послѣдышѣ“.....	157
Статья изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ о талантѣ Некрасова	160
Критическій очеркъ о Некрасовѣ В. Авсеенко, подъ заглавіемъ: „Поэзія журнальныхъ мотивовъ“.....	162
Статья о Некрасовѣ С. Т. Герцъ-Виноградскаго, изъ „Одесскаго Вѣстника“, по поводу предыдущей статьи.....	197
Отзывъ изъ „Сіянія“ о стихотвореніяхъ Некрасова.....	201
Алфавитный указатель именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ.....	204

Отъ издателя.

Въ составъ настоящей второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ вошло свыше 30-ти отдѣльныхъ полныхъ критико-библіографическихъ отзыва, разбросанныхъ по разнымъ изданіямъ въ періодъ времени съ 1864-го по 1873 годъ включительно; кромѣ того, въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ книги указано на 34 статьи за тотъ же періодъ времени, не вошедшія въ предлагаемую книгу.

Второе изданіе второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ дополнено нѣсколькими критическими статьями, не входившими въ первое изданіе этой книги.

Третье изданіе настоящей второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“ перепечатано со второго изданія безъ перемѣнъ. Только въ началѣ книги помѣщена статья Д. Мережковского: „Некрасовъ“, заимствованная мною изъ „Русскаго Слова“ 1913 г., № 183.

В. Зелинскій.

Некрасовъ.

(Замѣтка *).

...„Я чувствую къ стихамъ Некрасова нѣчто въ родѣ положительнаго отвращенія... Отъ нихъ отзывается тшпой, какъ отъ леща или карпа“.—„Пробовать я на-дняхъ перечесть его стихотворенія... нѣтъ! Поэзія и не почевала тутъ, и бросилъ я въ уголъ это жеванное папье-маше съ поливкой изъ острой водки“. Это говоритъ Тургеневъ, а вотъ что говоритъ Л. Толстой:

„Мѣсто Некрасова въ литературѣ будетъ мѣсто Крылова. То же фальшивое простоародночанье и та же счастливая карьера—попасть въ вкусъ времени“.

Герцель находитъ въ стихахъ его „злую сухость“.

„Что за талантъ у этого человѣка. И что за тоноръ его талантъ!“—воскликаетъ Вѣлинскій.

Ап. Григорьевъ называетъ стихи его „больничными“, а другой критикъ—„дубовыми“.

„Его можно скорѣе назвать рѣмующимъ публицистомъ, чѣмъ поэтомъ“,—таково общее мнѣніе, выраженное въ одной изъ надгробныхъ статей, появившихся вскорѣ послѣ смерти поэта.

Не помогло оцѣнкѣ и время. Въ 1902 г. Л. Толстой упоминаетъ о „совершенно лишенномъ поэтическаго дара Некрасовѣ“. А въ 1911 г. Антоновичъ сдѣлалъ открытіе, что „Некрасовъ не былъ лирикомъ, а только дидактическимъ поэтомъ“.

* Замѣтка изъ подготовляемой къ печати статьи: „Дѣвѣ тайны русской поэзіи.—I. Тайна Некрасова.—II. Тайна Тютчева“.

Итакъ, Некрасовъ — поэтъ непризнанный. Его, столь близкаго сердцу русскихъ читателей и русской общественности, русская литература, художественная, выбрасываетъ, вышлевываетъ: этого мы не видимъ, это нечистое.

Какое-то чуждое тѣло, существо иной породы, иного міра выходецъ, втируша, индѣй гусенышъ въ курятникъ: не нашъ, не нашъ! Заклевать, заграбить!

Какая же этому причина?

Причина болѣе глубокая, внутренняя, — въ жизненной судьбѣ и личности поэта, болѣе вышняя — въ его поэзіи.

Въ поэзію онъ ввелъ политику, а это — грѣхъ непрощаемый, потому что политика — антиэстетика. Вотъ одно изъ общихъ мѣтегъ, слишкомъ поспѣшно принятыхъ. Политика — пошлость, „печной горшокъ“, а искусство — „божественный мраморъ, кумиръ Бельведерскій“. Да, можетъ быть, такъ, но, можетъ быть, и обратно. Именно сейчасъ, на нашихъ глазахъ, утвержденіе искусства, какъ самоцѣльной цѣнности, — вегетизмъ, — становится пошлостью, хуже всѣхъ „печныхъ горшковъ“: сейчасъ художникъ могъ бы сказать эстету, какъ Иванъ Карамазовъ своему чорту: „Нѣтъ, никогда я не былъ такимъ лакеемъ!“ А политика, тоже сейчасъ, на нашихъ глазахъ, въ демократіи, — самое грозное и грозное изъ всѣхъ явленій всемірно-историческихъ: если оно не прекрасно, то и гроза тоже.

Мы, такъ-называемые „господа“, — олимпийцы сомнительные; народы — титаны несомнѣнные. Искусство можетъ быть олимпийскимъ или титаническимъ. А какое прекраснѣе, — этого пока еще никто не знаетъ. Не понимать красоты титанической олимпийцамъ свойственно.

Искусство было соборнымъ — церковнымъ: оно, можетъ быть, будетъ соборнымъ — народнымъ. Сейчасъ искусство только лично въ узкомъ смыслѣ, — индивидуализмомъ, утвержденіемъ одинокой личности, пасквиль пронизано: одинъ говорить, а всѣ молчать — „народъ безмолвствуетъ“: но заговорить когда-нибудь, и голосъ его, „подобный шуму водъ многихъ“, не будетъ ли тою *новой тѣнью*, хвалою Всевышнему, которая предсказана, какъ прекраснѣйшее, что можетъ быть людьми достигнуто?

Некрасовъ хотѣлъ сдѣлать искусство всенароднымъ, — пусть неудачно, преждевременно, но все же хотѣлъ, первый и, кажется, донынѣ единственный изъ всѣхъ великихъ русскихъ поэтовъ.

Не я, а Достоевскій называетъ его великимъ, Достоевскій — явный другъ, тайный врагъ (ибо революціонное народничество Некрасова, въ глубочайшихъ, метафизическихъ корняхъ своихъ, противно Достоевскому): „Некрасовъ въ ряду поэтовъ долженъ прямо стоять за Пушкинымъ и Лермонтовымъ“, — говоритъ Достоевскій.

И Тургеневъ признался однажды: „А стихи Некрасова, собранные въ одинъ фокусъ, жгутся“. Почему же онъ все-таки не выноситъ ихъ, — потому ли, что дурно пахнутъ, или потому, что жгутся?

„Стихи Некрасова дѣйствуютъ не какъ поэтическое произведеніе, а какъ сама дѣйствительность“, — замѣтитъ кто-то изъ критиковъ, думая, что это — хула.

Въ самомъ дѣлѣ, между искусствомъ и дѣйствительностью, изображеніемъ и тѣмъ, что изображается, должна быть черта раздѣляющая. До черты есть то, что есть, а за нею все какъ *будто* есть, — не есть, а кажется. Вотъ эта черта, что „какъ будто“ у Некрасова почти стирается, такъ что трудно иногда отличить то, что есть, отъ того, что кажется. Изображеніе такъ выпукло, что глазъ обмануть, и хочется рукой ощупать предметъ. Но развѣ это хула, а не хвала художнику?

Мой суровый, неуклюжій стихъ!
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства.
Но кипятъ въ тебѣ живая кровь...

До такой степени живая, что онъ и самъ не знаетъ, что это, — изображенная или настоящая кровь?

Голодно, странничекъ, голодно,
Голодно, родименькій, голодно...

Что это: пѣснь о голодѣ, или самъ голодъ со своимъ страшнымъ волчьимъ воємъ?

„Онъ часто кричалъ или по часамъ тянулъ громко ла-

кую-то однородную ноту, напоминавшую бурлацкую ноту на Волгѣ", — описываетъ докторъ Бѣлоголовыи предсмертную бользнь Некрасова. Въ раннемъ дѣтствѣ слышалъ эту „пѣсню, подобную стону“, и вотъ, умирающій, затянуть ее самъ.

Двѣсти ужъ двей.
Двѣсти ночей
Муки мои продолжаются.
Ночью и днемъ
Въ сердцѣ твоємъ
Стоны мои отзываются...

И въ нашемъ сердцѣ тоже. Читай это, мы объ искусствѣ не думаемъ: не до того: слишкомъ живо, слишкомъ больно, — этого почти нельзя вынести. И только потомъ, вспоминая, чувствуемъ, что это предѣлъ искусства, тотъ край, за который оно переливается, какъ чаша слишкомъ полная.

„Онъ былъ очень слабъ, — записываетъ Пыпинъ въ своемъ дневникѣ о той же предсмертной бользни Некрасова. — Прочелъ новое стихотвореніе — „Колыбельная пѣсня“. Онъ стоялъ на постели на колыбеляхъ, въ одной рубашкѣ“.

Какъ не похоже на классическихъ поэтовъ, торжественно на лиръ бравадищихъ: какъ просто, буднично, но и какъ зато подлинно!

Онъ всю жизнь писалъ такъ. „Стихи отлѣли: приходитъ *Муза* и выворачиваетъ все наизнанку: начинается волненіе, скоро переходящее границы всякой умѣренности, — и прежде, чѣмъ успѣю овладѣть мыслью, катаюсь по дивану со спазмами въ груди: душно, виски, сердце бьются тревогу, — и такъ, пока не угомонится сверлящая мысль“.

Когда начну писать,
Перестану и спать, и ѣсть...

Какъ не похоже на ясное вдохновеніе Пушкина — „вдохновеніе геометра“!

Говорятъ, что у музы Некрасова нѣтъ вовсе лиры, а есть только голосъ. Стихи его пость рѣхъ другихъ — какъ человѣческій голосъ пость музыки. Не играетъ, а пость: не поеть, а плачетъ.

И кручину мою многолѣтнюю
На родимую грудь изолью,
И тебѣ мою пѣсню послѣднюю,
Мою горькую пѣсню спою...

Это не пѣніе струнъ, а пѣвучестіе рыданій.

Въ душѣ кипятъ рыдающіе звуки...

И ни единого звука, „подъ которымъ не слышно кипѣнья человѣческой крови и слезъ“.

Есть много пѣсней, болѣе стройныхъ, пѣвительныхъ, но нѣтъ болѣе рыдающихъ, хватающихъ за сердце.

Словно какъ мать надъ сыновней могилой,
Стонетъ куликъ надъ равниной унылой.
Пахарь ли пѣсню вдали запоетъ,—
Долгая пѣсня за сердце беретъ...

Вотъ эта-то долгая пѣсня и отзывалась въ его ананесахъ и дактиляхъ, такихъ протяжныхъ, пронзительно-унылыхъ и жалобныхъ.

Безконечно унылы и жалки
Эти пастбища, нивы, луга,
Эти мокрыя сонныя галки,
Что спятъ на вершинѣ стога...
Эта кляча съ крестьявиномъ пьянымъ...
Это мутное небо,—хоть плачь!

Плачетъ, а любить все это, — только это одно и любить, потому что—

Все, все настоящее русское было,
Что русскому сердцу мучительно мило.

Превращенное въ пѣсню, это и сдѣлалось поэзіей Некрасова.

Музѣ его не утѣшиться,—

Какъ не поднять плакучей пѣвъ
Своихъ понынувшихъ вѣтвей.

Но если есть красота въ скорби человѣческой, то пѣсни эти прекрасны.

Тусклія краски, блѣдные образы, но зато какіе звуки! Разъ услышавъ, уже никогда не забудешь. „Это разъ пронизаетъ сердце, и цѣлѣны остается рана“.

Бду ли ночью по улицѣ темной,
Бури ль заслушаюсь въ пасмурный день...

Все равно, что дальше, мы уже этими двумя стихами захвачены, какъ вдругъ услышанной музыкой или даже не музыкой, а тѣмъ, изъ чего сама она рождается. Такъ человекъ, молодой, здоровый, счастливый, вдругъ услышавъ вой бури въ осеннюю ночь, вспоминаетъ, что есть горе, старость, смерть.

Вообще, для Некрасова, какъ для художника, міръ больше суженъ, чѣмъ живописень и образень. Онъ лучше слышитъ, чѣмъ видитъ. Слышитъ все звуки міра съ ихъ вѣщимъ смысломъ, — отъ скрипа тюремной двери, —

Мнѣ самому, какъ скрипъ тюремной двери,
Противны стоны сердца моего. —

до крика журавлей, несущихся въ небѣ,

словно перекалячка
Хранящихъ сонъ родной земли
Господнихъ часовыхъ...

Слышитъ все звуки, но чаще всего — звукъ вѣтра. Не потому ли, что вѣтеръ *волнуетъ*, а самъ пѣвецъ — пѣвецъ волн по преимуществу? Вся его поэзія, какъ Золота арфа, звучитъ музыкой вѣтра. Изъ вѣтра и самая пѣсня рождается.

То изъ вѣтра осенняго:

Если пасмуренъ день, если ночь не свѣтла,
Если вѣтеръ осенній бушуетъ...

То изъ вѣтра весенняго — Шума Зеленаго:

Идетъ, гудеть Зеленый Шумъ,
Зеленый Шумъ, весенній шумъ...

Онъ слышитъ, какъ въ снѣжныхъ тундрахъ Сибири,
надъ могиллой изгнанника,

Встаютъ смерчи, режутъ бураны...

И какъ тамъ, во глубинѣ Россіи, гдѣ вѣковая тишина,

Лишь вѣтеръ не даетъ покою
Вершинамъ придорожныхъ пѣвъ,

И выгибаются дугою,
Цѣлуясь съ матерью землею,
Колосѣя безкопечныхъ вѣвъ.

Слышите и послѣднюю бурю освобожденія:

Грянь надъ пучиною моря,
Въ полѣ, въ лѣсу засвищи,
Чашу вселенскаго горя
Всю расплещи!

„Онъ ставитъ цѣну стиховъ своихъ въ томъ, что ни у кого изъ нашихъ писателей не говорилось такъ *прямо о дѣлѣ*“.—записываетъ Пыпинъ слова Некрасова. Да, „прямо о дѣлѣ“,—лучше нельзя выразить сущность этой поэмы. Высшая цѣнность ея — дѣльность, *прагматизмъ*, какъ мы теперь сказали бы.

Лежить на ней дѣльности строгая
И внутренней силы печать.

Въ этомъ —связь Некрасова съ Пушкинымъ, несмотря на всю ихъ противоположность, антиномичность, какъ будто неразрывимую. Пушкинъ говоритъ такъ же прямо, какъ Некрасовъ, хотя и о другомъ дѣлѣ.

„Прямо о дѣлѣ“,—значить, правдиво и просто. Этому завѣгу Пушкина—простотѣ и правдѣ душевной, простотѣ и правдѣ художественной—Некрасовъ остается вѣренъ. Стихи его часто бываютъ прозою, часто не умѣетъ онъ сказать того, что хочетъ, но никогда не говоритъ того, что не хочетъ, никогда не лжетъ. Знаетъ, такъ же, какъ Пушкинъ, что прекрасно только правдивое.

Отъ внутренней правды —внутренняя сила и крѣпость, то здоровье душевное, во всѣхъ мукахъ несокрушимое, которое также сближаетъ его съ Пушкинымъ. Если Некрасовъ и боленъ, то отнюдь не такъ, какъ, наиримѣрь, Тютчевъ, нашъ декадентскій дѣдушка. У того зараза въ крови— „*malaria*“:

Люблю сіе незримо
Кругомъ разлитое, таинственное зло...

„Люблю зло“,—вотъ чего никогда не сказать бы Некрасовъ. Искатѣлень, изломанъ, но не извращень. Боленъ,

потому что ранен: выньте железо изъ раны — и будетъ здоровъ.

„Прямо къ дѣлу“, — прямо къ вѣсѣ Его поэзія — волевая, бѣгая по преимуществу. Мысль и чувство переходить въ волю, какъ свѣтъ въ огонь подъ зажигательнымъ стекломъ. Вотъ почему стихи его „жгутся“.

Неуклюжіе, суровые, жесткіе, грубые, тяжкіе. Стихи Пушкина — золотые: стихи Лермонтова — стальные: стихи Некрасова — каменные.

Камни тверды.
Любой попробуй; но огня
Добудешь только изъ кремня.

Вся его поэзія — огонь изъ кремня.
Онъ былъ художникомъ, но не только художникомъ.

Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ,
Пѣсня мнѣ мѣшала быть бойцомъ.

Постыднее, можетъ быть, вѣрно: первое — нѣтъ: безъ борьбы и поэзіи бы вовсе не было.

Въ этомъ онъ, пожалуй, измѣняетъ Пушкину, но не онъ одинъ, а вся русская литература, отъ Гоголя до Л. Толстого и Достоевскаго. Хорошо это или дурно, — вопросъ неразрѣшимый въ предѣлахъ оцѣнки только эстетической, такъ-называемаго „искусства для искусства“. Что выше — искусство для жизни или жизнь для искусства? Красота олимпийская или титаническая? Художникъ — жрецъ или жертва?

Сравнивать Некрасова съ Пушкинымъ по силѣ творчества было бы эстетическимъ премахомъ. Художественныя неудачи Некрасова такъ на виду, что о нихъ и говорить не стоить. Но въдѣ и всѣ, по сравненію съ Пушкинымъ, — неудачники. Онъ одинъ — кругъ, всѣ остальные — части круга, незышленные сегменты или безконечныя параболы. Какая линия движенія прекраснѣе, безконечнѣе — кругъ или парабола, путь солнца или путь кометы, — опять вопросъ, неразрѣшимый въ предѣлахъ оцѣнки только созерцательной. Но въ оцѣнкѣ дѣйствительной нѣ уже давно рѣшено, по крайней мѣрѣ, для насъ, русскихъ читателей.

Наша поэзія не только поэзія, но и пророчество: не только созерцаніе, но и дѣйствіе. Если ужъ чѣмъ-нибудь жертвовать, — а жертвовать надо, двинаясь, стремясь къ чему-нибудь, — то мы, во всякомъ случаѣ, пожертвуемъ не жизнью искусству; и если самъ поэтъ — жрецъ или жертва, то лучше пусть онъ будетъ жертвою; и если пить огня безъ пенна, то лучше пусть искусство будетъ пенломъ, а жизнь — огнемъ.

Такъ для насъ, — такъ и для Некрасова. И въ этомъ онъ ближе намъ, чѣмъ Пушкинъ, въ этомъ намъ больше по пути съ нимъ.

Пушкинъ у насъ одинъ, какъ первая любовь одна. Никого никогда мы такъ не любимъ. Некрасова мы любимъ *иначе*, но кого изъ нихъ больше, — не знаемъ. Муза Пушкина — наша невѣста; муза Некрасова — наша сестра или мать. Бываютъ минуты, когда мы любимъ сестру или мать больше невѣсты. Кажется, именно сейчасъ такая минута.

Вѣдь и наша суть, суть русской общественности, та же, что у Некрасова: духъ не созерцательный, а дѣятельный, не жреческій, а жертвенный.

Какъ осажденную крѣпость, пѣвую Ветилую нагорную отъ ассирійскихъ полчищъ, отдѣляетъ русскую интеллигенцію отъ всей Россіи прошлой, а можетъ быть, и настоящей, глубокий ровъ. По его сторону рва — у насъ — маленькая кучка людей ненавидящихъ, — любящихъ и ненавидящихъ вмѣстѣ всю Россію прошлую во имя будущей: по ту сторону — у *нихъ* — вся Россія прошлая съ великою русскою литературой художественной.

Пушкинъ увидѣлъ ровъ и отступилъ, остался у нихъ. Лермонтовъ — тоже у нихъ, но ни за нихъ, ни за насъ. Гоголь сначала былъ съ нами, но потомъ ушелъ къ нимъ. Тургеневъ — то у насъ, то у нихъ, — вѣчнымъ перебѣжникомъ. Достоевскій подходилъ къ стѣнамъ крѣпости съ бѣлымъ знаменемъ, но мы его не приняли. А. Толстого мы звали, но онъ не пошелъ къ намъ.

У насъ — пѣвые войны, которые умѣютъ сражаться и умирать, но пить не умѣютъ. И вотъ Некрасовъ дать го-

лось нѣмнѣе: жить, — и подлѣ пѣснь его легче стало жить и умирать.

И до сихъ поръ онъ — нашъ пѣвецъ единственный. Это такъ вѣрно, что если бы съ лица земли исчезла вдругъ вся русская интеллигенція, то можно бы узнать, чѣмъ она была въ смыслѣ эстетическомъ, не по Л. Толстому, Достоевскому, Гоголю, Пушкину, а только по Некрасову. Въ этомъ смыслѣ Чернышевскій правъ, утверждая, что Некрасовъ — „величайшій изъ русскихъ поэтовъ“. Величайшій — не для всей Россіи, а для маленькой кучки людей, осажденныхъ въ крѣпости.

Съяте разумное, доброе, вѣчное...

Старая пѣсня. Не слишкомъ ли старая, обыкновенная? Но вѣдь и воздухъ, и вода обыкновенны. Общее мѣсто, но одно изъ тѣхъ общихъ мѣстъ, на которыхъ держится міръ, какъ на законѣ тяготѣній. Это наша суть — суть русской интеллигенціи, — ее го Некрасовъ и высказалъ.

Какъ же намъ не любить его? Каковы мы, таковъ и онъ. Если онъ плохъ, — значитъ, и мы плохи, но онъ все-таки нашъ, плоть отъ плоти, кость отъ кости, нашъ, единственный. Что же намъ дѣлать, если нѣтъ у насъ другого, лучшаго? Отречься отъ него — значитъ, отъ себя отречься. Пока жива русская интеллигенція, живъ будетъ и онъ. „Этотъ человѣкъ остался въ нашемъ сердцѣ“. И на-вѣки останется.

Пускай чуть слышенъ голосъ твой...
Но ты воспрянешь за чертой
Неотразимаго забвенья.

Онъ что предрекъ, и теперь, на нашихъ глазахъ, это исполняется.

Мы любимъ справлять юбилей и ждемъ для нихъ годовщины, совпаденія чиселъ. Но существуютъ годовины вѣщія не въ памяти чиселъ, а въ памяти сердца.

Кажется, именно сейчасъ такая годовщина наступаетъ для Некрасова.

Д. Мережковский.

Критика шестидесятихъ годовъ.

1864 г.

*) На этотъ разъ я намѣренъ говорить съ читателями о стихотвореніяхъ г. Некрасова. То, что я скажу о нихъ, будетъ лишь отголоскомъ того, что думается о нихъ вся образованная Россія, но зато совершенно несогласно съ отзывами литературы. Въ то время, какъ вся русская молодежь читала, читаетъ и знаетъ наизусть стихи г. Некрасова, литературная критика послѣднихъ лѣтъ большинствомъ голосовъ отказывала ему не только въ тѣхъ достоинствахъ, какія признавались за нимъ публикою, но и въ десятой долѣ тѣхъ, которыя та же критика находила въ изобиліи у гг. Фета, Тютчева и Майкова. Нечего и говорить, что главною причиною такой критической оцѣнки было то, что г. Некрасовъ не только поэтъ, но и издатель „Современника“. Конечно, подобные мотивы не дѣлаютъ чести безпристрастію эстетической и всякой другой критикѣ. Но о безпристрастіи въ этомъ случаѣ не можетъ быть и рѣчи: достаточно, напирѣвъ, вспомнить, что г. Некрасова упрекали въ томъ, что одна изъ героинь его потчуетъ своего возлюбленнаго водкой. Впрочемъ, пристрастіе и придирки можно бы было до известной степени оправдать, потому что не мытемъ, такъ кантаньемъ, говоритъ пословица: чѣмъ бы ни доѣхать врага, лишь бы доѣхать. Но дѣло въ томъ, что ужь если доѣзжать, то надо такъ, чтобы изъ этого вышелъ дѣйствительно ущербъ врагу, а не посрамленіе самой критикѣ. Въ отношеніи же г. Некрасова критика поступила такъ, что всякому человѣку, не принадлежащему къ врагамъ „Современника“, пріятно

*) „Русское Слово“ 1864 г., № 10. Статья В. Зайцева. „Стихотворенія Н. А. Некрасова“.

вспомнить ея продѣлки, покрывшія ее стыдомъ и срамомъ. Пріятно указать всѣмъ этимъ Дудышкинымъ и пр. на ихъ бывшіе подвиги, и въ то же время напомнить имъ, какъ безсильны остались ихъ натянутыя нападки передъ мнѣніемъ всей нашей читающей публики, передъ общимъ голосомъ всей молодежи. Своимъ отношеніемъ къ г. Некрасову критика наша приготовила себѣ въ будущемъ такую же незавидную славу, какъ Евдѣй Булгаринъ своимъ эстетико-критическимъ взглядомъ на Гоголя. „Отечественнымъ Запискамъ“ посчастливилось первымъ отличиться въ подобномъ дѣлѣ. И не знаю, помялъ ли когда-нибудь этотъ журналъ все безобразіе своего разбора стихотвореній Некрасова и все безсильіе своей злобы, накинувшейся на поэтическую дѣятельность издателя „Современника“. И бы желалъ знать, думаютъ ли „Отечественныя Записки“, что критика ихъ могла убѣдить хотя единого человѣка въ цѣлой Россіи, и можно ли имъ вспоминать, не краснѣя, о своемъ походѣ противъ литературной репутаціи г. Некрасова. Несомнѣнно только то, что въ настоящее время, когда возродились надежды на пассивное отношеніе публики къ литературнымъ продѣлкамъ и, слѣдовательно, на возможность выдать ей грязь за золото и наоборотъ, примѣръ „Отечественныхъ Записокъ“ напелъ подражателей. Въ № 43 „Дня“ за нынѣшній годъ какой-то г. Н. Б. берется за неблагодарный трудъ убѣдить публику въ томъ, что ей слѣдуетъ бросить и забыть стихи г. Некрасова и приняться за Константина Аксакова. Къ этой достопримѣчательной статьѣ я обращаюсь ниже; конечно, отъ нея не предстоить никакой серьезной опасности, и совершенно несбыточно, чтобы русская публика промѣняла когда-нибудь Некрасова на Хомякова, на всю семью Аксаковыхъ, на Языкова и на прочихъ славянофильскихъ бардовъ, пѣвшихъ о Прагѣ и о пѣвникахъ. Но я обращаюсь къ этой статьѣ, потому что въ ней, конечно, съ враждебными цѣлями, указаны многія важныя стороны произведеній г. Некрасова.

Но, прежде чѣмъ обратиться къ разбору стихотвореній г. Некрасова (при чемъ я имѣю въ виду только 3-ю часть ихъ), мнѣ необходимо предупредить всякую возможность замѣчаній, крайне пошлыхъ и нелѣпыхъ, но возможныхъ со

стороны людей, повторяющихъ по сто разъ въ годъ и всякій разъ съ одинаковымъ удовольствіемъ, какъ нѣчто необычайно остроумное, что для пигмалистовъ важнѣе всего брюхо. Такіе господа, прочитавъ мой отзывъ о г. Некрасовѣ, могутъ объявить мнѣ, что я сужу непоследовательно, что для человѣка, не симпатизирующаго чистой поэзіи, въ литературѣ можетъ быть важна только „опытная страпуха“ или „наставленіе въ билліардной игрѣ“. Имъ можетъ показаться съ моей стороны несообразнымъ, если я выражу симпатію къ поэзіи г. Некрасова и не раздѣляю ихъ восторговъ къ Лермонтову. Эстетическіе критики, вѣроятно, не усумнятся отдать предпочтеніе Лермонтову передъ г. Некрасовымъ. И дѣйствительно, можно согласиться, что если о достоинствѣ поэтическаго произведенія должно судить лишь по степени красоты стиха, смѣлости и картинности метафоръ и возвышенности сюжетовъ, то они правы, тѣмъ болѣе, что Лермонтовъ „Современника“ не издавать. Поклонники чистой поэзіи, не требуя ничего болѣе этого отъ поэтическаго произведенія, приходятъ въ восторгъ отъ „ночного зефира“, гдѣ достоинства эти доведены до великой степени, но больше ничего нѣтъ, и они съ своей точки зрѣнія правы. Но они не могутъ обвинять въ непоследовательности человѣка, который, не ставя ни въ грошъ лучшія, чисто поэтическія произведенія, будетъ хвалить поэта, у котораго находить тѣ свойства, которыя онъ цѣнитъ въ писателѣ вообще. Нелѣпо восхищаться звучными римами и возвышенными сюжетами; но еще нелѣпѣе отрицать достоинства литературнаго произведенія за то только, что оно написано стихами, а не прозою, выражаетъ мысли въ формѣ воззваній и картинъ, а не строгихъ силлогизмовъ и вычисленій. Поэтому безтолково удивляться похвалѣ, возданной поэту-мыслителю человѣкомъ, отрицающимъ чистую поэзію.

Съ этой точки зрѣнія я и гляжу на произведенія г. Некрасова. Я приступаю къ его сочиненіямъ съ тѣми же требованіями, съ какими приступаю къ произведеніямъ критика, историка, публициста, беллетриста. Отъ всѣхъ ихъ равно каждый читатель требуетъ прежде всего честной, свѣжей мысли, вѣрнаго взгляда на предметъ, выбранный писате-

лемь, и яснаго изложенія своего мнѣнія. Предметъ, о которомъ говоритъ авторъ,—вещь сама по себѣ второстепенная; для каждаго читателя въ отдѣльности онъ важенъ потому, что можетъ интересовать его или нѣтъ; но самъ по себѣ онъ только тогда лишаетъ сочиненіе всякаго достоинства и дѣлаетъ его никуда не годнымъ, если совершенно лишентъ всякаго интереса для кого бы то ни было. Таковы предметы большей части лирическихъ пѣснопѣвій, какъ, напр., „Ночной зефиръ струитъ эфиръ“. Про такое произведеніе каждый можетъ сказать, что оно абсолютно плохо и негодно, тогда какъ про „Сорокатынне опыты“ Авдѣвой этого нельзя сказать, какъ бы мало кто ни интересовался свѣдѣніями объ изготовленіи блинчататаго пирога съ яйцомъ. Такую книгу только тогда можно признать негодною, если специалисты скажутъ, что все пироги съ яйцомъ, изготовленные по методу г-жи Авдѣвой, вышли неудобосѣдобными. Наконецъ, послѣднее въ произведеніи—форма, потому что человѣкъ, произносящій свое сужденіе о произведеніи только на основаніи формы его, уподобляется Петрушкѣ Чичикова, или, по крайней мѣрѣ, представляетъ непосредственный переходъ отъ такого читателя къ болѣе развитымъ. Изъ этого ясно, что вполне прекраснымъ можно назвать такое произведеніе, въ которомъ глубокий, честный и умный взглядъ на предметъ, имѣющій важность для наиболѣе обширнаго числа людей, высказанъ въ удобной и красивой формѣ.

Г. Некрасовъ имѣетъ полное право на названіе мыслителя. Мало того, это —мыслитель глубокий и честный. Въ основѣ его лежитъ высокая гуманность и любовь къ своей родинѣ, не подъ отвлеченнымъ представленіемъ отечества, породившимъ патріотическія стихотворенія Жуковского, Розенгейма и Майкова, а подъ живымъ, дѣйствительнымъ образомъ народа. Я бы назвалъ г. Некрасова народнымъ поэтомъ, если бы прозваніе это не было замазано эстетиками, прилагавшими его ко всякой нечистотѣ. Разумѣется, я не хочу сказать, чтобы стихотворенія г. Некрасова сдѣлались народными пѣснями въ родѣ „Не бѣты то сибѣи“..., и не буду приписывать никакой важности тому, что одно изъ

самыхъ плохихъ произведеній его расцѣвается извозчиками и лакеями. И не хочу также повторять эстетическихъ не-дѣльностей, говоря, будто бы поэзія г. Некрасова вытекла изъ народа. Народнымъ поэтомъ я называлъ бы г. Некрасова потому, что герои его пѣсеней одинъ — русскій крестьянинъ. Но онъ говоритъ о немъ, конечно, какъ человѣкъ развитой, какъ говорилъ Добролюбовъ; онъ не „поетъ“ его, а думаетъ о немъ, о его бѣдахъ и горѣ, не ограничивается объективнымъ изображеніемъ страданія, но мыслить о немъ, и мысли свои, глубокія и свѣтлыя, перечаетъ въ прекрасныхъ, свободныхъ стихахъ, въ которые безъ натяжекъ укладывается народная рѣчь, и которые чужды поэтическимъ метафоръ и аллегорій. Очень мало у г. Некрасова стихотвореній, гдѣ героемъ является не народъ; но въ такомъ случаѣ это навѣрно не Наполеонъ на скалѣ, не Прометей съ коршунѣмъ, не Фаустъ съ Мефистофелемъ, не Демонъ съ Тамарой; этими великолѣпными сюжетами, дающими такой просторъ поэтическимъ вольностямъ, смѣлымъ порывамъ поэтической песклядицы, широкимъ размахамъ художественной кисти, нашъ поэтъ пренебрегаетъ. Герои его, кромѣ народа, тѣ труженики и страдальцы, которые работали мыслію или дѣломъ и хотя не непосредственно, но принесли свою лепту. По предмету своему, по своему герою стихотворенія г. Некрасова не имѣютъ равныхъ во всей русской литературѣ.

Теперь посмотримъ, что же думаетъ г. Некрасовъ о своемъ героѣ, какъ смотритъ онъ на него и какъ понимаетъ его. Если мы увидимъ, что онъ высказалъ мысли вѣрныя и глубокія, то, конечно, мы будемъ имѣть право высоко поставить этого писателя и, слѣдовательно, признать, что русская публика и особенно молодежь не ошиблась въ выборѣ любимаго поэта.

Естественно, что критикъ „Дня“ разсматриваетъ г. Некрасова именно съ точки зрѣнія его отношенія къ народу. Точка зрѣнія, разумѣется, единственно возможная, когда рѣчь идетъ о стихахъ Некрасова. Но „День“, конечно, не допускаетъ мысли, чтобы издатель „Современника“, литераторъ, дѣятельность котораго сосредоточена въ Петербургѣ, могъ имѣть вѣрный взглядъ на народъ, потому что для

этого, какъ извѣстно, необходимо родиться, вырасти и состарѣться въ Москвѣ, начать литературное поприще въ „Москвитяинѣ“, продолжать въ „Днѣ“, и чуть ли даже не принадлежать къ семьѣ Аксаковыхъ, по крайней мѣрѣ, хоть такъ, чтобы дѣдушка автора съ бабушкой Аксакова—его отъ купели восприняли. Соображенія эти самыя честныя, какія могутъ быть приписаны г. Н. Б., потому что всякія другія будутъ для него крайне чужды. Г. Н. Б. порицаетъ г. Некрасова за то, что въ отношеніи его къ жизни народа виденъ только протестъ. Г. Н. Б. находитъ, что если самый характеръ того періода, когда началась дѣятельность г. Некрасова, не благопріятствовалъ другому отношенію, то во всякомъ случаѣ поэтъ долженъ былъ дать, взявъ отъ отвергаемаго, свой идеалъ. И, наконецъ, говоритъ критикъ, рабство навѣки отмѣнено. „Развѣ, однако жъ, говоритъ онъ, не продолжаютъ *нѣкоторые* изъ нихъ (нигилистовъ) еще и въ наши дни скорбныхъ сѣтованій на прежній ладъ? Больше того, давая теперь угадывать какъ бы скрытую досаду свою, что, сломивъ крѣпостное ярмо въ Россіи, отняли у нихъ самое право на ихъ вѣчное негодованіе, навсегда лишивъ ихъ негочиника самыхъ яростныхъ вдохновеній—не дадутъ ли они еще ясно угадывать и того, что самое обращеніе къ „нижней братіи“, вѣчныя званія къ ея бѣдствіямъ и страданіямъ подчасъ могли исходить никакъ не отъ чистаго движенія любвеобильнаго сердца, а изъ болѣе мутныхъ источниковъ души человѣческой“.

Читатель изъ этого можетъ видѣть, что я только изъ любезности предположилъ бы въ критикѣ нѣкоторое тупоуміе.

На весь этотъ неблагоприятный вздоръ можно бы было отвѣтить, что протестъ вовсе еще не обуславливаетъ необходимость идеала, что при томъ всякое отрицаніе есть вмѣстѣ съ тѣмъ положительное желаніе, чтобы прекратилось то положеніе, противъ котораго я протестую. Все это повторилось миллионъ разъ, но только неидетъ вироку. Поэтому я очень радъ, что г. Некрасовъ представилъ въ своихъ стихотвореніяхъ рядомъ съ протестомъ такіе вѣрные идеалы, что мнѣ нѣтъ необходимости прибѣгать къ повторенію этихъ истинъ, отскакивающихъ отъ лбовъ писателей

известнаго сорта, какъ горохъ отъ стѣны. Правда, идеаль г. Некрасова не имѣетъ ничего общаго съ идеалами другихъ поэтовъ; онъ не фантастическій какой-нибудь, а возможный, необходимый, несомнѣнный. Идеаль этотъ построенъ на идеяхъ любви и благосостоянія и выраженъ въ самой осуществимой формѣ. На эту-то положительную сторону произведеній г. Некрасова я и намѣренъ особенно обратить вниманіе, и даже очень благодаренъ г. Н. Б., убѣдившему меня своей статьей, что могутъ быть люди, не понявшіе и не замѣтившіе этой стороны, такъ что указать на нее будетъ не лишнее.

Читатели, безъ сомнѣнія, помнятъ ту страшную картину въ поэмѣ „Морозъ—красный посъ“, гдѣ несчастная вдова крестьянина медленно замерзаетъ, безчувственная къ холоду, погрузившись въ свои тяжкія думы. Печальны ея мысли, и вспоминаются ей грустныя сцены. Только когда смерть уже охватила ее, когда воевода-морозъ уже коснулся ее, когда уже

... Дарьюшка очп закрыла,
Топоръ уронила къ ногамъ,

ей видится чудная, розовая картина свѣтлаго, истиннаго счастья (что необыкновенно вѣрно въ отношеніи описанія смерти отъ замерзанія):

И спится ей жаркое лѣто—
Не вся еще рожь свезена,
Но жата—полегче имъ стало! и пр.

(Выписка оканчивается словами: „И ей изъ сноповъ улыбались румяныя лица дѣтей“...).

Эта картина есть самый полный идеаль счастья, какой только могла создать фантазія крестьянки; но, конечно, немного прибавить къ нему самый развитой человѣкъ, самый великій геній въ мечтахъ о совершенномъ благополучіи людей. Основные элементы этого благополучія здѣсь все: любовь, довольство и привлекательный трудъ среди чистой, прекрасной природы. Это та вершина благополучія, на которой человѣку остается еще только искать наслажденія въ наукѣ и въ искусствѣ; это то счастливое состояніе, гдѣ можно съ полнымъ правомъ проповѣдывать науку для науки

и искусство для искусства. Наконецъ, это тотъ результатъ, къ которому стремится весь прогрессъ и въ которомъ наслажденіе свободною любовью, свободнымъ трудомъ и здоровой бѣдностью изгладило даже мучительное воспоминаніе о прошломъ рабствѣ и нищетѣ. Кто не пойметъ этого, кто пройдетъ мимо этой картины равнодушно или съ банальными похвалами, тотъ пошлый филистеръ, не видящій ничего дальше своего носа и носовъ своего кружка. Отъ такого господина можно даже ожидать, что онъ останется недоволенъ тѣмъ, что эта картина представлена бредомъ умирающей, а не дѣйствительностью. Но поймите же вы, наконецъ, безнадёжные филистеры, что въ дѣйствительности ничего подобнаго нѣтъ, что если бы въ минуту смерти крестьянкѣ грезилось ея дѣйствительное прошлое, то она бы увидѣла побой мужа, не радостный трудъ, не чистую бѣдность, а смрадную нищету. Только въ розовомъ чаду опіума или смерти отъ замерзанія могли предстать передъ нею эти чудныя, но никогда не бывавшія картины. Вамъ дѣлается жутко отъ этой сцены смерти. Дѣйствительно, есть отъ чего прийти въ ужасъ, и если потрясающее изображеніе бѣдствія есть само по себѣ протестъ, то, конечно, протестъ этотъ такъ же силенъ, какъ велико горе, представляемое потомъ. Но кто не причастенъ филистерству и пошлости кружковъ, тотъ, прочитавъ предсмертный бредъ Дарьи, пойметъ, что насколько силенъ протестъ, настолько же высокъ и идеаль, помѣщенный рядомъ съ протестомъ, или, лучше, въ немъ же самомъ.

Г. Некрасовъ часто останавливается на судьбѣ русской женщины вообще, особенно же на долѣ крестьянки и, правда, нигдѣ не показавъ онъ намъ въ розовомъ свѣтѣ ея настоящее. Возьмемъ хотя бы 3-ю часть его стихотвореній, гдѣ въ „Дешевой покупке“ онъ представилъ женщину изъ крѣпостного быта:

... Созданіе бездомное,

Порабощенное грубымъ невѣждою!

въ „Рыцарѣ на часъ“ женщину — жене и мать, о которой онъ говоритъ:

Всю ты жизнь прожила нелюбимая,

Всю ты жизнь прожила для другихъ.

Съ головой, бурямъ жизни открытою,
Весь свой вѣкъ подъ грозою сердитою
Простояла ты,—грудью своею
Защищая любимыхъ дѣтей.
И гроза надъ тобой разразилася!

Еще печальнѣе доля крестьянки:

Доля ты!—русская долюшка женская!
Врядъ ли труднѣе сыскать.
Немудрено, что ты вынешь до времени
Всевыпоящаго русскаго племена
Многострадальная мать!

И поэтъ показываетъ намъ и жену („Жница“) и мать („Орина, мать солдатская“), показываетъ во всей безысходности ея горя, во всемъ ужасѣ ея судьбы. Я бы спросить читателя, возможно ли это представление, клевета ли на русскую жизнь эти слова, правда ли, что доля женщины была такъ печальна, какъ изображаетъ ее г. Некрасовъ? Но спрашивать было бы излишне, потому что лучшимъ отвѣтомъ на такіе вопросы служить то, что все, что есть лучшаго въ Россіи, читаетъ Некрасова и вѣритъ ему.

Однако, г. Н. Б. полагаетъ, что сочувственное изображение страданій и горя народа происходитъ у некоторыхъ „изъ мутныхъ источниковъ души, а не изъ чистаго движенія любвеобильнаго сердца“, и затѣмъ педантично оговаривается, что подъ *нѣкоторыми* онъ не подразумѣваетъ г. Некрасова. Какъ бы то ни было, но г. Н. Б. не признаетъ вѣрности въ изображеніи г. Некрасовымъ крестьянской доли, по крайней мѣрѣ, теперь. Напримѣръ, ему очень не нравится, что г. Некрасовъ не изобразилъ въ „Жницѣ“ какого-нибудь „веселаго пейзажника“, въ родѣ сбора винограда: что крестьянка, въ стихотвореніи г. Некрасова, роняетъ слезы, трудясь черезъ силу въ полѣ, гдѣ спитъ ея ребенокъ, вмѣсто того, чтобы отличатся „видомъ“ „бодрой живости и довольства“. Г. Н. Б. не нравится также, что въ поэмѣ „Морозъ — красный носъ“ крестьянина постигаетъ горе, что въ ней — смерть, сиротство, бѣда, а не счастье, веселіе и радость. Оставшись недовольнымъ печальною развязкою поэмы, критикъ заключаетъ, что г. Некрасовъ — отчаянный и положительный

ишій отрицатель, нигилистъ; заключаетъ, что „горе его и со-
крушеніе по русской родной землѣ“ есть „конечный плодъ
нашего мнимаго, оторваннаго отъ народной почвы образо-
ванія, съ его вѣчнымъ стремленіемъ къ какому-то отвлечен-
но-гуманитарному и космополитическому прогрессу“. Съ
антобомъ, свойственнымъ людямъ, отмежевавшимъ себя въ
вѣдѣніе всю суть русской жизни, г. Н. Б. рѣшаетъ, что
„толпа не приметъ обѣтованій г. Некрасова“.

Всякій, конечно, оцѣнитъ по справедливости сужденія
г. Н. Б. о стихотвореніяхъ г. Некрасова. Не трудно сооб-
разить, что уничтоженіе крѣпостного права не могло мгно-
венно искоренить все горе, лежавшее на крестьянинахъ, и что
поэтъ, изображающій „крестьянскую долю“, вѣроятно, еще
не вдругъ достигнетъ того, чтобы картины его выходили
розовыми и привлекательными, въ то же время оставаясь
вѣрными. Довольно также легко оцѣнить по достоинству
тотъ минимй патріотизмъ г. Н. Б., который не выноситъ
неподкрашеннаго изображенія народной доли, и требуетъ
во что бы то ни стало „веселыхъ пейзажей“. Этотъ бала-
ганный конекъ былъ такъ изъѣженъ московскими публи-
цистами, что всякій разсудительный человекъ очень хоро-
шо знаетъ, что они могутъ сказать по поводу стихотво-
реній г. Некрасова. Поэтому я давно бы пересталъ говорить
о критикѣ „Дня“, если бы не видѣлъ въ немъ замѣчатель-
но полного типа понятій и сужденій того кружка, къ ко-
торому онъ принадлежитъ. При томъ субъектъ этотъ дово-
дитъ мнѣнія своего кружка до такихъ размѣровъ, что на
немъ удобнѣе показать ихъ безобразіе.

Кто бы могъ, напримѣръ, подумать, что, прочитавъ „Ры-
царя на часъ“ г. Некрасова, критикъ вывелъ изъ этого от-
рывка такое заключеніе, что поэтъ „стыдится своихъ луч-
шихъ порывовъ и спѣшитъ заглушить ихъ безпощаднѣй-
шей прозой“. Всякій, кто читалъ этотъ отрывокъ, знаетъ,
что, во-первыхъ, герой поэмы не самъ авторъ, а какой-то
Валежниковъ. Слѣдовательно, по какому праву критикъ при-
писываетъ порывы автору? Во-вторыхъ, воопшѣ также ясно,
хотя мы имѣемъ только небольшой отрывокъ поэмы, что
авторъ имѣлъ въ виду изобразить въ Валежниковѣ чело-

вѣка съ благороднѣйшею и возвышенною душою, жаждущаго полезной и честной дѣятельности, одареннаго полнымъ пониманіемъ хорошаго и истиннаго, но не имѣющаго достаточно силъ, чтобы бороться побѣдоносно съ мерзостью, его окружающею, и ея вліяніемъ на него самого. Нельзя не замѣтить, что при исполненіи этой задачи автору пришлось побѣдить много затрудненій, потому что тема эта истерта до нельзя разными пѣнтами, изображавшими задумчивыхъ героевъ, исполненныхъ благородства, но изнывающихъ въ борьбѣ съ средою. Такіе герои опоплены до крайности, какъ отъ слишкомъ частаго появленія на сценѣ, такъ и отъ неудачнаго изображенія. При томъ тема эта весьма неблагоприятна, потому что талачливныя натуры, заѣденныя средою, поняты, и ни въ комъ уже не возбуждаютъ симпатій. Вотъ почему, быть можетъ, мы до сихъ поръ имѣемъ только небольшой отрывекъ этой поэмы. Но въ отрывкѣ этомъ г. Некрасовъ такъ искусно побѣдилъ всѣ трудности, встрѣченныя имъ на пути, что заставляеть желать продолженія поэмы. Страданія его героя, столь несимпатичныя сами по себѣ, облечены такимъ чистымъ и свѣтлымъ чувствомъ любви къ матери, что невольно возбуждаютъ симпатію. Выраженіе этого чувства есть великолѣпнѣйшій гимнъ, въ которомъ воскресаеть падшій человѣкъ, и снова готовъ на великое дѣло.

Отъ лжующихъ, праздно болтающихъ,
Обагрившихъ руки въ крови:
Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!

Нѣтъ, этотъ гимнъ сложенъ не для прославленія страданій благороднаго, но безсильнаго человѣка; это скорѣе апофеоза русской женщины, печальная доля которой служить главнымъ предметомъ поэзіи г. Некрасова. Страдальческій образъ матери стоитъ здѣсь на первомъ планѣ, и теплое чувство къ ней можетъ заставить читателя полюбить ея слабаго сына, когда ояъ говоритъ:

О, прости! то не пѣснь утѣшенія,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну—и ради спасенія
Я твою призываю любовь!
Я пою тебѣ пѣснь покаянія,

Чтобы кроткія очи твои
Смыли жаркой слезою страданія
Всѣ позорныя пятна мои!
Чтобъ ту силу свободную, гордую,
Что въ мою заложила ты грудь,
Укрѣпила ты волею твердою
И на правый поставила путь...

Исторія Валежниковъ и причины его страданія намъ неизвестны: но во всякомъ случаѣ это страданіе выражено съ такою силою, въ выраженіяхъ его столько чувства, ума и благородства, что мы не рѣшимся презирать его или смѣяться надъ нимъ, какъ презираемъ талантливыя натуры, которыя загубила среда, и какъ смѣемся надъ разочарованными идіотами, въ родѣ Печорина; мы не рѣшимся презирать и осмѣивать его тогда, когда, проснувшись утромъ, онъ ясно сознаетъ свое безсиліе и неспособность на то, о чемъ думалъ ночью. Надѣбно замѣнить, что г. Некрасовъ поцѣль его очень вѣрно. Дѣйствительно, люди нервнаго темперамента чувствуютъ себя гораздо свѣжѣе и бодрѣе вечеромъ, тогда какъ сангвиники, наоборотъ, утромъ. Валежниковъ, очевидно, человѣкъ нервный, потому что самъ говоритъ:

И дутать меня будетъ могила,
Гдѣ лежатъ моя бѣдвая мать...

Такимъ образомъ, при пробужденіи его самымъ понятнымъ и естественнымъ образомъ охватываетъ тяжелое сознаніе своего безсилія, и не только другимъ, но и самому ему ясно, что онъ лишній, бесполезный человѣкъ. Но кто поделушалъ его починую неувѣду, у того едва ли хватить духу бросить въ него узоризною или наемѣшкою. Откуда же усмотрѣлъ г. Н. Б., что онъ устыдился своихъ благородныхъ порывовъ и снѣшить заглушить ихъ прозою? Что Валежниковъ страдаетъ, видя свою неспособность осуществить эти порывы,— это ясно; но почему заключилъ г. Н. Б., что онъ стыдится ихъ и намѣренно заглушается,— это вопросъ, разрѣшеніе котораго находится, вѣроятно, въ связи съ мутными источниками, упоминаемыми имъ.

Въ заключеніе московская критика объявляетъ, что никто не заподозритъ въ г. Некрасовѣ москвича; понятно, что

это самый тяжелый приговоръ, который онъ могъ произнести, и понятно также, что послѣ этого кружокъ „Дня“ не можетъ находить въ произведеніяхъ г. Некрасова что бы то ни было хорошее. Однако онъ нашелъ. Поправились ему очень одни забытые стишки г. Некрасова, которымъ мѣсто развѣ въ 3-й части его стихотвореній, въ отдѣлѣ юмористическихъ. Стишки эти въ родѣ того, что

Краше твой вѣнецъ лавровый *)

Побѣдоноснаго вѣнца,

и, слѣдовательно, весьма напоминаютъ стихи Добролюбова:

Пусть лавръ побѣдный украшаетъ

Героевъ славное чело.. и т. д.

Ни такія похвалы ни такія порицанія не коснутся произведеній г. Некрасова. Стихи его у всѣхъ въ рукахъ, и будятъ умъ и увлекаютъ какъ своими протестами, такъ и идеалами. За него не страшно и въ томъ отношеніи, что сила его таланта упадетъ, и что будущія произведенія его останутся ниже прежнихъ, что часто бываетъ съ поэтами, поющими Наполеоновъ и Александровъ Македонскихъ... У кого стихи текутъ изъ мысли, а мысль сильна и свѣжа, тому не грозитъ эта участь.

В. Зайцевъ.

Стихотворенія Некрасова. Изданіе 4-е. Три части. СПб. 1864 г. Изданіе книгопродавца С. В. Звонарева. Цѣна 2 р. 25 к.; отдѣльно 3 ч. 1 р. 25 к. **).

Двѣ первыя части представляютъ полную перепечатку изданія 1862 г., съ тою только разницею, что изъ нихъ исключены и отнесены въ 3-ю часть два стихотворенія („Я поклонилъ кладбище унылое“ и „Размышленія у параднаго крыльца“), не бывшія въ изданіи 1861 г. Затѣмъ въ 3-ю часть вошло все написанное г. Некрасовымъ послѣ появленія 3-го изданія (1862 г.), всего 18 стихотвореній и въ видѣ

*) Хотя въ сущности не краше, а сѣмталс, и не лавровый, а терновый, во я оставилъ по-московски: вѣрно, такъ патріотичнѣе.

**) „Книжный Вѣстникъ“ 1864 г., № 11.

приложенія добавлено 6 юмористическихъ стихотвореній 1842—1845 гг. Изъ этихъ стихотвореній одно: *Чинovníкъ* было напечатано въ 1 части „Физиологiи Петербурга“ (1843 г.), одно: *Отрывки изъ путевыхъ записокъ г. Гараискаго*—въ первомъ изданiи (1856 г.), а остальные въ книжечкахъ: „Статейки въ стихахъ безъ картинокъ“ (1843 г.). Напечатанныя въ первомъ изданiи стихотворенiя: *Новый годъ* и *Колыбельная пѣсня*, пропущенныя во 2 и 3 изданiяхъ, не вошли и въ 4-е. Кромѣ того, не внесено напечатанное въ „Современникѣ“ 1861 г. прекрасное стихотворенiе *Панаша*. Въ предисловiи къ „приложенiямъ“ г. Некрасовъ проситъ своихъ родныхъ и библиографовъ: не переиздавать послѣ его смерти ничего остального изъ написаннаго имъ въ первый перiодъ его поэтической дѣятельности, исключая того, что теперь переиздано имъ въ 3-й части и будетъ напечатано въ будущей 4-й. Просьба очень основательная, ибо съ 1838 по 1846 гг. Некрасовъ писалъ много, и большая часть изъ написаннаго въ это время не отличается никакими особенными достоинствами и громоздило только изданiе, въ ущербъ поэтическому достоинству прекрасныхъ стихотворенiй, явившихся въ перiодъ времени съ 1847 по 1859 годъ. Подробная библиографическая статья о всѣхъ сочиненiяхъ г. Некрасова была помѣщена въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1863 г., № 9. Руководствуясь ею, желающiе могутъ ознакомиться со *всеми* сочиненiями г. Некрасова и со всѣми изданiями сборниковъ и альманаховъ, сдѣланными имъ въ разное время *).

Изъ „Книжнаго Вѣстника“ 1864 г.

*) Еще въ 1864 г. помѣщены статьи о Некрасовѣ: въ „Библиотекѣ для Чтенiя“ № 11; въ отдѣльномъ изданiи: „О преподаванiи русской литературы“, В. Стоюнина, первое изданiе, въ статьѣ подъ заглавiемъ: Разборъ „Музы“ Некрасова сравнительно съ „Музой“ Пушкина (во второмъ изданiи книги Стоюнина (Сиб., 1869 г.) этого разбора уже нѣтъ).

1865 г.

*) Бываютъ зимой ужасающія явленія. Одно изъ нихъ описалъ Некрасовъ съ поразительною естественностью и силою. Вотъ оно: Умеръ крестьянищъ; его схоронили: жена его на это время отвела дѣтей своихъ къ знакомымъ, чтобы кто-нибудь присмотрѣть за ними. Вернувшись домой съ кладбища, она хотѣла взглянуть на нихъ, приласкать ихъ; но ни смотрѣть ни ласкать некогда: изба не топлена, и дома дровъ—ни полѣна. Она отправляется въ лѣсъ рубить ихъ.

Морозно. Равнины бѣлѣютъ подъ снѣгомъ;
Чернѣется лѣсъ впереди.
Савраска плетется ни шагомъ ни бѣгомъ.
Не встрѣтишь души на пути.
Какъ тихо! Въ деревнѣ раздавшійся голосъ
Какъ будто у самого уха гудеть;
О корень древесный запнувшійся полозъ
Стучитъ и визжитъ, и за сердце скребетъ.
Кругомъ поглядѣть вѣту мочи;
Равнина въ алмазахъ блещетъ.
У Дарьи слезами наполнились очи;
Должно быть, ихъ солнце слѣпитъ.
Въ поляхъ было тихо; но тише
Въ лѣсу и какъ будто свѣтлѣй.
Чѣмъ даль—деревья все выше,
А тѣни длиннѣй и длиннѣй.
Деревья, и солнце, и тѣни,
И мертвый могильный покой...
Но чу! заунывные пѣсни,
Глухой, сокрушительный вой!
Ослепло Дарьюшку горе,
И лѣсъ безучастно внималъ,
Какъ стоны лились на просторѣ,
И голосъ рвался и дрожалъ.
И солнце, кругло и бездушно,
Какъ желтое око совы,
Глядѣло съ небесъ равнодушно
На тяжкія муки вдовы.

*) „Журналъ для дѣтей“, 1865 г., № 12.

И много ли струвъ оборвалось
У бѣдной крестьянской души,
Навѣки сокрыто осталось
Въ лѣсной вѣлюдимой глуши.
Великое горе вдовицы
И матери малыхъ спроть
Подслушали вольныя птицы,
Но выдать не смѣли въ народъ.

Не псарь по дубровушкѣ трубить,
Гогочеть сорви-голова;
Наплакавшись, колетъ и рубить
Дрова молодая вдова.
Срубивши, на дровни бросаетъ—
Наполнить бы ихъ поскорѣй,—
И врядъ ли сама замѣчаетъ,
Что слезы все льютъ изъ очей:
Иная съ рѣвницы сорвется
И на снѣгъ съ размаху падетъ,
До самой земли доберется,
Глубокую ямку прожжетъ;
Другую на дерево кинетъ,
На плашку,—и, смотришь, она
Жемчужиной крупной застынетъ,
Бѣла, и кругла, и плотва.
А та на глазу поблѣстаетъ,
Стрѣлой по щекѣ побѣжитъ,
И солнышко въ ней поиграетъ...
Управится Дарья спѣшить,
Знай, рубить, не чувствуетъ стужи,
Не слышитъ, что ноги знобитъ,
И, полная мыслью о мужѣ,
Зоветь его, съ нимъ говорить...

(Далѣе описывается въ высшей степени естественное причитанье несчастной женщины: тутъ въ безсвязномъ броженіи тоскливой мысли проходить вся трудовая жизнь крестьянки, припоминается прошедшее, сами собою навязываются спасенія обидъ, притѣсненій, которыя могутъ пасть на вдову (Между тѣмъ, тоскуя и плача, она все рубить да рубить дрова. Наконецъ, нарубила столько, что не увезть на возу).

Окончивъ привычное дѣло,
На дровни поклала дрова,
За вожжи взялась и хотѣла
Пуститься въ дорогу вдова.

Да вповь приадумалась, стоя,
Топоръ машинально взяла
И, тихо, прерывисто воя,
Къ высокой соснѣ подошла.
Едва ее ноги держали;
Душа истомилась тоской;
Настало затишье печали—
Невольный и страшный покой!
Стоять подъ сосной чуть живая,
Безъ думы, безъ стопа, безъ слезъ.
Въ лѣсу тишина гробовая;
День свѣтелъ; крѣпчаетъ морозъ.

(Тутъ поэтъ олицетворяетъ морозъ въ видѣ лѣсного волшебника, отъ дыханья котораго Дарьюшка засыпаетъ и во снѣ видитъ очаровательныя картины счастья — мужа, свѣжаго, здороваго и веселаго, дѣтей, ихъ довольство и наслажденіе, лѣтнія работы, слышать пѣсни деревенскія, и улыбается; а, между тѣмъ, она замерзаетъ).

15384
Чу, пѣсня! знакомые звуки!
Хорошъ голосокъ у пѣвца...
Послѣдніе признаки муки
У Дарьи исчезли съ лица;
Душой улетаю за пѣсней.
Она отдалась ей вполне...
Нѣтъ въ мірѣ пѣсни прелестнѣй,
Которую слышимъ во снѣ.
О чемъ она—Богъ ее знаетъ;
Я словъ уловить не умѣю;
Но сердце она утоляетъ:
Въ ней дальняго счастья предѣлы;
Въ ней кроткая ласка участя,
Объты любви безъ конца...
Улыбка довольства и счастья
У Дарьи не сходитъ съ лица.

Какой бы цѣной ни досталось
Забвенье крестьянкѣ моей,
Что нужды? Она улыбалась.
Жалѣть мы не будемъ о ней.
Нѣтъ глубже, нѣтъ слаще покоя,
Какой посылаетъ намъ лѣсъ,
Недвижно, безтрепетно стоя
Подъ холодомъ зимнихъ небесъ.

Нигдѣ такъ глубоко и вольно
Не дышитъ усталая грудь,
И ежели жить намъ довольно,
Намъ слаще нигдѣ не уснуть!

Ни звука! Душа умираетъ
Для скорби, для страсти. Стоишь
И чувствуешь, какъ покоряетъ
Ее эта мертвая тишь.
Ни звука! И видишь ты свѣтъ
Сводъ неба, да солнце, да лѣсъ,
Въ серебряно-матовый пней
Наряженный, полный чудесъ,
Влекущій невѣдомой тайной,
Глубоко-безстрастный... Но вотъ
Послышался шорохъ случайный:
Вершинами бѣлка идетъ;
Комъ свѣгу она уронила
На Дарью, прыгнувъ по соснѣ.
А Дарья стояла и стыла
Въ своемъ заколдованномъ свѣтъ...

Вотъ зимняя исторія! Пока ее читаешь, сердце такъ наболѣетъ, такъ много мыслей и чувствъ взворочится въ душѣ, что не знаешь, на чемъ остановиться. Прежде всего поражаетъ этотъ разладъ между ровнымъ, стройнымъ, торжественнымъ ходомъ природы и волненіями человѣческой жизни, неожиданными, непредвидѣнными превратностями нашей судьбы. Потомъ никакъ не защитишься отъ чувства печали, когда представишь, что какое бы несчастье, какое бы горе ни случилось съ человѣкомъ, природа остается къ нему безучастною, безжалостно-холодною; отъ печали его не покинуетъ головкой ни одинъ цвѣтокъ, отъ рыданій его не вострепещетъ сочувствіемъ ни одна кляточка, ни одинъ сосудъ дерева: солнце весело и прелестно играетъ въ слезѣ страдающей матери и жены, морозъ скрываетъ ее въ прекрасную бѣлую жемчужину.—Да, и въ людяхъ-то, которымъ это понятно, которымъ дано чувство, чтобы понимать это, тоже — не много участія: пришли, простились съ покойникомъ, положили по свѣчкѣ, да и пошли домой; закопали въ землю своего брата, своего товарища, сосѣда, знакомаго, друга, потешковали, да и взялись за дѣло, или без-

дѣлѣ, и о немъ ужь помину нѣтъ. Конечно, иначе это и быть не можетъ; а все-таки жалъ человека, котораго покидаютъ и забываютъ. Но сильнѣе, рѣзче, раздражительноѣ всего дѣйствуетъ на душу воображеніе нужды, тяготящей до того, что мужику некогда отдаться самому глубокому, самому святому чувству; заботы, мелкія, ничтожныя, унижательныя ежеминутно поглощаютъ все существо его; и такъ идутъ день-за-день многіе десятки лѣтъ безцвѣтной, однообразной и сухой вереницей. И что бы у него ни случилось—свадьба, крестины, похороны, заѣхалъ гость, уѣзжаетъ на чужую сторону дочь или сынъ—все забота, какъ бы *справиться*, все думай о кускѣ хлѣба, о полѣнѣ дровъ, о лаптяхъ, объ онучахъ, о шапкѣ на голову, о соломѣ на крышу.

Картины природы описаны съ увлекательною прелестью наслаждаться бы ими только, упиваться бы этою поэзіей игры свѣта, дробящагося въ серебрѣ лиса, въ алмазахъ свѣга, этою задумчивостью и торжественностью лѣсного затишья: да мѣшаютъ слезы вдовы, прожигающія свѣтъ, ея плачь, ея рыданія, возмущающія тишину. Но горе ея выражается не одними слезами, не однимъ стономъ и плачевными пѣснями, а вмѣстѣ торопливой и печальной работой: бѣдной женщины хотѣлось поскорѣй нарубить дровъ—она мечетъ на дровни бревно за бревномъ, плаху за плахой и, отдавшись чувству, не замѣчаетъ, что ужь нарубила довольно, больше, чѣмъ надобно. Въ жалобахъ своихъ она выражаетъ печаль не столько о себѣ, о своей безпомощности, о своемъ одиночествѣ, сколько о преждевременной кончинѣ мужа и о дѣтяхъ. Въ предсмертномъ сновидѣніи ее утѣшаютъ мечты, въ которыхъ представляются ей картины былого, живого счастья. Слава Богу, что она хоть въ обманахъ сновидѣнья находитъ отраду, послѣднюю отраду въ жизни. Но каково будетъ осиротѣлымъ дѣтямъ и осиротѣлымъ старикамъ узнать, что она замерзла въ лѣсу! Что будетъ съ Савраской? Поплетется ли онъ въ деревню ни бѣгомъ ни шагомъ? Или также замерзнетъ? Или волки съѣдятъ его? Вѣдь и его жалъ!—Но, можетъ быть, бѣдная Дарья еще проснется; можетъ быть, сверкнетъ у нея мысль

о дѣтихъ, возбудить въ ней силу жизни, она вырвется изъ этого заколдованнаго сна и вернется въ свою семью—горевать и работать для ея счастья. Безъ этого предположенія, намъ нѣтъ возможности наслаждаться описаніемъ впечатлѣній покоя зимняго лѣса; а оно художественно въ высшей степени: въ немъ передана вся сила волшебства дикой природы, которая можетъ быть понятна только жителю сѣвера:

„Ни звука! Душа умираетъ
Для скорби, для страсти. Стопъ
И чувствуешь, какъ покоряетъ
Ее эта мертвая тишь.
Ни звука! И видишь ты сивій
Сводъ неба, да солнце, да лѣсъ,
Въ серебряно-матовый иней
Наряженный, полный чудесъ,
Влекущій невѣдомой тайной,
Глубоко-безстрастный...“

Тутъ нѣтъ живописи, блестящей подробностями: картина рисуется массами предметовъ и увлекаетъ далекою, безпредѣльной перспективой: тутъ нѣтъ разбора различныхъ ощущеній: они все сливаются въ одно спокойное торжественное созерцаніе невѣдомой тайны. Одно сознаніе творческой безконечной силы поглощаетъ всю душу, наполняетъ и очаровываетъ ее невозмутимымъ спокойствіемъ *)

Изъ „Журнала для дѣтей“ 1865 г.

1866 г.

**) Николай Алексѣевичъ Некрасовъ... лучший современный русскій поэтъ. Вышней отдѣлкой стиха онъ не превосходитъ другихъ поэтовъ, не щеголяетъ особенною лег-

*) Еще за 1865 г. см. о Некрасовѣ въ „Сѣверномъ Сіяніи“ № 2, стр. 31—36 (ср. Вл. Зюгана о поэмѣ „Морозъ — красный носъ“); „Циркуляры Одесскаго учебнаго округа“, № 1 (ср. Денисовича о „Нескатой полосѣ“); также упоминается въ сочиненіяхъ А. В. Дружинина: см. томъ VI (изд. 1865 г.), стр. 634, 684; т. VII, стр. 488, 494, также на страницахъ 162, 245, 312 и 413.

**) „Иллюстрированная Газета“ 1866 г., № 2.

костью и звучностью стиха, богатством рифмъ. Стихъ Некрасова часто тяжелъ; но не виѣшней стороной стихотвореній должимъ мы измѣрять степенъ дарованія поэта, а его значеніемъ въ жизни общества, его заслугами передъ согражданами. Если раземотрѣть поэзію Некрасова съ этой точки зрѣнія, его смѣло можно считать лучшимъ нашимъ поэтомъ. Многіе, конечно, думаютъ въ наше время, что такъ-называемыя изящныя искусства совершенно бесполезны, не больше, какъ пріятное препровожденіе времени. Не будемъ доказывать, до какой степени ложно это убѣжденіе: скажемъ только, что, и при этомъ невыгодномъ взглядѣ на поэзію, Некрасовъ сдѣлалъ ее полезною, въ глазахъ такъ-называемыхъ реалистовъ, и самъ, несмотря на то, что былъ только поэтомъ, а не ворочалъ грудями дѣлъ и полками — сдѣлался полезнѣе, чѣмъ десятки воителей и администраторовъ. Поэзія Некрасова имѣетъ сходство съ поэзіей Кольцова; оба они брали сюжетомъ своихъ произведеній жизнь низшихъ классовъ, оба равно сочувствовали имъ въ ихъ горѣ и радовались съ ними ихъ радостями: но разница въ томъ, что Кольцовъ, происходя самъ изъ среды народа и стоявшій не много чѣмъ выше массы, чтобы лучше понять ее, сливается съ ней, тогда какъ Некрасовъ, по развитію стоящій выше ея, старается возвысить ее. Какъ Кольцову принадлежитъ слава поэта, ознакомившаго впервые общество съ нравственнымъ достоинствомъ низшихъ классовъ, особенно крестьянства, такъ Некрасовъ можетъ гордиться тѣмъ, что первый открылъ глаза обществу на страданія нашей меньшей братіи, заставилъ общество ей сострадать, сочувствовать, а отъ сочувствія до дѣйствительной помощи — недалеко.

Изъ „Иллюстрированной Газеты“ 1866 г.

* * *

*) Вся поэтическая дѣятельность Некрасова, замѣчательнаго и по своему поэтическому таланту, и по своимъ строгимъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ высшей степени вѣрнымъ

*) „Воскресный Досугъ“ 1866 г., № 171.

и правдивымъ взглядамъ на жизнь и на искусство, посвящена родной землѣ. Уже за одно это ему должны быть глубоко благодарны, особенно теперь, когда говорится такъ много словъ и дѣлается такъ мало дѣла, что обыкновенно характеризуетъ переходныя эпохи въ жизни общества. Но у Некрасова добрыя намѣренія блистательно перенесли въ дѣло, и мы должны считать его главой, ведущимъ народъ къ далекой, хоть и славной цѣли — общему усовершенствованію. Некрасовъ, дѣйствительно, представитель истинной поэзіи, и хотя многіе въ этомъ не сознаются, но огромное вліяніе этого поэта и его таланта на общество чувствуется и признается всѣми безпристрастными людьми. По этимъ отношеніямъ, связывающимъ его съ обществомъ, по этой пользѣ, которую онъ принесъ ему, Некрасова можно смѣло назвать лучшимъ русскимъ поэтомъ. Конечно, поэтический талантъ Некрасова не особенно гениаленъ, но, если мы возьмемъ стихъ звучный, блестящій, красивый, стихъ Майкова или Фета, и, сравнивъ его съ иногда шероховатымъ и подчасъ тяжелымъ стихомъ Некрасова, спросимъ, который изъ поэтовъ сильнѣе производитъ впечатлѣніе, думаемъ, что всякій, истинно развитой и здравомыслящій человекъ, не колеблясь, предпочтетъ Некрасова. Въ чемъ кроется причина такого страннаго, съ перваго взгляда, предпочтенія? Да очень просто: звучный, блестящій стихъ однихъ всю свою силу и значеніе получаетъ только въ этой внѣшности, за которой часто скрывается какая-нибудь узкая мысль, какой-нибудь односторонній взглядъ, а иногда и вовсе ничего не скрывается, тогда какъ тяжелый стихъ Некрасова, не пренебрегая внѣшностью, но и не ставя ее на первый планъ, обращаетъ все вниманіе на значеніе стиха, на его внутреннюю сторону, на мысль, имъ выраженную. Но Некрасовъ не удовлетворился этимъ, не остановился, а, выработавъ серьезный и вѣрный взглядъ на искусство, донести далѣе, помня, что, прежде чѣмъ быть поэтомъ, онъ долженъ быть гражданиномъ. Онъ соединилъ въ себѣ оба высшія званія и явился первымъ русскимъ поэтомъ-гражданиномъ. Поэтому, если разсматривать его произведенія, то, отставъ имъ должное съ точки зрѣнія искусства, надо посмотреть на нихъ и съ точки зрѣнія гра-

жданности. Произведенія Некрасова выдержатъ и этотъ строгій судъ, выйдутъ изъ него съ честью. Всякій, кто читалъ его „Коробейниковъ“, „Морозъ“, „На Волгѣ“, „Извозчика“, „Тройку“, „Школьника“, „Пѣсню Еремушки“ и мн. др., сознается, что они не только безусловно прекрасны въ художественномъ отношеніи, но и полны глубокаго значенія для русскаго общества. Въ нихъ онъ первый затронулъ такіе вопросы, которыхъ долго до него не замѣчали, или просто боялись затрогивать: въ нихъ онъ представляетъ обществу, какъ живутъ младшіе члены его, и, съ грустью и состраданіемъ описывая ихъ положеніе, укоряетъ старшихъ членовъ за то, что они допустили своихъ собратій опуститься такъ низко, и до сихъ поръ многіе не хотятъ подать имъ руки, чтобъ вырвать ихъ изъ гризи и поставить на ступень, предназначенную человѣку. Въ этомъ указываніи обществу его язва, но не съ цѣлью растравить ихъ, а, напротивъ, желая залѣчить, уничтожить, заключается глубокое значеніе Некрасова въ русской литературѣ. Постоянно обращаясь къ низшимъ классамъ, вызывая состраданіе, сочувствіе къ нимъ высшихъ, — онъ такимъ образомъ занялъ благородную роль представителя первыхъ, защитника ихъ интересовъ и, надо сказать, на этомъ мѣстѣ принесъ онъ посильную, но важную по своимъ послѣдствіямъ пользу. Онъ не зарылъ своего таланта въ землю, а, напротивъ, слѣдуя выработанному имъ взгляду, слѣлалъ все, что долженъ слѣлать гражданинъ, и даже больше, чѣмъ сколько мы требуемъ отъ поэта. Таковы должны быть и всѣ поэты: они должны понять, что имъ слѣдуетъ не заключаться въ тѣсную сферу искусства, а свои таланты — употребить на служеніе обществу, или, еще лучше, на служеніе всему человѣчеству...

Стихотвореніе „Бду ли ночью по улицѣ темной“ принадлежитъ къ лучшимъ и удачнѣйшимъ произведеніямъ нашего замѣчательнаго поэта — Н. А. Некрасова. Мы не скажемъ, чтобъ оно было проникнуто теплымъ чувствомъ грусти и состраданія къ человѣчеству болѣе другихъ его стихотвореній, но въ немъ затронутъ вопросъ, который невольно заставляетъ задумываться и вызываетъ много тяжелыхъ и грустныхъ мыслей, и затронутъ онъ такъ, что это простое,

повидимому, стихотвореніе вызываетъ изъ глазъ слезы. Содержаніе его просто: это грустная повѣсть, гдѣ слабѣе находятся подлѣ гнетомъ сильныхъ, и гдѣ изъ этой вопіющей несправедливости, изъ этого неестественнаго положенія исходъ невозможенъ, по крайней мѣрѣ, при существованіи прежняго порядка дѣлъ, при прежнемъ строѣ жизни общества. Только здѣсь существомъ страдающимъ, угнетеннымъ является женщина, и это еще болѣе привлекаетъ къ этому существу симпатію и дѣлаетъ это стихотвореніе еще болѣе замѣчательнымъ. Бѣдная женщина эта съ дѣтства чувствовала на себѣ гнетъ, дѣлавшій еще хуже ея, и безъ того тяжелое, какъ у всякой русской женщины, положеніе. Сперва подавлялъ ея самостоятельность гнетъ отца, потомъ она, какъ товаръ, перешла въ руки мужа, который также, пользуясь своими правами, въ настоящее время справедливыми только въ глазахъ самыхъ грубыхъ и неразумныхъ людей—безчеловѣчно угнеталъ ее. Но не выдержала она —гнилая общественныя условія и гнетъ, столько лѣтъ надъ ней тяготѣвшій, не успѣли сломать ея могучей натуры: она бѣжала отъ деспота-мужа и встрѣтилась съ человѣкомъ, котораго любила. Но не на радость было ей и это: все счастье, которое ихъ ожидало, погибло глупо, навсегда, отъ недостатка матеріальныхъ средствъ. Сынъ ихъ умеръ, и мать, чтобъ купить ему гробъ и утолить мучившій ее голодъ, должна была продать себя и вступить въ разрядъ тѣхъ женщинъ, которыхъ такъ глубоко презираетъ наше высоко-нравственное общество. Впрочемъ, она давно уже и нѣсколько разъ была продаваема, и общество молчало, глядя на все это, какъ на дѣло совершенно натуральное и справедливое; но какъ только она сама рѣшилась продать себя, что было единственнымъ исходомъ изъ ея положенія, это общество, которое не дало ей куска хлѣба, чтобъ утолить голодъ, побудившій ее къ такому поступку, отшатнулось отъ нея и подавило ее своимъ презрѣніемъ... Да, много думъ вызываетъ это стихотвореніе и будетъ вызывать до тѣхъ поръ, пока проклятія поэта, теперь бесполезно замирающія, сдѣлаютъ, наконецъ, свое дѣло: общество воспрянетъ, сброситъ съ себя всю ложь и гниль, отъ которой ему давно пора освободиться, и смѣло пойдетъ вне-

рель, куда уже давно призываютъ его отдѣльныя личности, во имя истины, добра и любви...*)).

Изъ „Воскреснаго Досуна“ 1866 г.

1867 г.

Писаревъ въ статьѣ: „Писемскій, Тургеневъ и Говчаровъ“ мимоходомъ отзывается и о Некрасовѣ.

—) „У нашихъ лириковъ, говоритъ онъ, за исключеніемъ гг. Майкова и Некрасова, нѣтъ никакого внутренняго содержанія; они не настолько развиты, чтобы стоять въ уровень съ идеями вѣка; они не настолько умны, чтобы собственными силами здраваго смысла выхватить эти идеи изъ воздуха эпохи; они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающія ихъ явленія обыденной жизни, отражать въ своихъ произведеніяхъ физиономію этой жизни съ ея бѣдностью и печалью. Имъ доступны только маленькія тревоженія ихъ собственнаго узенькаго психическаго міра; какъ дрогнуло сердце при взглядѣ на такую-то женщину, какъ сдѣлалось грустно при такой-то разлукѣ, что шевельнулось въ груди при воспоминаніи о такой-то минутѣ—все это описано, можетъ быть, и вѣрно, все это выходитъ иногда очень мило, только ужъ болѣе мелко; кому до этого дѣло, и кому охота вооружаться терпѣньемъ и микроскопомъ, чтобы черезъ нѣсколько десятковъ стихотвореній слѣдить за тѣмъ, какимъ манеромъ любить свою возлюбленную г. Фетъ, или г. Мей, или г. Полонскій? Поучитесь-ка лучше, гг. лирики, почитайте да подумайте! Вѣдь нельзя, называя себя русскимъ поэтомъ, не знать того, что наша эпоха занята интересами, идеями, вопросами гораздо пошире, поглубже и поважнѣе вашихъ любовныхъ похощеній и нѣжныхъ

*) Еще см. о Некрасовѣ за 1866 г. „С.-Петербургскія Вѣдомости“, № 78 („Пѣсни о свободномъ словѣ“); „Живописное Обзорѣніе“, №№ 13 и 14, стр. 193 и 215 (ст. В. Быкова).

**) Сочиненія Д. Н. Писарева. Ч. I.

чувствованій. Впрочемъ, опять-таки говорю, вы больны дѣлать, какъ угодно, но и я, какъ читатель и критикъ, вольнъ обсуждать вашу дѣятельность, какъ мнѣ угодно. И дѣятельность ваша, вѣроятно, не на одни мои глаза покажется болѣе пустою и безцѣльною. Не трудно, конечно, понять, почему я изъ числа нашихъ лириковъ выгородилъ Майкова и Некрасова. Некрасова, какъ поэта, я уважаю за его горячее сочувствіе къ страданіямъ простаго человѣка, за честное слово, которое онъ всегда готовъ замолвить за бѣдняка и угнетеннаго. Кто способенъ написать стихотворенія: „Филантропъ“, „Эпилогъ къ неписанной поэмѣ“, „Ѣду ли ночью по улицѣ темной“, „Сапа“, „Живя согласно съ строгимъ моралемъ“, тотъ можетъ быть увѣренъ въ томъ, что его знаютъ и любятъ живая Россія. Майкова я уважаю, какъ умнаго и современнаго развитаго человѣка, какъ проповѣдника гармоническаго наслажденія жизнью, какъ поэта, имѣющаго опредѣленное, трезвое міросозерцаніе, какъ творца: „Трехъ смертей“, „Савонаролла“, „Приговора“ ит. д. Всякій согласится, что эти два лирика, Майковъ и Некрасовъ, по уму, по таланту, по развитію и по отношенію своему къ современной жизни, стоятъ неизмѣримо выше тѣхъ версификаторовъ, о которыхъ я говорю на предыдущей страницѣ*).

Подводя итоги своей статьи („Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ“), Писаревъ, между прочимъ, говоритъ: „Я считаю трехъ названныхъ мною романистовъ (Пис., Тург. и Гонч.) важнѣйшими представителями современной поэзіи и отвергаю заслуги нашихъ лирическихъ поэтовъ, за исключеніемъ гг. Майкова и Некрасова *)“.

Д. Писаревъ.

*) Критическая статья Писарева — „Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ“ первоначально появилась въ печати въ 1881 г., въ „Русскомъ Словѣ“, №№ 11 и 12. Тамъ Писаревъ упоминаетъ о Некрасовѣ (въ подобномъ же смыслѣ) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своихъ сочиненій (см. часть II, стр. 203 и 224; часть VI, стр. 82).

1868 г.

*) Упомянув о стихотвореніяхъ Некрасова, помѣщенныхъ въ январской книгѣ „Отеч. Записокъ“ за 1868 г., М. А. Загуляевъ говоритъ: „Странное впечатлѣніе производитъ на меня эти плоды поэтическихъ досуговъ нѣкогда столь любимого публикою стихотворца. Лично мы никогда не сочувствовали жанру г. Некрасова. На насъ всегда непріятно дѣйствовало его натягиваніе за волосы разныхъ идеекъ гражданской скорби, но все-таки мы не могли не признать творческой силы и потрясающаго эффекта многихъ изъ этихъ стихотвореній. Чѣмъ-то могучимъ вѣяло отъ стиха г. Некрасова, и это невольно заставляло относиться съ уваженіемъ даже и къ такимъ вещамъ, какъ „Филантропъ“ и нѣкоторыя позднѣйшія сатиры, напримѣръ, „Убогая и нарядная“, и пр. Увы! ничего подобнаго не встрѣтили мы въ двухъ новыхъ сатирахъ г. Некрасова: „Судь“ и „Притча о писелѣ“. Чѣмъ-то старческимъ, безсильнымъ вѣетъ отъ этихъ сатиръ, юморъ поэта принимаетъ какой-то водевильный характеръ (особенно въ „Притчѣ о писелѣ“), его сатира мельчаетъ, размѣниваясь на балагурство, ни одного крика честнаго негодованія, ни одного сильнаго слова... Сопоставляя эти отрицательныя качества со слабостью третьяго стихотворенія — „Выборъ“, имѣющаго чисто лирическій характеръ, невольно приходитъ въ голову мысль, что пѣсенка г. Некрасова свѣта, и дарованіе его выдохлось“.

М. Загуляевъ.

* * *

**) Г-нъ Н. Соловьевъ, обсуждая сліяніе „Современника“ съ „Отечественными Записками“, въ статьѣ „Критика направлений“, между прочимъ, говоритъ:

„Если люди положительнаго направленія ничему особенному не могутъ въ настоящее время радоваться, то за-

*) „Всемирный Трудъ“ 1868 г., № 2. Статя „Столичная жизнь“.

**) „Всемирный Трудъ“ 1868 г., № 4.

то наши отрицатели должны отъ всей души благодарить судьбу за ниспосланныя на нихъ милости. Праздникъ на ихъ улицѣ. Исторія затянулась опять надолго. Еще такъ недавно не было ни для кого секретомъ, что журналы отрицательнаго направленія начали терять кредитъ, подписку; словомъ, падать. Но имъ не дали умереть своей собственной смертью, и вотъ новый фениксъ опять возсталъ изъ своего пепла. Возставши для новой жизни, онъ, впрочемъ, не сразу выступилъ на попрание дѣятельности. Сперва поспились въ обществѣ слухи о намѣреніи возстановить „Современникъ“; но потомъ сдѣлалось общеизвѣстнымъ, что „Современникъ“, въ настоящемъ, неподдѣльцомъ своимъ видѣ, открытъ быть не можетъ. За этимъ опять сдѣлалось тихо, и потомъ вдругъ раздалась вѣсть, что „Современникъ“ соединяется съ „Отечественными Записками“, и что давно пасиженное мѣсто будетъ занято людьми, оставшимися безъ мѣста. Словомъ, сдѣлалось несомнѣннымъ, что червякъ направленія зашевелился опять и одна половинка его пристала, присосалась къ г. Краевскому. Обстоятельство это считаемъ мы въ нѣкоторомъ родѣ событіемъ въ литературѣ. До сихъ поръ „Отечественныя Записки“, несмотря на свою кажущуюся скромность и солидность, наносили по временамъ отрицателямъ самые сильные удары. „Время“ и „Библіотека для Чтенія“ еще мирволили съ ними, а иногда даже вступали и въ пѣхоту; „Отечественныя же Записки“ всегда болѣе или менѣе выпускали противъ нихъ ехидныя статьи, отъ которыхъ „Современнику“ и „Русскому Слову“ оставалось только отмалчиваться. Даже когда „Голосъ“ въ первые годы своего существованія не установился въ своихъ тенденціяхъ, „Отечественныя Записки“ неизмѣнно старались противоdѣйствовать отрицателямъ. Понятно теперь, что для ихъ партіи было въ высшей степени выгодно занять ту позицію, съ которой пущено въ нихъ столько вредныхъ снарядовъ. Самое возстановленіе „Современника“, если бы оно осуществилось, не пошло бы имъ такъ впрокъ, какъ проповѣдь идеи этого журнала съ кафедры умѣреннаго направленія. „Современникъ“ въ послѣдній годъ сталъ ужъ терять подписку: „Отечественныя же Записки“, проѣхавшія столько

десятилѣтій по рельсамъ русской литературы, не могли вдругъ остановиться. Новый возница, новый экипажъ и сѣдоки, между тѣмъ, могли возбудить любопытство публики, тѣмъ болѣе, что старыя поклонники „Отечественныхъ Записокъ“ не могли отъ нихъ отойти. Что вкусь, стремленіе къ поглощенію „Отеч. Зап.“, инициатива нападенія на этотъ постъ возникли въ головѣ отрицателей, что г. Краевскій тутъ игралъ не активную, а пассивную роль, въ этомъ и сомнѣнія не могутъ быть для людей, понимающихъ дѣло, а не судящихъ только по объявленіямъ. Прогрессисты тутъ обошли консерваторовъ. На то, дескать, вы и консерваторы. Это все равно, что исторія съ нашими клубами, прицѣпившимися теперь такой модный отгѣнокъ. Уже съ какой бы стати съ клубомъ художниковъ сойтись людямъ, понимающимъ искусство à la Прудонъ и пишущимъ стихи à la маіоръ Бурбоновъ. Такъ нѣтъ же, засѣли и тамъ. Мы нарочно указываемъ на этотъ, въ сущности, ничтожный фактъ потому, чтобы показать, какою силой интриги, способностью являться во всевозможныхъ образахъ, поддѣлываться подъ всѣ положенія, обладаютъ наши отрицатели.

Между тѣмъ, какъ люди положительнаго направленія все еще спорять, на чемъ имъ сойтись: на народъ или на дворянствѣ, на господствующемъ языкѣ или на господствующей церкви, для отрицателей всѣ подобныя вопросы, доводящіе иногда до самой неблагоприятной вражды,—не существуютъ. Они ихъ игнорируютъ. Ни демократизма ни аристократизма для нихъ нѣтъ, а есть только одинъ семинаризмъ. Спѣшимъ оговориться, что подъ словомъ этимъ мы разумѣемъ не что-нибудь бранное, какъ это у насъ водилось до сихъ поръ, а просто особый слой или новую породу людей, прошедшихъ сквозь огонь и воду той ужасной школы, которую когда-либо создавала старая педагогія. Эти прошедшіе черезъ всѣ мытарства семинарскаго воспитанія, въ свою очередь, уже повліяли на другихъ силою и энергіей, ими пріобрѣтенныхъ. И вотъ такимъ образомъ у насъ и образовался цѣлый классъ общества, который никакъ не хочетъ слиться съ другими. Въ этомъ-то и есть вся причина ихъ стремленія заключить себя въ коммуны, ассоціа-

ціи, отдѣльные кружки, огородить себя отъ общества подъ видомъ молодого поколѣнія, молодой или юной Россіи, реалистовъ, нигилистовъ... Даже и на женщинахъ нашихъ отразилась эта смѣсь семинарской грубости съ чисто военной храбростью — явились холостыя дѣвушки. Какихъ-нибудь задатковъ революціоннаго движенія, какъ воображали себѣ нѣкоторые трусливые люди, у нихъ нѣтъ и слѣда: опасность тутъ не для государства, а для общества, не для законовъ, а для принциповъ жизни. Не гражданинъ можетъ пострадать отъ напыва всѣхъ этихъ теорій и словоизверженій, а просто человекъ и семья. Въ юридическомъ и философскомъ отношеніяхъ они нерѣдко были и правы, но въ отношеніи къ жизни они самые великіе грѣшники на Руси.

Со стороны той половины „Современника“, которая теперь закладѣла „Отечественными Записками“, была, впрочемъ, большая смѣлость выступить въ одиночку. Ученіе о новой породѣ людей, о новыхъ воззрѣніяхъ на искусство и науку не только не дало имъ ни одного поэта и ни одного ученаго, но даже отняло у нихъ и тѣ немногіе дары, которыми ихъ Богъ наградила. Нельзя поэтому было написать болѣе обманчивой рекламы, какъ ту, съ которой выступили новыя „Отечественныя Записки“: почти во всѣхъ именахъ, заманчиво выставленныхъ въ объявленіи, пришлось читателямъ разочароваться. Г. Некрасовъ, тотъ самый Некрасовъ, который волновалъ когда-то наши юношескія головы, является теперь какимъ-то литературнымъ покойникомъ и пишетъ себѣ журнальную эпитафію размѣромъ стиховъ, изобрѣтенныхъ „Искрою“:

Вечерній звонъ, вечерній звонъ!
Какъ много думъ наводитъ онъ!

Печально затягиваетъ поэтъ Некрасовъ извѣстный романсъ, и затѣмъ вдругъ, переходя въ хихиканье, восклицаетъ:

А звонъ зловѣщій, роковой
Межъ тѣмъ на мигъ не умолкалъ,
Пока я брюки надѣвалъ.

Какія брюки?! Чго вы, г. Некрасовъ? Съ какой стати вы говорите о брюкахъ? Вѣдь это и въ „Искрѣ“, пожалуй, та-

кую поэзію забраковали бы. Положимъ, тамъ тоже любить пародировать поговѣ, да только не такихъ старыхъ, какъ Козловъ, и не такихъ почтенныхъ, какъ Термонтовъ. А притчу-то вы кому говорите? Киселю? Сначала мы подумали, что это не знаменитымъ ли овсянымъ киселемъ хочетъ угостить г. Некрасовъ публику: ничуть не бывало. Это просто какой-то человѣкъ, да еще, какъ видно, его знакомый. Кисель, брюки—вотъ они, цвѣты-то поэзіи!

Мысль эту изложивъ круглѣ,
Передастъ секретарь:
Дабы переписать крупнѣ
Для поднесенія визирю.

Учитесь, молодые поэты, всѣ вы, майоры Бурбоновы, Пальмины и пр.! Передъ вами живой примѣръ человѣка съ именемъ, ломающаго русскій стихъ, какъ ломаются только палки.

Велѣдъ за поэтомъ Некрасовымъ на катафалкѣ литературныхъ покойниковъ вынесенъ „Отечественными Записками“ юмористъ Щедринъ. Что это былъ тоже человѣкъ съ именемъ и извѣстностью въ литературѣ—и сомнѣнія не можетъ быть. Какъ г. Некрасовъ создалъ у насъ гражданскую поэзію и заставлялъ когда-то проникнуться многихъ гражданскою скорбью, такъ и г. Щедринъ произвелъ у насъ гражданскую сатиру. Можно даже сказать, что г. Некрасовъ ровно настолько заставлялъ наше поколѣніе плакать гражданскими слезами, насколько г. Щедринъ заставлялъ смѣяться его гражданскимъ смѣхомъ. Въ свое время такая противоположность въ настроеніи ихъ лиръ была умѣстна: сѣтованія казались естественны, смѣхъ заразителенъ. Теперь совсѣмъ другое—лиры ихъ звучатъ совершенно одинаково и ни на кого не дѣйствуютъ. Можно подумать, что имъ и самимъ-то въ душѣ не очень-то смѣшно; обстоятельства такъ перемѣнились, а, между тѣмъ, они ужъ привыкли смѣяться на старія темы. Особенно это можно сказать о г. Щедринѣ, который такъ смѣшилъ насъ въ былые годы, пошедшіе на осмѣяніе земской полиціи, и который нагояетъ теперь такую зѣвоту, говоря о земствѣ. Смѣш-

ныя заглавія онъ еще можетъ придумать, но въ самомъ текстѣ не попадаетъ уже ни одной строки веселой: такъ что члены земства напрасно на него и вознегодовали. Стрѣлы его остроумія могли попадать въ чиновниковъ, неправниковъ, засѣдателей, губернаторовъ, но не въ то, что народилось въ послѣдніе годы.

Н. Соловьевъ.

*) Мыслищему педагогу современная наша жизнь представляетъ не мало многознаменательныхъ явленій, изъ которыхъ нынѣ яркимъ свѣтомъ освѣщаютъ многія фазы духовнаго развитія общества. И кто же бросаетъ этотъ яркій свѣтъ на совершающуюся предъ нами жизнь? Кто учитъ, или, вѣрнѣе сказать, научаетъ насъ, взрослыхъ людей, тому, до чего мы долго не додумались бы? Дѣти — наши учителя. Часто смотришь на ребенка внимательнымъ глазомъ, часто прислушиваешься къ его разговору, слѣдишь за его играми, затѣями, повѣрнешь его склонности и говоришь съ утѣшеніемъ самому себѣ: ты долѣзлешь то, чего не могли долѣзть твои отцы! Ты своею дѣятельностью внесешь въ жизнь уже не вопросы, вынашенные на долю отцовъ, а дѣло, фактъ! Все, все малѣйшее движеніе въ тебѣ, дорогое дитя, говоритъ мнѣ, зрителю, что ты будешь новымъ человекомъ. Не привыкшій вдумываться въ явленія совершающейся жизни, отецъ воспитатель никакихъ задатковъ для новаго будущаго не замѣтитъ въ тебѣ — ни въ твоихъ играхъ ни въ твоихъ занятіяхъ. Много, много, что онъ замѣтитъ съ величайшимъ удивленіемъ странное для него явленіе: ребенокъ съ бѣльшимъ удовольствіемъ занимается геометрией, чѣмъ чтеніемъ стиховъ. Безъ сомнѣнія, его собственный ребенокъ любитъ стихи и уже, разумѣется, не предпочтетъ стихамъ геометрію: нѣтъ, тотъ или другой отецъ, воспитатель замѣчаютъ упомянутое странное явленіе на чужомъ ребенкѣ. И ничего особеннаго не скажетъ имъ подобное явленіе, не въ силахъ они додуматься до того, что насколько

*) Н. Л.-т. «С. Петербургскія Вѣдомости» 1868 г., № 143

въ подобномъ явленіи участвуютъ вліяніе отца, воспитатели, настолько же и вліяніе новой жизни, новыхъ жизненныхъ началъ, не для всякаго уловимыхъ, но которыя уже нарождались, какъ невидимо для нашего глаза и уха нарождаются различныя атмосферическія явленія, рано или поздно долженствующія совершить свое дѣло. Дѣйствительно, г. Некрасовъ, есть дѣти, родились они, которыя даже ваши стихи, гладкіе, звучные, не предпочтутъ геометріи или какому бы то ни было другому предмету. Когда вашъ „Генераль Топтыгинъ“ былъ полученъ, и когда мы предложили ребенку прочитать его, онъ отвѣчалъ: „я послѣ прочитаю, а теперь иччу планъ квартиры“. Ребенокъ (11-лѣтняя дѣвочка) наносилъ въ это время квартиру на планъ. Черезъ два дня только дѣвочка вспомнила о стихахъ, да и то по нашему напоминанію, и прочитала ихъ „Послушай, дядя, сказала дѣвочка, обращаясь къ намъ: какіе пустяки написаны въ „Генераль Топтыгинъ!“—Какіе же пустяки, моя милая? „Да то, что ямщикъ и возжакъ ушли въ кабакъ, гдѣ они оставались очень долго; вотъ и Некрасовъ пишетъ, что они были въ кабакъ очень долго; какимъ же образомъ лошади все это время могли стоять покойно, когда въ телѣгѣ сидѣлъ Мишка? Помнишь, въ деревнѣ проводятъ, бывало, медвѣдя, то лошадей, какъ только издалика завидитъ его, такъ и побѣгутъ со всѣхъ ногъ. Лошадь слышитъ даже медвѣжій духъ. Мишку посадить въ телѣгу не легко, чтобъ лошади не замѣтили этого. Онѣ должны были непременно понести еще въ то время, когда Мишка сидѣлъ въ телѣгѣ. Телѣга безъ кладоустроика почтовыхъ лошадей, да вѣдь онѣ разнесли бы всю телѣгу, а тутъ въдобавокъ ко всему написано, что лошади покойно стояли у кабака, когда Мишка сидѣлъ въ телѣгѣ. Это сказка. Также про коробейника Якова написано, что ему и лошади, на которой онъ ѣздитъ, было 100 лѣтъ. Лошадь явится до 25-ти лѣтъ. Если коробейнику Якову было 75 лѣтъ, то лошади было 25 лѣтъ, а такая лошадь ногъ не волочить. Гдѣ ужъ ей бѣгать по дорогамъ съ тяжелымъ возомъ. Некрасовъ пишетъ, что у Якова возъ былъ тяжелый, нагруженный разнымъ товаромъ. Следовательно, надобно предположить, что коробейнику

было 80 лѣтъ, но тогда онъ самъ не могъ ѣздить по дорогамъ. Все это очень странно, дядя!" Я могъ сказать моей дѣвчонкѣ только то, что дѣти, которые ищутъ стихи, называемые поэтами; что этимъ поэтамъ позволяется иногда написать и разсказать, напримѣръ, происшествіе, котораго никакъ случиться не можетъ. Трудно мнѣ было объяснить это; зачѣмъ разсказывать неправду и то, чего не можетъ случиться. Разумѣется, я прибавилъ, что найдутся на свѣтъ и 80-лѣтніе старики, способные работать и ѣздить по дорогамъ; но не рѣшился убѣждать дѣвчонку въ томъ, что найдутся лошади, не боящіяся медвѣдя. Да и дѣвчонка-то така, что до той поры не повѣритъ, пока сама не увидитъ. Мы никогда не писали бы настоящей замѣтки, если бы не прочитали въ *Отечественныхъ Запискахъ* о намѣреніи г. Некрасова издать книгу стихотвореній для дѣтей, т.-е. не для большихъ дѣтей, а для маленькихъ. Пусть г. Некрасовъ приметъ въ свѣдѣніе, что въ числѣ будущихъ его читателей найдутся такіе, которые способны подвергнуть стихотворенія анализу, если только какимъ-нибудь образомъ стихотворенія попадутъ имъ въ руки, ибо, какъ мы сказали выше, дѣти съ здоровой головою особеннаго расположенія къ чтенію стиховъ не проявляютъ, ихъ не ищутъ и о полученіи книжки со стихами не хлопочутъ. Это тѣ дѣти, которая отъ души смѣется надъ Вагнеромъ, разсказывающимъ, что березкѣ очень больно, когда ее срубаютъ, что она плачетъ; что извѣстнякъ, лишенный друга (углемислота), чувствуетъ сильную потребность соединиться снова съ изгнаннымъ товарищемъ. Его дурное расположеніе духа, вѣдствие отсутствія углемислота, становится просто опаснымъ. (См. книгу Вагнера: „Изъ природы. Разсказы для дѣтей“). Что же касается до педагогическаго значенія вообще всѣхъ стихотвореній г. Некрасова, то рано или поздно, конечно, будетъ сказано объ этомъ честное и правдивое слово.

Напередъ знаемъ, что на нашу замѣтку поступаютъ обычныя замѣчанія: воображеніе дѣтей требуетъ ищи, сухіе предметы—арифметика и геометрія—не могутъ дать ничего воображенію; следовательно, чтеніе стиховъ прино-

сигь дѣтямъ извѣстную долю пользы. Подобные, важные по своему содержанию, вопросы требуютъ не коротенькихъ отвѣтовъ, а обстоятельнаго и подробнаго изслѣдованія, чего въ короткой замѣткѣ сдѣлать нельзя. Но теперь можемъ сказать лишь то, что ничего и не говоримъ противъ необходимости питать воображеніе дѣтей, но утверждаемъ, что точныя науки должны составить исключительный предметъ ихъ занятій безъ матеріальныхъ промежутковъ; хотя не согласимся съ тѣмъ, чтобы геометрія, арифметика не могли дать пищи воображенію; задаемъ лишь вопросы: не найдется ли для пищи другихъ матеріаловъ, кромѣ стиховъ, и если этимъ матеріаломъ являются стихи, то какіе они должны быть и въ какой степени могутъ быть передаваемы дѣтямъ? Ни время, ни мѣсто не позволяютъ намъ указать на этотъ другой матеріалъ, который есть и которымъ дѣльный педагогъ сумѣетъ воспользоваться. Безъ сомнѣнія, если уже давать дѣтямъ для чтенія стихи, то лучше тѣ, которые взяты изъ дѣйствительной жизни, чѣмъ неизвѣстно о чемъ говорящія. Планъ такихъ стихотвореній, т. е. взятыхъ изъ дѣйствительной народной жизни, задуманъ г. Некрасовымъ, сколько можно судить по образцамъ, напечатаннымъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, вѣрно; но сочинять стихи надобно поосторожнѣе: во имя прелести избранной картины, всегда соблазнительной для поэтовъ, не пренебрегать и истиной, а то, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ увѣришь какого-нибудь милаго ребенка (милыя дѣти очень любятъ стихи), что лошадь такъ же покойно повезетъ въ телѣгѣ медвѣдя, какъ она везетъ покойно кошку или собаку. Зачѣмъ же въ самомъ дѣлѣ сбивать дѣтей съ толку! Можетъ быть, влѣдствіе этой замѣтки, г. Некрасовъ отнесется къ задуманной имъ книгѣ болѣе положительно и реально *).

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 1868 г.

Статья Н. I—ъ.

*) Еще см. о Некрасовѣ за 1868 г. — въ „Виржевыхъ Вѣдомостяхъ“, № 345 (въ февраль) и „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“, № 106.

Примѣч. В. Зелинскаго.

1869 г.

*) Некрасовъ неписался! Некрасова можно назвать литературнымъ покойникомъ! Вотъ тѣ возгласы, которые раздавались въ последнее время среди нашей періодической прессы. Справедливо ли это, и если справедливо, то въ какой степени,—вотъ вопросъ, на который намъ надобно отвѣтить. Какъ извѣстно, приговоры нашихъ критиковъ и фельетонистовъ часто не отличаются строгою обдуманностью, но относительно Некрасова въ ихъ крикахъ была пѣкоторая доза справедливости, такъ какъ последнее произведение его „Судь“ было очень слабо и по художественному выполнению и по идѣ; но полевнившая на страницахъ „Отеч. Записокъ“ сказка: „Кому на Руси жить хорошо“ разомъ опровергиваетъ ихъ приговоръ. Въ этомъ новомъ произведеніи Некрасовъ является опять тѣмъ же знатокомъ народныхъ потребностей и тѣмъ же художникомъ въ дѣлѣ изобразительности, какимъ былъ некогда. Упомянутая нами сказка состоитъ изъ двухъ частей. Первая не представляетъ ничего особеннаго и состоитъ въ томъ, какъ нѣсколько крестьянъ заспорили о томъ, кому на Руси жить хорошо, и въ чадѣ спора сбились съ дороги, по которой имъ надобно было идти домой. Вторая часть состоитъ въ описаніи ярмарки. Описаніе это знакомитъ читателя съ сельской ярмаркой и рисуетъ хмельныя картины, сопровождающія всякую ярмарку. Картины эти отличаются, конечно, отсутствіемъ изящества, но зато въ нихъ сквозитъ правда. Вотъ, напримѣръ:

Средь самой, средь дороженьки
Какой-то парень тихонькой
Большую яму выкопалъ.
— Что дѣлаешь ты тутъ?
„А хороню я матушку“.
— Дуракъ! какая матушка!
Гляди, поддевку новую
Ты въ землю закопалъ!
Иди скорѣй, да хрюкаюмъ

*) „Юридическій Голосъ“, 1869 г., № 57. (Статья М. Велешкаго).

Въ капаву лягъ, воды пей!
Авось, соскочить дурь.
„А ну, давай, потянемся!“
Садятся два крестьянина,
Ногами упираются
И жлятся и тужатся,
Брехтять—на скалкъ тянутся,
Суставчики трещать.
На скалкъ не повравилось:
„Давай теперь попробуемъ
Тянуться бородами!“
Когда порядкомъ бороды
Другъ дружкѣ поубавили, и т. д.

Какія пошлыя, циническія сцены, скажетъ благовоспитанный читатель. Что же дѣлать, отвѣтимъ мы, если другихъ въ нашемъ простонародіи мы не находимъ. Вотъ еще:

Въ капавъ бабы ссорятся.
Одна кричитъ: домой ити
Тошпѣе, чѣмъ на каторгу!
Другая: врешь, въ моемъ дому
Похуже твоего!
Мяъ старшій зять ребро сломалъ,
Середній зять клубокъ укралъ;
Клубокъ—плевокъ, да дѣло въ томъ,
Полтнявикъ былъ замотавъ въ немъ.
А младшій братъ все ножъ беретъ,
Того гляди—убьетъ, убьетъ!

Вотъ въ краткихъ словахъ очерченъ семейный бытъ. Или, быть можетъ, поэтъ въ угоду читателямъ долженъ былъ нарисовать идиллическую картину семейнаго счастья, гдѣ живетъ старая теща съ тремя зятьями, которые ей во всемъ угождаютъ, непрерывно одинъ передъ другимъ стараются выказать ей свое усердіе и заботы,—но въ такомъ случаѣ поэтъ перестать бы былъ вѣрнымъ истинѣ, потому что свѣдѣнія явленія въ простонародіи чрезвычайно рѣдки, а поэзія, по справедливому выраженію одного нашего писателя, заключается въ правдѣ жизни. Вѣдь мыслящимъ людямъ, и думаю, уже извѣстно, что въ настоящее время, для того, чтобы быть поетомъ, недостаточно описывать, какъ роза цвѣтегъ, соловей поетъ, водопадъ шумитъ—или сочинять хвалебныя оды хорошенькимъ глазкамъ А., миленькой ножкѣ

„Д. и т. д., потому что такіа стихотворенія не могут при-
нести ничего, кромѣ пріятнаго усиленія. Такимъ образомъ
возникаетъ вопросъ: какимъ цѣлямъ должна служить по-
эзія? Научнымъ и прогрессивнымъ, отвѣтимъ мы. Идеаль
науки и прогресса: *равенствѣ человечества въ интеллекту-
альномъ, моральномъ и матеріальномъ отношеніяхъ*. Этотъ
идеаль долженъ руководить и поэта. Возвышеннѣй и бла-
городнѣй этого идеала нѣтъ для поэта. Работая въ такомъ
направленіи, онъ долженъ брать факты изъ окружающей
насъ дѣйствительности и воспроизводить ихъ силой своего
художественнаго таланта. Кромѣ того, поэту надо руковод-
ствоваться и идеей при выборѣ фактовъ, чтобы не обратиться
изъ художника въ фотографа, и для избѣжанія такой ме-
таморфозы брать только то, что соотвѣтствуетъ его цѣли,
т.-е. тѣ явленія, существованіе которыхъ препятствуетъ до-
стиженію идеала, или тѣ, воспроизведеніе которыхъ можетъ
служить энергическимъ толчкомъ къ болѣе быстрому дви-
женію общества, возбуждая и выводя его изъ апатіи. „Но
вѣдь это значитъ заключить поэзію въ тѣсную рамку слу-
женія будничнымъ интересамъ и лишить ее независимости“,
скажутъ намъ. Совесть нѣтъ: напротивъ того, мы желаемъ
очистить ее отъ мелкихъ цѣлей и узкихъ интересовъ и
обратить въ служеніе истинно-человѣческимъ стремленіямъ;
слѣдовательно, сдѣлать ее наиболѣе независимою, такъ какъ
всякая идея свободы связана неразрывными узами съ зако-
нами справедливости и гуманности. Вотъ нашъ взглядъ на
поэзію. Мы признаемъ міровое значеніе такихъ поэтовъ,
какъ Шиллеръ, Гёте, Гейне и др., но не можемъ придать
такого же значенія ихъ подражателямъ, потому что то, что
у первыхъ прекрасно и самобытно, то у послѣднихъ просто
пошло. Что же касается насъ, русскихъ, то мы въ насто-
ящее время не можемъ найти никого, заслуживающаго больше
правъ называться поэтомъ, кромѣ Некрасова, потому въ
томъ значеніи, въ которомъ мы понимаемъ это слово. Для
болѣе яснаго подтвержденія только что сказаннаго нами
слѣдовало бы разобрать, по крайней мѣрѣ, нѣсколько стихо-
твореній, но такъ какъ это будетъ несообразно съ объемомъ
нашей статьи, то мы должны довольствоваться нѣкоторыми

мѣстами вышеупомянутой сказки. Возьмемъ хотя то мѣсто, гдѣ одинъ странствующій господинъ началъ говорить мужикамъ о томъ, что они много пьютъ.

Крестьяне рѣчь ту слушали,
Поддакивали барину,
Павлуша (баринъ) что-то въ книжечку
Хотѣлъ уже записывать,
Но выпскался пьявенькой
Мужикъ,—онъ противъ барина
На животъ лежать,
Въ глаза ему поглядывать,
Помалчивалъ, да вдругъ
Какъ вскочить! Прямо къ барину —
Хватъ карандашъ изъ рукъ!
— Постой, башка порожняя!
Шальныхъ вѣстей безсовѣстныхъ
Про насъ не разноси!
Чему ты позавидовалъ,
Что веселится бѣдная
Крестьянская душа?
Пьемъ много мы по времени,
А больше мы работаемъ,
У васъ на семью пьющую
Непьющая семья!
Не пьютъ, а такъ же маются—
Ужъ лучше бѣ пили, глуные,
Да совѣсть такова.

Сколько здраваго смысла и жизненной правды заключается въ этихъ немногихъ словахъ и сколько снисходительности и сочувствія могутъ вселить эти строки къ простому и незатѣпчивому горю крестьянина, которое, однако, вслѣдствіе его невѣжества находитъ исходъ только въ пьянствѣ. Вопросъ о народномъ пьянствѣ и причинахъ его — одинъ изъ животрепещущихъ въ наше время. Существуютъ двѣ партіи, изъ которыхъ одна утверждаетъ, что пьянство есть главнѣйшая причина бѣдности простого народа, другая, напротивъ того, считаетъ пьянство однимъ изъ слѣдствій бѣдности и нужды, и никакъ не хочетъ признать, чтобы пьянство имѣло сильное вліяніе на богатство народа. Какъ то, такъ и другое мнѣніе, рассматриваемое въ отдѣльности, крайне одно-

сторонѣ, но, несмотря на то, послѣднее имѣеть больше шансовъ на справедливость, потому что

У насъ на семью пьющую
Непьющая семья!
Не пьютъ, а такъ же маются—
Ужъ лучше бѣ пьян, глухые.

Совершенно вѣрно. Кому случалось видѣть въ деревняхъ пьющія и непьющія семьи, тотъ знаетъ, что разница не велика, а слѣдовательно, пьянство вовсе еще не есть такой сильный источникъ бѣдности, какъ это воображаютъ многіе. Что же касается причины пьянства, столь сильно распространеннаго въ народѣ, то ею можетъ быть не одна бѣдность, но также и невѣжество, хотя послѣднее въ гораздо слабѣйшей степени, чѣмъ первое.

„Нѣтъ мѣры хмелю русскому“.
А горе наше мѣряли?
Работъ мѣра есть?
„Вино валить крестьянина“.
А горе не валить его?
Работа не валить?

На эти строки приходится говорить то, что мы уже только что говорили, т-е. что только близорукій можетъ внушить такое понятіе, что одно лишь пьянство есть источникъ всѣхъ золъ въ народѣ.

Даже немногихъ строкъ, выписанныхъ нами, достаточно для того, чтобы читатель могъ видѣть, какъ Некрасовъ въ послѣднемъ своемъ произведеніи остался вѣренъ всегдашней своей идее: возбуждать сочувствіе высшихъ классовъ къ простому люду, его нуждамъ и потребностямъ. Многіе говорятъ, что стихотворенія его могли имѣть значеніе только при крѣпостномъ правѣ, но никакъ не теперь, когда положеніе крестьянъ значительно улучшилось и имъ остается только трудиться, чтобы еще болѣе улучшить его. Совершенно вѣрно, положеніе крестьянъ въ настоящее время несравненно лучше, но еще далеко не такъ хорошо, какъ это полагаютъ нѣкоторые. И мы увѣрены, что само правительство, которому дорого народное благосостояніе, никакъ не остановится на настоящемъ положеніи дѣлъ, а будетъ продолжать свои неуспѣшныя дѣйствія относительно улучшенія участи простого

народа: но, какъ извѣстно, всякая реформа, производимая администраціей, часто встрѣчаетъ въ некоторыхъ слояхъ нашего общества и литературы тупое недовольство, если только она идетъ въ ущербъ каковымъ интересамъ, а потому такіе люди, какъ Некрасовъ, умѣющие рисовать дѣйствительность во всемъ ея неприглядномъ свѣтѣ, возбуждающіе интересъ и сочувствіе къ ея слабостямъ, намъ нужны, отчасти потому, что они способны уничтожать сословный антагонизмъ и готовить общество къ воспріятію безъ ропота благотворительныхъ реформъ администраціи, которая въ своихъ распоряженіяхъ всегда далеко опережаетъ общественную мысль.

Изъ „Кіевскаго Телеграфа“. Статья М. Велинскаго.

* * *

Г. Некрасовъ недавно воспѣлъ времена Грановскаго и Бѣлинскаго, и мы познакоимъ нашихъ читателей съ этими пѣснопѣвцами, въ которыхъ видимъ ту же черту — превознесеніе чистаго западничества, составляющаго нынѣ идеалъ некоторыхъ изъ нашихъ литературныхъ партій. Стихи, которые мы выищемъ, находятся въ *Сценѣ изъ лирической комедіи „Медвѣжья охота“*, напечатанныхъ въ прошломъ году въ „Отечественныхъ Запискахъ“, а потомъ перепечатанныхъ въ книгѣ: *Стихотворенія Некрасова*, часть IV.

Замѣчательный талантъ г. Некрасова представляетъ большую сложность, въ силу которой, вѣроятно, онъ до сихъ поръ и не оцѣненъ надлежащимъ образомъ нашею критикою. Какъ сатирикъ, г. Некрасовъ не ограничился однимъ воеханіемъ сороковыхъ годовъ: онъ схватилъ и смѣшныя стороны тогдашняго настроенія и написать на него слѣдующіе водевильные куплеты:

Діалектикъ обаятельный,
Честенъ мыслію, сердцемъ чистъ,
Почню я твой взоръ мечтательный,
Либераль-идеалистъ!
Созерцающій, читающій,
Съ неотступною хандрой
По Европѣ разтѣзжающій,
Здѣсь и тамъ—всему чужой, и т. д.

*) „Заря“ 1869 г., № 7. „Критическія замѣтки“. (Статья, кажется, Н. Страхова).

(Выписка оканчивается стихами:

Ты стоять передь отчизною
Честенъ мыслью, сердцемъ чистъ
Воплощенной укоризною
Либераль-идеалистъ!).

Несмотря на сочувственный тонъ, тутъ не мало горькихъ истинъ. Эти рыцари добраго стремленія были всему чужіе и въ Россіи и въ Европѣ; естественно, что ихъ одолевало уныніе.

Всего плачевнѣе та ихъ черта, которая, какъ видно, особенно нравится г. Некрасову. Эти верхоглядъ, жившіе зря, люди безпутнаго житія, неспособные ни къ какому реальному усилю, немоцные и унылые, считали себя, однако же, въ правѣ осыпать укоризнами свое отечество, для котораго они были чужіе. Такъ какъ они были честны мыслью и чисты сердцемъ, такъ какъ они обходили грязь жизни, то они думали, что могутъ не только обличить грязь и нечистоту отдѣльных лицъ, но даже поставить себя выше всей своей отчизны и служить для нея „воплощенной укоризною“.

Увы! это право не такъ легко пріобрѣтается, какъ они думали. Для этой роли пророка требуется много любви, много душевной силы, а ничего подобнаго у нихъ не было; у нихъ было только самолюбіе, вѣдствие котораго имъ нравилось ставить свою личность выше незнаемой и пренебрегаемой отчизны. Въ другомъ мѣстѣ (въ поэмѣ *Саша*) г. Некрасовъ изобразилъ этихъ героевъ еще болѣе реальными чертами: либераль-идеалистъ былъ вотъ каковъ:

Книги читаетъ, да по свѣту рыщетъ,
Дѣла себѣ исполненнаго ищетъ.
Благо нислѣое богатыхъ отцовъ
Освободило отъ малыхъ трудовъ,
Благо идти по дорогѣ набитой
Дни помѣшала да разумъ развитый.
— Нѣтъ, я души не растрочу моей
На муравьиной работѣ людей;
Или подъ бременемъ собственной силы
Сдѣлаюсь жертвою ранней могилы,
Или по свѣту звѣздой пролечу!
Мірѣ—говорить—осчастливить хочу!
Что жъ подъ руками, того онъ не любитъ,

То мимоходомъ безъ умысла губить.

.....
Что ему книга послѣдняя скажетъ,
То на душѣ его сверху и ляжетъ.

.....
Самъ на душѣ ничего не имѣетъ,
Что вчера сжалъ, то сегодня и съетъ.

.....
Это въ простомъ переводѣ выходить,
Что въ разговорахъ онъ время проводитъ;
Если жъ за дѣло возьмется—бѣда!
Миръ виноватъ въ неудачѣ тогда.
Чуть поослабвуть петвердыя крылья,
Бѣдный кричить: „безполезны усилья!“
И ужъ куда какъ становится золь
Крылья свои опалвшій орель...

Таковы были люди, которыхъ породило у насъ чистое западничество, которыхъ оно отрывало отъ всякаго дѣла и отъ пониманія Россіи. Что было очень печальное явленіе: страданія ихъ были слѣдствіемъ того фальшиваго положенія, въ которомъ они находились—и изъ котораго выйти они не могли, такъ какъ у нихъ педоставало ума, чтобы понять это положеніе, и сердца, чтобы вырваться изъ него инстинктивнымъ усиліемъ. Не будемъ судить ихъ строго, но не будемъ и принимать болѣзненное явленіе за что-то хорошее. Если они прошли, эти либералы-идеалисты, то можно этому только порадоваться.

Само собою разумѣется, что предыдущіе стихи и куплеты и отрывокъ изъ *Саша* относятся не къ Грановскому, а изображаютъ болѣе ходячій и обыкновенный типъ тогдашнихъ образованныхъ людей. Грановскому же прямо посвящены г. Некрасовымъ слѣдующіе стихи болѣе возвышеннаго тона, произносимые однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ *Медвѣжьей охоты*.

Грановскаго я тоже близко зналъ—
Я слушалъ лекціи его три года.
Великій умъ! Счастливая природа!
Но говорилъ онъ лучше, чѣмъ писалъ.
Оно и хорошо—писать не время было:
Почти что пячего тогда не проходило.

Передъ рядами многихъ поколѣній
 Прощель твой свѣтлый образъ чистыхъ впечатлѣній
 И добрыхъ знаній много сѣялъ ты,
Другъ Песни, Добра и Красоты!
 Пылливъ ты былъ; искусство и природа,
 Наука, жизнь—ты все познать желалъ,
 И въ новомъ творчествѣ ты силы почерпалъ,
 И въ гевія угасшаго народа...
 И всѣмъ дѣлиться съ нами ты хотѣлъ!
 Не диво, что тебя мы горячо любили;
 Терпимость и любовь тобой руководили.
 Ты настоящее оплакивать умѣлъ
 И брата узнавалъ въ рабѣ иноплеменномъ,
 Отъ насъ вѣками отдаленномъ!
 Готовилъ родинѣ ты честныхъ сыновей,
 Провидя лучъ зари за непроглядной далью.
 Какъ ты любилъ ее! Какъ ты скорбѣлъ о ней!
 Какъ рано умеръ ты, терзаемый печалью!
 Когда надъ бѣдной русскою землею
 Заря надежды медленно всходила,
 Созрѣлъ недугъ, посягнутый тоской,
 Которая всю жизнь тебя крушила...

Здѣсь тѣ же черты либерала-идеалиста, но только облагороженныя и имѣющія наилучшій видъ, какой для нихъ возможенъ: то же неопредѣленное поклоненіе истинѣ, добру и красотѣ, то же стремленіе къ разнообразнымъ познаніямъ, та же тоска человека, понятія котораго не встрѣчаютъ на родинѣ ничего имъ соотвѣтствующаго, наконецъ, та же роль не дѣятеля, не ученаго, а проповѣдника идей, очерченныхъ, повидному, ото всѣхъ народовъ, старыхъ и новыхъ, въ сущности же заимствуемыхъ изъ Запада *).

Изъ „Зари“ 1869 г.

*) Еще см. на этотъ разъ о Некрасовѣ въ „Портретной галлереѣ русскихъ дѣятелей“, т. 2, изд. А. Мюнстера. Кроме того, 1869-й годъ богатъ литературой о Некрасовѣ подымно-биографическаго свойства. Вотъ она: „Материалы для характеристики современной русской литературы. I) Литературное объявленіе съ Н. А. Некрасовымъ М. А. Антоновича и II) Postscriptum Ю. Г. Луковскаго“ — „Биржевыя Вѣдомости“, № 153 — „Воскресный Грѣхъ“, № 3, — „Вѣсть“, № 248 — „Дѣло“, № 60 — „Гѣло“, № 4, стр. 90—93, — „Заря“, № 5, стр. 151—174, II Страхова — „Орѣсскій Вѣстникъ“, №№ 137 и 139 („Нѣсколько словъ въ литературѣ“) — „Отечественныя Записки“, № 4 стр. 2, стр. 274—283 и 336—368 — „Литературное объявленіе“

Критика семидесятихъ годовъ.

1870 г.

Богаты мы или бѣдны лириками? Стоитъ только начать счетъ, васъ поразитъ обиліе именъ, повѣдавшихъ міру свои думы, чувства и помышленія; не говоря уже о такихъ именахъ, какъ Некрасовъ, вспомните, сколько еще лирическихъ разрядовъ, расположенныхъ по нисходящимъ степенямъ. Минаевъ, Курочкинъ, Плещеевъ, Вейнбергъ, Полонскій, Пальминъ, Ворমেъ и т. д., и т. д. А загляните въ недавнее прошлое? Мей, Кроль, В. Крестовскій, А. Майковъ, Тютчевъ, Ф. Бергъ, Фетъ... а сколько русскихъ людей еще кропаютъ стилики, воспѣвая сладчайшія чувства, стараются метать громы или стремясь въ тѣ счастливыя страны, о которыхъ сами кропатели не имѣютъ ни малѣйшаго понятія. „Стихи“ такого рода вещь, что, по крайней мѣрѣ, по убѣжденію кропателей, ихъ можно писать, не имѣя въ головѣ никакой определенной мысли. Состринаятъ иногда

гг. Антоновича и Жуковскаго“, Н. Рождественскіи, отдѣльн. изданіе, Спб. 1869 г.—„Космосъ“, № 4 (М. Антоновича, „Неизвѣстному другу“); тамъ же № 8 — („Объ отношеніяхъ Некрасова къ Бѣлинскому). Воспоминанія Н. С. Тургенева: „Вѣстникъ Европы“, № 4 (см. также Соч. Тургенева, г. 1). „Космосъ“, 2-е полугодіе, приложеніе N 1, стр. 84—102 (о воспоминаніяхъ Тургенева). — „С-Петербургскія Вѣдомости“, N№ 187 и 188 (Письма Бѣлинскаго къ В. П. Боткину) „Космосъ“, 2-е полугодіе, стр. 113—120 (по повѣсту письма Бѣлинскаго). „С-Петерб. Вѣдом.“, № 211 (фелетопъ Познакомца).—„Заря“, N 9, стр. 207—209 (Грановскій въ стихахъ Некрасова), см. тамъ же о письмѣ Некрасова къ Тургеневу, гдѣ онъ убѣждаетъ Тургенева отдать въ „Современникъ“ романъ „Отцы и Дети“.

*) М. М. „Иллюстрированная Газета“ 1870 г., № 12.

Примѣч. В. Зелинскаго.

такой крошечный три или четыре десятка строчек, и ужь чего не придумает! Тутъ у него и „мечты“ о чемъ-то, тутъ не обходится безъ „пустоты“, тутъ и вздохи, и слезы, и грезы, и грозы. — Однимъ словомъ, чего хочешь, того просишь, только смысла не спрашивай. Между любителями „стиховъ“ есть и такіе, которые только всего и ищутъ „мѣрнаго паденья рими“ и „звучности“ стиха, а до смысла, до определенной мысли имъ нѣтъ дѣла. Мимель въ стихотвореніи, по ихъ мнѣнію, „мочальнымъ хвостъ“, и потому они предпочитаютъ стихотворенія „безхвостыя“. Но увы! подобнаго рода вирши давно потеряли значеніе въ болѣе развитой части общества, котораго вниманіе привлекаютъ только Ми-наевъ, Некрасовъ и Курочкинъ. Всѣ они болѣе или меньше—сатирики, всѣ владѣютъ мастерски стихомъ, которымъ имъ дается легко и безъ труда. Некрасову все еще принадлежать первое мѣсто. Его сатира—глубже захватываетъ жизненные стороны, у него она шире, нежели у двухъ другихъ, названныхъ нами. Правда, его „новое“ настроеніе нѣсколько устарѣло, но, внесенное въ сатиру, придаетъ ей разнообразіе и способно привлечь даже и простоватому читателю, что здѣсь дѣло всерьезъ идеѣ, а не смѣха ради. Напримѣръ:

Пріувиль и мужикъ.—Чѣмъ я буду топить?
Говоритъ онъ, лицо свое хмуря:
„Ты не будешь топить—будешь пить“,
Завываетъ въ отвѣтъ ему буря.

Въ IV ч. стихотвореній въ первый разъ напечатаннаго—немного. Въ большинствѣ ея содержаніе составляютъ стихотворенія, напечатанныя въ „Современникѣ“ 1865 г., 1866 г. и въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1868 г. Главное дополненіе составляютъ отрывки изъ „Медвѣжьей охоты“, подъ заглавіями: „Пѣсня о трудѣ“ и „Пѣсня любви“; первая изъ нихъ—простое указаніе на изменившіяся, въ последнее время, экономическія условія нашей жизни, или отрицаніе паразитства, а вторая—тоже указаніе на новыя стремленія русской женщины: впрочемъ, сущность этихъ стремленій гораздо опредѣленнѣе въ самой дѣйствительности, нежели у Некрасова. Вотъ, напримѣръ, что поетъ у не-

го Люба: „Мнѣ здѣсь скучно, потому что здѣсь жизнь тянется вяло. Но я выросла у моря, т.-е. на просторѣ, а большому кораблю—большое и плаваніе. Жалѣть меня нечего: все равно—не спасти: не сегодня, завтра грянетъ буря и погубитъ меня, потому что кланяться и покоряться я не хочу и не умѣю... Опусти меня, родная, на просторъ широкій, все же я, прежде чѣмъ сломлюсь, хоть не долго буду счастлива. Я помню, какъ ты грудью разѣкала волны, была бодрѣ, смѣлѣе, хоть и не долго, хоть и не съ побѣдною пѣснью пристала къ берегу, но знала, что такое счастье. Я тоже хочу счастья, должна его искать... Опусти меня!“ Слова нѣтъ—стремленіе, требованіе новыя, если бы только не одна несчастная черта: двѣвушка просить позволенія у мамы выйти на новый путь. Но это была небольшая; мама, безъ сомнѣнія, дозволить, понимая, что у нея просить позволенія только для формы. Слѣдовательно, упрекнуть Некрасова можно за форму, въ которую онъ облекъ новое женское требованіе. Но неопредѣленности самого требованія—оправдать нельзя, потому что въ жизни оно заявило себя очень опредѣленно и безъ фразъ, такъ что познать нѣсколько опоздать со своею пѣснью. Едва ли кто теперь станетъ ее пѣть.

Наше соображеніе подтверждается еще и стихотвореніемъ, посвященнымъ „неизвѣстному другу“, особенно слѣдующими строками:

. . . И пѣнь моя безслѣдно пролетѣла
И до народа не дошла она,
Одна любовь сказаться въ ней успѣла
Къ тебѣ, моя родная сторона.
За то, что я, черствѣя съ каждымъ годомъ,
Ее умѣлъ въ душѣ моей спасти,
За каплю крови, общую съ народомъ,
Мои вины, о родина, прости!

Сравните двѣ послѣднія выписки. Не та ли же самая въ нихъ пѣснь искупленія. Само собою, что побудительная причина, вызвавшая подобную пѣснь, никогда и никѣмъ гласно не высказывалась. Но гласное опроверженіе клеветы было необходимо въ интересахъ читающихъ людей, которые знали о существованіи нѣкоторыхъ, невыгодныхъ для поэта,

слуховъ. Теперь есть возможность взглянуть на дѣло безпристрастно и припомнить, что года полтора тому назадъ приходилось волей-неволей издавать фальшивые звуки или не издавать вовсе никакихъ: это было время, удобное для всякой клеветы и пясинуаціи.

Въ „Приложеніи“ къ IV ч. стихотвореній помѣщены: поэма „Нанаша“, въ первый разъ напечатанная въ „Современникѣ“ 1860 г., и еще нѣсколько небольшихъ стихотвореній.

Изъ „Плюстр. Газеты“. Статья М. М.

*

) Во второмъ номерѣ „Отечественныхъ Записокъ“ помѣщено продолженіе поэмы Н. А. Некрасова: „Кому на Руси жить хорошо“. Поэма эта нѣсколько растянута, въ ней вы встрѣчаете многія сцены, совершенно излишнія, мѣшающія общему впечатлѣнію, напрасно утомляющія читателя и тѣмъ не мало вредящія цѣльности впечатлѣнія. Но при всемъ томъ поэма Некрасова имѣетъ неотъемлемыя достоинства: въ ней столько чувства, столько глубокаго пониманія жизни, что какъ-то невольно забывается, изглаживаются всѣ мелкіе недостатки. Многія сцены этой поэмы прочувствованы и выражены такъ ярко и сильно, что невольно пробѣгаешь ихъ по нѣскольку разъ, и чѣмъ больше вчитываешься въ нихъ, тѣмъ прекраснѣе онѣ кажутся.

Изъ „Новаго Времени“. Статья Л. Л.

* * *

) Мы уже не разъ высказывали убѣжденіе, что русская литература, хотя о ней всѣ толкуютъ взапуски, хотя каждый считаетъ себя въ правѣ судить и рѣдить о ней, есть предметъ въ высшей степени темный и трудный. Но всего труднѣе и темнѣе въ русской литературѣ—ея поэзія, всего загадочнѣе тѣ писатели, которые принадлежать къ числу лучшей и спеціальнѣйшей поэтической области, т. е. лирики-стихотворцы. Каждый разъ, когда мы хотѣли взять-

*) Л. Л. „Новое Время“ 1870 г., № 109.

**) Н. Страховъ. „Заря“ 1870 г., № 9.

ся за нашихъ поэтовъ, чтобы разбирать ихъ, насъ останавливала чрезвычайная запутанность и странность этихъ явленій, и мы принимались за что-нибудь другое.

Изложимъ дѣло со всею откровенностію. Сравнительно легко писать о такихъ крупныхъ и ясныхъ явленіяхъ, какъ Герцень, гдѣ можно коснуться, по мѣрѣ силъ, важныхъ и разнообразныхъ вопросовъ, бывшихъ предметомъ общаго вниманія и долгихъ толковъ. Еще легче писать статьи о „женскомъ вопросѣ“ и о томъ, что человекъ имѣетъ душу. Твердить общія истины, писать трактаты въ опроверженіе дикихъ мифовъ или въ защиту ясныхъ, какъ день, положеній—дѣло, которое легче многихъ другихъ. Если бы насъ соблазняли лавры Добролюбова и Писарева, то мы гораздо чаще предавались бы этого рода литературнымъ упражненіямъ, которыя при томъ для многихъ, вѣроятно, весьма не безполезны. Но намъ все *совѣстно* касаться общихъ и избитыхъ темъ, и мы сами добровольно запираемъ себя путь къ славѣ. Мы принимаемся за эти легкіе предметы не иначе, какъ съ большими предосторожностями, чтобы, поучая перазумныхъ читателей, не наскучить какъ-нибудь разумнымъ. Мы въ этомъ случаѣ держимся той мысли, которую заключаетъ одно стихотвореніе г. Некрасова: вмѣстѣ съ поэтомъ мы часто говоримъ себѣ:

И погромче насъ были витіи,
Да не сдѣлали пользы перомъ...
Дураковъ не убавимъ въ Россіи,
А на умныхъ тоску наведемъ.

Итакъ, есть не мало предметовъ, о которыхъ писать было бы легко, такъ какъ для этихъ предметовъ есть и публика, то-есть существуютъ извѣстные интересы и вопросы въ массѣ читателей, есть и ясныя основанія, то-есть существуютъ очень простыя и широкія точки опоры, на которыхъ мы можемъ установить свои сужденія. Но какъ писать о поэзии? Гдѣ наша публика, читающая поэтовъ? Гдѣ взять мѣрки для сужденія о нашихъ лирикахъ?

Если мы вспомнимъ, что въ нынѣшнемъ году окончено новое, весьма полное изданіе сочиненій Полонскаго, въ прошломъ году вышло пятое изданіе стиховъ Некрасова,

въ позапрошломъ вновь изданы и теперь уже, кажется, раскуплены стихотворенія Хомякова и Тютчева, что до сихъ поръ пишутъ Майковъ, Алексѣй Толстой, Алмазовъ и другіе, то окажется, что мы вовсе не бѣдны лирическою поэзіею и что есть же для нея читатели, требующіе новыхъ изданій своихъ любимыхъ поэтовъ. Г. Некрасовъ, конечно, первелствуетъ въ этомъ случаѣ, онъ вышелъ уже пятымъ изданіемъ. Но какъ ни старались журналы, руководимые г. Некрасовымъ, отбить у читателей охоту отъ всякой поэзіи, кромѣ той, которою занимается г. Некрасовъ, они, очевидно, въ этомъ не успѣли. Напримѣръ, успѣхъ Тютчева, поэта очень глубокомысленнаго, очень высокаго по строю своей лиры, ясно показываетъ, что у насъ есть еще значительная публика для самыхъ высокихъ родовъ поэзіи. Мы были очень изумлены, прочитавши въ прошломъ году въ „Отечественныхъ Запискахъ“ такое извѣстіе: „Г. Полонскій очень мало извѣстенъ публикѣ“ (см. „Отеч. Зап.“ 1869 г., сентябрь, стр. 47). Какъ? Полонскій, знаменитый Полонскій *очень мало* извѣстенъ! Въдѣ поворачивается же у людей языкъ на подобныя выходки! Я думаю, наборщикъ, набравшій эту страницу, и корректоръ, правившій ее въ типографіи г. Краевскаго, смѣялись надъ непомѣрнымъ безстыдствомъ этой лжи. Полонскій *очень мало* извѣстенъ! Подобныя вещи можно писать только для гимназистовъ перваго класса, только въ явномъ расчетѣ на такую публику, которая понятія не имѣетъ о русской литературѣ, и станетъ учиться ей по рецензіямъ „Отеч. Записокъ“, станетъ на этомъ журналѣ развивать свой умъ и воспитывать свои сердечныя чувства.

Такая публика, конечно, есть, и объ ней, конечно, очень хлопочутъ такіе журналы, какъ „Отеч. Записки“. Они никогда непрочь привлечь эту публику на свою сторону и очень желали бы увѣрить ее, что не стоитъ и обращать вниманія на всю остальную литературу. Всегда есть мальчишки, только что принимающіеся за чтеніе книгъ, всегда есть множество и зрѣлыхъ людей, которые, какъ выразился Гоголь, „несколько беззаботны насчетъ литературы“. Для нихъ можно смѣло печатать, что Полонскій есть писатель

очень мало извѣстный, а что о Тютчевѣ никто даже никогда не слыхалъ. Но есть другая публика — вотъ къ чему мы клонимъ свою рѣчь. Есть же въ немаломъ числѣ такіе удивительные люди, которые любятъ поэзію и не считаютъ знакомство съ русскою литературою за дѣло лишнее и без-
 полезное. Такіе люди всѣ до единого знаютъ и любятъ Полонскаго, котораго, впрочемъ, мудрено не знать и тѣмъ, которые его не любятъ. Полонскій пишетъ около тридцати лѣтъ (знаменитыя стихотворенія: „Солнце и мѣсяцъ“, „Пришли и стали тѣни ночи“ написаны — первое въ 1841, второе въ 1842 году); въ теченіе этого времени онъ написалъ не мало произведеній *первостепенныхъ*, то-есть представляющихъ несомнѣнное, чистое золото поэзіи („Бѣда проповѣдникъ“, „У Аспазіи“, „Статуя“, „Кузнецикъ Музыкантъ“, „Наяды“ и пр.); въ силу этого онъ сталъ однимъ изъ образцовыхъ *классическихъ* нашихъ поэтовъ, то-есть такимъ, который всегда съ почетомъ поминается при перечисленіи сокровищъ нашей литературы и безъ произведенія котораго не обходится ни одна хрестоматія. При томъ г. Полонскій пишетъ до сихъ поръ и пишетъ такъ, что ничто не обличаетъ ослабленія его таланта. Мы можемъ ждать отъ него такихъ же великолѣпныхъ произведеній, какими онъ отъ времени до времени дарилъ насъ и прежде. Въ доказательство укажемъ на „Царя Симеона“, напечатаннаго въ майской книжкѣ „Зари“. Вотъ положеніе г. Полонскаго въ литературѣ. Онъ такой *извѣстный* писатель, что извѣстнѣе и быть невозможно при маломъ количествѣ, при малой нашей любви къ родной литературѣ. Но — *что такое* Полонскій? Въ чемъ смыслъ его поэзіи? Каковы ея отличительныя черты? На эти вопросы дѣйствительно не существуетъ отвѣта. Мальчики въ школахъ учатъ наизусть его стихи: всѣ знаютъ, други и недруги, что онъ отличный поэтъ; но *что такое* его поэзія — такъ же мало извѣстно, какъ мало извѣстно значеніе Пушкина, какъ мало ясенъ и понятенъ ходъ всего развитія нашей литературы. И въ этомъ отношеніи получаетъ нѣкоторый смыслъ дерзкая выходка „Отечественныхъ Записокъ“, рѣшившихся провозгласить, что Полонскій очень мало извѣстенъ читателямъ. Подъ злобью,

доходящую до такой наивности, скрывается слѣдующая мысль: г. Полонскій есть явленіе неясное, непонятное: никто не знаетъ, что оно такое, и такимъ образомъ публика намъ повѣритъ, если мы скажемъ, что онъ не имѣетъ никакого значенія въ литературѣ, что онъ не имѣетъ даже извѣстности, такъ какъ ничѣмъ было ее возбудить и заслужить.

Умные люди, такіе, напримѣръ, какіе пишутъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, не любятъ никакихъ неясныхъ, непонятныхъ явленій. Для умника всякое явленіе этого рода — обидца, такъ какъ оно ясно свидѣтельствуетъ о несостоятельности его ума, о мелкости его понятій. Въ такихъ случаяхъ умные люди прибѣгаютъ перѣдко къ очень глупому средству: для спасенія чести своего ума въ своихъ и чужихъ глазахъ, они *отрицаютъ* непонятное явленіе, стараются отнять у него всякое значеніе. Вотъ причина, по которой въ наши дни такъ ожесточенно напали на Пушкина: для умниковъ нашъ великій поэтъ — бѣльмо на глазу, камень преткновенія. Вотъ главная существенная причина и нападеній на Полонскаго, поэта, который, повидимому, ничѣмъ не могъ раздражить ни одной изъ литературныхъ партій. Онъ раздражаетъ умничающихъ самымъ своимъ существованіемъ, самою своею извѣстностію, и вотъ они утверждаютъ, что онъ вовсе не извѣстенъ, что его ими отнюдь не числится въ числѣ именъ русскихъ поэтовъ, что настоящіе наши *известные* поэты, это — г. Некрасовъ, г. Минаевъ и г. Курочкинъ. Для поясненія и сравненія обратимся къ г. Некрасову. Г. Некрасовъ дѣйствительно находится въ другомъ положеніи, чѣмъ г. Полонскій: о г. Некрасовѣ ни въ какомъ случаѣ нельзя сказать, что онъ поэтъ *неизвѣстный*. Почему же? Не потому, что онъ выдержалъ пять изданій, тогда какъ Полонскій выдержалъ только два: обитіе читающихъ можетъ быть только *внѣшнымъ* успѣхомъ, только доказывать, что книга угодила *толпѣ*, пришла въ вкусъ людямъ грубымъ и посредственнымъ, составляющимъ большинство всякой публики. Некрасова нельзя назвать неизвѣстнымъ потому, главнымъ образомъ, что онъ будто бы поэтъ совершенно определенный, что онъ явленіе вполне ясное и понятное.

Г. Некрасовъ есть первообразъ нашихъ обличительныхъ

поэтовъ,—коихъ было и есть множество. Онъ всю жизнь обличалъ язвы нашего отечества, пороки и страданія чиновниковъ, пустую и развратную жизнь офицеровъ, гнусности Невского проспекта, а главное—страданія простого народа во всѣхъ ихъ многообразныхъ видахъ, начиная отъ бабы, которая

Завязавши подъ-мышки передникъ,
Перетянетъ уродливо грудь,

и до мужика, у котораго

Губы безкровныя, вѣки упавшія,
Язвы на тощихъ рукахъ,
Вѣчно въ водѣ по колѣна стоявшія
Ноги опухли, колтунъ въ волосахъ.

Въ силу этого г. Некрасовъ самъ о себѣ говоритъ слѣдующимъ образомъ:

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ!
И бросить хотѣ единственный лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ.

Въ силу всего этого не только теперь, когда существуетъ пять изданій стиховъ г. Некрасова, но и десять лѣтъ тому назадъ, когда ихъ существовало только два, уже нельзя было сказать, что г. Некрасовъ поэтъ мало извѣстный. Всякій не только слыхалъ о немъ, но и зналъ, что онъ такое: въ то время, какъ къ Полонскому обращались съ тѣми вѣчными вопросами, которые слышалъ Пушкинъ:

О чемъ бренчить? Чему насъ учить?
Зачѣмъ сердца волнуешь, мучить,
Какъ своеправный чародѣй?

Этихъ вопросовъ нельзя было предлагать г. Некрасову, такъ какъ *направленіе* его музы было совершенно ясно.

Вотъ мы и договорились до нѣкоторой точки зрѣнія, съ которой можно, повидимому, судить нашихъ поэтовъ, съ которой довольно ясно и прямо можно было бы произвести имъ офѣнку. Стоитъ только задать вопросъ: какого направленія поэтъ? и расхвалить или разбранить его, смотря по тому, согласны ли мы съ этимъ направленіемъ или нѣтъ.

Написать можно очень много и даже очень занимательно, потому что можно было бы вложить въ статью весь задоръ и всё тѣ мысли, какія возбуждены и выяснены долгою и упорною борьбою.

Особенно соблазнительно—написать такую критику на г. Некрасова. Статейку можно было бы сдѣлать преядовитую, при томъ такую, которая была бы и небезполезна и справедлива. Можно было бы съ избыткомъ отплатить г. Некрасову за всё обиды, которыя въ теченіе долгихъ лѣтъ были наносимы другимъ поэтамъ въ журналахъ, стоявшихъ и стоящихъ подъ его начальствомъ. Можно было бы перебрать по пальцамъ и выставить на видъ всё тѣ пошлости и фальшивыя ноты, безъ которыхъ не обходится почти ни одна страница его стиховъ. Г. Некрасовъ есть поэтъ чисто петербургскій: онъ носитъ на себѣ всё характерныя черты нашей Сѣверной Пальмиры, онъ, ея духовное дѣтище. Это поэтъ Александринаскаго театра, Невскаго проспекта, петербургскихъ чиновниковъ и петербургскихъ журналистовъ. Стихи его по тону и манерѣ очень часто сбиваются на водевильныя куплеты того особаго рода, который нѣкогда процвѣтаетъ въ нашей александринкѣ. Петербургская погода, картины и сцены петербургскихъ улицъ отразились въ стихахъ г. Некрасова, какъ предметы сильно и постоянно волновавшіе его музу. Что касается до народа, то поэтъ, конечно, глубоко сожалеетъ о немъ, но сожалеетъ именно такъ, какъ это своевольно петербургскимъ просвѣщеннымъ чиновникамъ и либеральнымъ писателямъ. Народъ для него—страждущая масса, которую не только слѣдуетъ облегчить отъ несомыхъ ею тягостей, но еще болѣе слѣдуетъ просвѣтить, освободить отъ ея дикихъ понятій, облагородить, очистить, преобразовать. Г. Некрасовъ никогда не можетъ воздержаться отъ этой роли просвѣщеннаго, тонко развитою петербургскаго чиновника и журналиста, и такъ или иначе, но всегда выкажетъ свое превосходство надъ темнымъ людемъ, которому сочувствуетъ. Цѣлый рядъ стихотвореній этого поэта посвященъ изображенію грубости и дикости русскаго народа. Какъ изящное чувство г. Некрасова оскорбляется *передникомъ, завязаннымъ подъ мышку*, такъ его гуманія и про-

свѣщенныя идеи постоянно въ разладѣ съ грубымъ бытомъ, съ грубыми понятіями, съ грубой душой и рѣчью простыхъ людей. Онъ пишетъ особыя стихотворенія на такія будто бы глубоко *народныя* темы:

Милаго побоя не долго болять (*Катерина, Ч. IV*).

или:

Намъ съ лица не воду пить,
И съ корявой можно жить, и т. д.

(*Сватъ и женихъ, Ч. IV*).

Онъ всегда непрочь грустно поемѣяться или тоскливо поглумиться надъ народомъ.

И вотъ истинная причина г. Некрасова: онъ какъ разъ пришелся по вкусу тому обществу, которое гордится своею образованностію, весьма жалѣетъ мужика, но въ то же время чуждается народнаго духа. Почитатели г. Некрасова, твердя его стихи, могутъ вполне сохранять свой презрительный взглядъ на народъ, могутъ непрежнему не имѣть ничего общаго съ народомъ и самая любовь къ нему у нихъ является не какъ простой долгъ, не какъ благоговѣйное подчиненіе его духу, а какъ заслуга ихъ гуманныхъ понятій, какъ просвѣщенное сожалѣніе о дикихъ и грубыхъ людяхъ. Таково настроеніе г. Некрасова; онъ думаетъ, какъ мы видѣли, что небеса его призвали бросить нѣкоторый *лучъ сознанія* на путь, которымъ Богъ ведетъ русскій народъ. Въ эти отличители суть вмѣстѣ и просвѣгители: они не хотятъ учиться у народа, а сами хотятъ его учить. Дѣйствительно, мы не видимъ, чтобы народныя понятія и идеалы составляли предметъ мыслей и вдохновеній г. Некрасова; толкуя безпрестанно о народѣ, онъ ни разу не воспѣлъ намъ того, чѣмъ собственно *живетъ* народъ, — ни единого чувства, ни единой думы, въ которыхъ бы отразилось внутреннее развитіе народа, сказалась бы его великая духовная сила. Нѣтъ ни единого событія во всей русской исторіи, которое внушило бы что-нибудь г. Некрасову, котораго смыслъ отразился бы въ его стихахъ хотя слабымъ отраженіемъ.

Въ насъ подъ кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человѣческой
Плодотворное зерно.

Вотъ настоящій взглядъ г. Некрасова на Россію и русскій народъ; при такомъ взглядѣ мудрено быть пароднымъ поэтомъ и бросать лучи сознанія на пути провидѣнія, развившіеся въ нашей исторіи.

Итакъ, приговоръ *направленской* критики относительно г. Некрасова могъ бы быть очень строгъ: этотъ поэтъ есть выразитель и покровитель направленія, которое давно ославило себя крайностями и нецѣлостями, которое составляетъ истинную *боль* русскаго общества: г. Некрасовъ есть одинъ изъ писателей наиболѣе страдающихъ этою болью.

Н. Страховъ.

Вступаясь за Полонскаго по поводу критики произведеній послѣдняго, помѣщенной въ сентябрьской книжкѣ „Отеч. Запис.“ за 1869 г., Тургеневъ, между прочимъ, говоритъ:

*) „Что же касается до критика „Отечественныхъ Записокъ“, то ограничусь тѣмъ, что выражу одно мое убѣжденіе, надъ которымъ онъ, вѣроятно, вдоволь посмѣется. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что, въ его глазахъ, патронъ его, г. Некрасовъ, неизмѣримо выше Полонскаго, что даже странно сопоставлять эти два имени; а я убѣжденъ, что любители русской словесности будутъ еще перечитывать лучшія стихотворенія Полонскаго, когда самое имя г. Некрасова покроется забвеніемъ. Почему же это? А потому, что въ дѣлѣ поэзіи живуча только одна поэзія, и что съ бѣлыми нитками, всякими пряностями приправленныхъ, мучительно высиженныхъ измышленіяхъ „сюрѣальной“ музы г. Некрасова — ея-то, поэзіи-то, и нѣтъ на грошъ, какъ нѣтъ ея, напримѣръ, въ стихотвореніяхъ вѣрни уважаемаго и почитаемаго А. С. Хомякова, съ которымъ, смѣшу прибавить, г. Некрасовъ не имѣетъ ничего общаго“.

Н. Тургеневъ.

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1870 г., № 8.

*) Отъ колоссальныхъ политическихъ интересовъ мнѣ еще предстоитъ перейти къ маленькимъ интересамъ литературнымъ и указать въ сентябрьской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ на весьма выдающееся стихотвореніе г. Некрасова—„Дѣдушка“. Образъ „дѣдушки“ въ стихотвореніи задуманъ очень удачно и крайне симпатиченъ въ своей простотѣ. Разумѣется, пьеса, какъ это почти всегда бываетъ у г. Некрасова, вылилась не вполне и отчасти фальшива въ художественномъ отношеніи. Какъ на такую фальшь, можно указать, напримѣръ, на слѣдующее: въ пьесѣ возвращенный изъ Сибири декабристъ бесѣдуетъ со своимъ маленькимъ внукомъ, который съ дѣтскимъ любопытствомъ заинтересованъ таинственною прошлою судьбой дѣда. Скрывая отъ ребенка эту судьбу, на томъ основаніи, что ему еще рано узнавать о „великой были“, что эта быль еще недоступна для дѣтскаго пониманія, дѣдушка, однако, не стѣсняется повѣствовать младенцу о томъ, какъ въ старые годы помѣщики пользовались своими крѣпостными, разстраивая крестьянскія свадьбы и отбирая въ дѣвичью понравившихся имъ особъ прекраснаго пола, говорить о стоиѣ рабовъ, свистѣ бичей и т. п. Я знаю, что мнѣ могутъ возразить: такъ нельзя судить о художественномъ произведеніи; бесѣда дѣда съ внукомъ только художественный приѣмъ, и подобное *формальное* его толкованіе не можетъ имѣть мѣста. Отчего, однако жъ? Я допускаю какіе угодно „художественные приѣмы“, но только съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобъ ихъ внѣшняя форма не стояла въ явно фальшивомъ противорѣчій съ естественностью.

За всѣмъ тѣмъ, указавъ на недостатокъ пьесы г. Некрасова, все-таки слѣдуетъ признать ее во многихъ отношеніяхъ вполне прекрасною. Теплота чувства, простота и выразительность стиха порою такъ хороши, что напоминаютъ лучшія строфы поэта. Появился „Дѣдушка“ раньше, напримѣръ, въ концѣ пятидесятихъ годовъ, когда само названіе декабристъ считалось чѣмъ-то запрещеннымъ, это стихотвореніе произ-

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1870 г., № 277. Ст. Z. (В. Буренина).

вело бы огромный эффект и было бы, конечно, поставлено въ число перловъ поэзіи г. Некрасова. Теперь, послѣ того, какъ наши спеціальныя изданія историческихъ документовъ дали уже нѣсколько мемуаровъ дѣятелей 14-го декабря, послѣ того, какъ въ „Русскомъ Архивѣ“ даже начинаютъ обнаруживаться нѣкоторыя пререканія между этими дѣятелями (смотри замѣчанія г. Свистунова въ 8 и 9 выпуск.),— теперь, разумѣется, стихотвореніе утрачиваетъ большую долю впечатлѣнія. Его замѣтитъ и оцѣнитъ не масса публики, а лишь нѣсколько любителей поэзіи, которые, конечно, съ удовольствіемъ признаютъ, что талантъ г. Некрасова не угасаетъ, и муза его, хотя нѣсколько поздно, находитъ прекрасные поэтическіе мотивы и теплое чувство для ихъ выраженія.

В. Буренинъ.

I.

*) Бѣлинскій, прочитавши первые опыты стиховъ г. Некрасова, со свойственной ему истинной проницательностію, высказалъ объ нихъ такое мнѣніе: „Они проникнуты мыслию; это не стихи къ дѣву и дунѣ: въ нихъ много умнаго, *дѣльнаго* и современнаго“. Это мнѣніе Бѣлинскій высказалъ въ сорокъ шестомъ году, т.е. почти четверть столѣтія назадъ, когда все глубокомыслящее и неглубокомыслящее люди того времени только и желали видѣть въ поэзіи безсодержательность, облеченную въ „металлическій стихъ“, и когда собственно Некрасовскихъ стиховъ, вылицивающихъ ихъ автора изъ длиннаго ряда „увлекавшихъ талантомъ графовъ Толстыхъ, Фетовъ и просто Толстыхъ“, еще не появлялось на свѣтъ. Слово—„дѣльнаго“ отмѣчено самимъ Бѣлинскимъ. Великій критикъ сказалъ въ своей рецензіи о выступившемъ поэтѣ только двѣ строки, и этими двумя строками съ поразительной ясностью подмѣтилъ и очертилъ всю сущность его сильнаго таланта. Глубина и истинность такого приговора, высказаннаго мимоходомъ, небрежно,— удивительна! Несмотря на множество протекшихъ лѣтъ, они

*) „Новое Время“ 1870 г., № 164. Статья Ива (И. В. Андреева?).

съ рѣдкой точностью опредѣляютъ намъ образъ г. Некрасова, рисуя его всего, во весь ростъ, со всеми его высокими и исключительными достоинствами... Дѣйствительно, если, имѣя теперь въ своихъ рукахъ цѣлыхъ четыре тома неизвѣстныхъ критику произведеній нашего поэта, мы пожелаемъ бы въ настоящее время проникнуть въ глубину его думъ, сказавшаго о себѣ, что онъ призванъ

..... воспѣть твои страданья,
Терпѣнемъ изумляющій народъ!
И броситъ хотъ единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ..

и пожелаемъ бы вмѣстѣ съ этимъ опредѣлить ихъ характеръ и отличительныя свойства, то присутствіе мысли, обнаруженіе сильнаго ума, современности, въ особенности *дѣльности*, отмѣченная Бѣлинскимъ, ирежде всего кинулись бы намъ въ глаза... И въ самомъ дѣлѣ, г. Некрасовъ столько же поэтъ, сколько и мыслитель... Поэтъ — и мыслитель! Поэтъ — и объясняетъ народу пути его шествія!... Да съ чѣмъ же это сообразно? гдѣ видано? на что похоже? Гдѣ же божественное вдохновеніе? Гдѣ художественность, поэзія? Гдѣ эстетическія красоты, облагораживающія души смертныхъ людей и возвышающія ихъ надъ мірскою грубостію и порочностію?—Все прямо или косвенно отвергнуто г. Некрасовымъ: —эстетическія красоты имъ поруганы, божественное вдохновеніе опозорено, поэзія оставлена, какъ сусальное золото, только младенцамъ, страдающимъ пастѣдственной золотухой... Вотъ почему, имѣя все это въ виду, нельзя не сознаться, что произведенія г. Некрасова имѣютъ для насъ весьма важное и весьма глубокое значеніе и что на свидѣтельство ихъ можно особенно довѣрчиво положиться.

Въ настоящихъ статьяхъ я не намѣренъ разсматривать всѣхъ стиховъ г. Некрасова, заключающихся въ вышедшемъ въ прошломъ году четвертомъ томѣ... Я ограничусь только тремя, много пятью, ближе другихъ подходящими къ моему цѣли, и попытаюсь отнестись къ нимъ, какъ къ трудамъ мыслителя... Впрочемъ, позвольте,—произнесъ слово

„стиховъ“, „стихи“, а не *стихотворенія*, какъ бы слѣдовало по заведенному обычаю произносить, я считаю не лишнимъ оговориться. Я знаю, что такое съ моей стороны своеволье легче можетъ быть найдено очень многими выходящимъ изъ границъ приличія, почему иные читатели могутъ съ рѣшительнымъ негодованіемъ отвернуться отъ меня, какъ отъ заблудшей овцы, не признающей многого святого и неприкосновеннаго. Мнѣ, конечно, это было бы весьма обидно... Несмотря на это, однако, римованно переданныя мысли я все-таки считаю болѣе благоразумнымъ называть „стихами“, а не стихотвореніями, и именно, главнымъ образомъ, потому, что сомнѣваюсь въ существованіи творческой силы, въ существованіи безсознательнаго и священнаго творчества, этого небеснаго огня, снисходящаго на избранныхъ любимцевъ музъ. А само собою разумѣется, что если дѣйствительно нѣтъ этой священной творческой силы, то нѣтъ и творенія, нѣтъ и *стихотворенія*, а есть просто стихи, какъ есть просто и проза. Каждый поклонникъ подобнаго небеснаго огня очень хорошо знаетъ, что такой огонь снисходитъ въ извѣстныхъ, въ риторикѣ прописанныхъ, случаяхъ и на главу того, кто передаетъ свои мысли прозой, и что въ прозѣ, какъ поясняется въ тѣхъ же риторикахъ, можно передавать все то же, что передается въ стѣхахъ. Однако, зная это, даже самый строгій поклонникъ, повторяю, не осмѣлится назвать грубую прозу — „прозотвореніемъ“! И не говорю уже о настоящемъ времени: нѣтъ, но и въ прежнія времена, во времена господства эстетическихъ изліяній и восторговъ, когда выходили „Бѣдныя Лизы“, „Тарасъ Бульба“ и пр., даже и тогда никто не осмѣливался поступить такъ. Почему же слово „творенія“, а не писанія, не сочиненія являются монополіей однихъ поэтовъ? Почему какой-нибудь г. Н. Боевъ, выжимающій съ великимъ трудомъ свои пустые римованные куплеты, и тотъ называетъ ихъ стихотвореніями, и даже, вѣроятно, обидится, когда ихъ ему назовутъ просто стихами? Творческой силы въ подобныхъ безталанностяхъ, конечно, нѣтъ никакой, какъ нѣтъ ея въ сочиняемыхъ казенныхъ объявленіяхъ, и пр. За что же первыя произведенія считаются все-таки *твореніями*, а

вторья нѣтъ? Ужасная несправедливость!.. Къ произведеніямъ же г. Некрасова слово „стиготворенія“ относится еще меньше, чѣмъ къ другому. Онъ не поэтъ, если понимать это слово такъ, какъ понимаютъ его словесники. Его каждый стихъ — есть очень умная статья; онъ просто писатель. Еще можно допустить, что г. Боевъ способенъ иногда что-нибудь сотворить, при чемъ творческая безсознательность способна въ такія минуты его одушевить съ головы до ногъ; но допустить то же самое въ г. Некрасовѣ или даже въ гг. Курочкинѣ и Минаевѣ — есть грубое заблужденіе. Эти люди не творятъ, а думаютъ, соображаютъ и пишутъ. Поэтъ прежняго времени, найдя, напр., въ какой-нибудь завалявшейся у себя книжонкѣ забытый неизвѣстно чьей рукой цвѣтокъ, сейчасъ же садился за столъ, клалъ этотъ несчастный цвѣтокъ передъ собой и начиналъ его допрашивать: чей онъ? откуда? кѣмъ положенъ? и пр. На первомъ планѣ у него тутъ, конечно, начинала рисоваться неземная барышня, съ волнистою грудью, прелесть созданія, она, луна и пр. Творческая сила послѣ этого на поэта нисходила необузданная, онъ впадалъ въ безсознательное состояніе и, не отдавая себѣ никакого отчета въ томъ: дѣло онъ дѣлаетъ или нѣтъ (это значить осязаясь вдохновеніемъ) — писать, писать съ увлеченіемъ, съ жаромъ, ни о чемъ не думая, ничего не имѣя въ виду, ни съ чемъ не согласуясь, ни къ чему не стремясь. Изъ *ничего* такимъ образомъ получалось *нѣчто*, за что, мимоходомъ не излишне замѣнить, платились ему червонцы. Тутъ было твореніе... Въ настоящее время писателю-поэту не приходится этого дѣлать. Забытый кѣмъ-нибудь въ его книгѣ цвѣтокъ теперь уже если и привлечетъ его вниманіе, то развѣ только затѣмъ, чтобы выкинуть его вонъ. Теперь для поэта существуютъ другія условія, другія темы, обязательно требующія съ его стороны основательныхъ размышленій, глубокаго анализа и широкихъ знаній. Теперь ему приходится думать, соображать и „бросать хоть единый лучъ сознанія на путь“, по которому намъ приходится двигаться. Принципъ пользы, универсальный и всемогущій принципъ пользы, теперь долженъ руководить имъ ежеминутно, неотступно, слѣдуя по пятамъ его мышленія, какъ

тънь, какъ самый строгій, самый зоркій педагогъ; тамъ же, гдѣ есть размышленіе и анализъ, тамъ уже не можетъ быть безсознательнаго творчества. Эти психическія состоянія взаимно уничтожаютъ одинъ другого. Сознательность и безсознательность есть понятія діаметрально-противоположныя, и рѣшительно исключаютъ другъ друга. Г. Некрасовъ вполне удовлетворяетъ упомянутымъ реальнымъ требованіямъ времени. Поэтому, я еще разъ повторяю, слово „стихотворенія“ приложимо къ его произведеніямъ меньше, чѣмъ къ кому-либо; оно вовсе не вяжется съ ними, не вяжется настолько, насколько не вязалось бы слово „ученотворенія“, поставленное на сочиненіяхъ Спенсера или Милля, или „прозотворенія“, поставленное на сочиненіяхъ Тургенева, Гончарова. Оно даже кажется оскорбительно для трудовъ г. Некрасова: по крайней мѣрѣ, мнѣ всегда какъ-то странно его видѣть выставленнымъ на его книгахъ... Пора бы реальному мышленію относиться съ меньшею суровостью къ стѣсняющимъ его традиціоннымъ формамъ, какихъ бы маловажныхъ размѣровъ ни были эти формы, и пора бы ему выкидать вонъ изъ употребленія множество устарѣлыхъ словъ, только затемняющихъ понятія и сбивающихъ людей съ толку.

Итакъ, намѣреваясь побесѣдовать съ читателями по поводу стиховъ г. Некрасова, я ограничусь въ своихъ статьяхъ только нѣкоторыми изъ нихъ, именно: „Публикой“, „Газетной“, „Пропала книга“, „Судомъ“ и „Осторожностью“, составляющими совершенно особый элементъ, особенную тему въ его сочиненіяхъ. Тема эта вызвана нашей прессой и ея измѣнившимся положеніемъ: она вполне закончена и представляетъ много интереса какъ для журналистики, такъ и для общества. Слѣдовательно, какъ читатель и догадывается, я буду имѣть, главнымъ образомъ, дѣло съ его „пѣснями о свободномъ словѣ“. Хорошо, посмотримъ же, что это за пѣсни, какимъ матеріаломъ онѣ могутъ служить намъ и на какія размышленія могутъ наводить публику. Въ виду постоянно ходящихъ грозныхъ слуховъ о совершающемся у насъ пересмотрѣ дѣйствующаго нынѣ устава о печати, мы думаемъ, что такія размышленія будутъ особенно не лишни.

II.

Но вотъ свобода слова
Негаданно пришла,
Не такъ ужъ безтолково
Теперь пойдутъ дѣла.

II. Некрасовъ.

Характеристическимъ отпечаткомъ человѣчества служить его стремленіе къ истинѣ. Это стремленіе играетъ въ его судьбѣ роль неизсякаемаго источника, освѣщающаго его историческое шествіе, его вѣковое существованіе. Безъ этого плодотворнаго источника невозможно себѣ представить, въ какомъ скотскомъ, идіотическомъ состояніи пресмыкались бы люди. Ихъ исторія была бы тогда самая печальная и самая жалкая исторія.

Стремленіе къ истинѣ, а черезъ нее — къ измѣненію вѣшнихъ условій жизни, мнѣній, привычекъ, знаній, — къ устраненію непріятностей и достиженію довольства, является въ людяхъ настолько преобладающимъ и настолько повсемѣстнымъ, что мы не знаемъ ни одного человѣка, ни одного народа, которые прямо или косвенно не направляли бы къ достиженію всего этого своихъ умственныхъ и физическихъ усилій. Каждый человѣкъ желаетъ приблизиться къ истинѣ, желаетъ имѣть истинныя мнѣнія, понятія, знанія, желаетъ этого если не открыто, то тайно, если не активнымъ желаніемъ, то пассивнымъ, если не мытемъ, то катаньемъ. Объясненіе этого явленія лежитъ въ раціональной способности человѣческаго ума. Этотъ умъ такъ устроенъ и ему присуще такое безцѣльное свойство, обладая которымъ, онъ имѣетъ способность замѣтить свои ошибки и потомъ исправлять ихъ, основываясь на опытѣ и руководясь критикой. Опытъ и критика есть единственныя орудія прогресса, безъ которыхъ немислимо никакое развитіе, никакой успѣхъ, ничего, кромѣ застоя и мертвенности.

Постоянныя стремленія людей къ истинѣ — съ одной стороны, и не ослабляющаяся способность людского ума исправлять свои ошибки черезъ опытъ и критику — съ другой стороны, имѣли своимъ послѣдствіемъ то, что мнѣнія и понятія мѣнялись. Считавшіяся истинными въ одно время опровергались и разрушались въ другое; считавшіяся ве-

лихими и многоцѣнными однимъ поколѣніемъ, отвергались и забывались послѣдующими. Лѣтописи прошитой человѣческой жизни поясняютъ намъ, что каждый вѣкъ имѣлъ свои истины, за абсолютную справедливость которыхъ каждый вѣкъ въ лицѣ своихъ болѣе лучшихъ представителей, готовъ былъ идти на костеръ и отдаваться самымъ страшнымъ мученіямъ. Стоитъ припомнить громадность такихъ историческихъ случаевъ, существующихъ на свѣтѣ, вмѣстѣ съ первымъ постиженіемъ человѣкомъ истины и до нашихъ дней, чтобы прійти отъ нихъ въ изумленіе и убѣдиться въ подвижности и измѣняемости не только уметвенныхъ, но и многихъ изъ нравственныхъ истинъ, обыкновенно считающихся неподвижными и неизмѣняющимися... Какъ же измѣнялись эти истины? При какихъ условіяхъ и при какихъ обстоятельствахъ совершалось въ исторіи паденіе однихъ и возникновеніе на ихъ развалинахъ другихъ, снова, въ свою очередь, смѣнявшихся третьими? Въ чемъ именно должно видѣть единственный путь къ открытію истины?—На рѣшеніи этого вопроса, весьма важнаго для моей цѣли, я пока и останавливаю вниманіе благосклоннаго читателя.

Если все мы, вслѣдствіе ли экономическихъ соображеній, грубаго расчета выгодъ, или вслѣдствіе другихъ, болѣе деликатныхъ соображеній, стремимся къ истинѣ, къ истиннымъ знаніямъ, мнѣніямъ, правиламъ поведенія,—а что мы все къ этому стремимся и все этого желаемъ, то противъ дѣйствительности и справедливости такого мнѣнія не можетъ быть представлено никакихъ возраженій даже самыми опытыми обскурантами,—смѣлая недобросовѣстность врядъ ли можетъ дойти до такого нахальства, чтобы прямо и открыто рѣшиться утверждать, что человѣчество не хочетъ истины и вовсе не желаетъ достигать ни болѣе истинныхъ мнѣній, ни болѣе истинныхъ понятій!—Если все мы, говорю еще разъ, стремимся къ истинѣ и желаемъ ее знать, то знаніе условій, путей, при которыхъ только и могутъ быть осуществимы наши желанія, — знаніе такихъ путей, открывающихъ истины, представляется для насъ самымъ существеннымъ и самымъ желательнымъ вопросомъ. Зная правильное разрѣшеніе этого вопроса, мы этимъ только

однимъ дѣлаемъ уже половину дѣла, потому что избавляемъ себя отъ безплодной необходимости бродить съ завязанными глазами по пустыннымъ полямъ невѣдѣнія и не рискуемъ, вмѣсто обрѣтенія истины, расшибить себѣ черепъ объ первое поставленное препятствіе. Люди зрячіе имѣютъ полныя шансы прямымъ путемъ достигать спасительнаго острова,—путемъ, составляющимъ предметъ искренней зависти людей слѣпыхъ.

Когда человѣку желательно поступить такъ, чтобы его поступокъ могъ служить образцовымъ правиломъ для другихъ, или когда ему желательно вообще поступить безукоризненно справедливо, онъ начинаетъ обыкновенно размышлять. Кажется, тутъ нѣтъ ничего неестественнаго?—онъ представляетъ себѣ вопросъ, сосредоточившій его вниманіе, открытымъ, самъ дѣлаетъ на него возраженія, самъ опровергаетъ эти возраженія, и продолжаетъ заниматься такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока запасъ аргументовъ, имѣвшихся въ его умственномъ арсеналѣ, окончательно не истощится, и пока послѣднее слово не останется за тѣмъ или другимъ изъ передуманныхъ имъ мнѣній. Тогда мучительныя сомнѣнія окончены, и человѣкъ поступаетъ именно такъ, какъ указываетъ ему строгій разумъ. Поступая же въ подобномъ случаѣ известнымъ образомъ, онъ остается совершенно спокоенъ относительно правильности и безпристрастности своего дѣйствія, ибо сознаетъ, что имъ было сдѣлаво все, что только можно было сдѣлать для полученія истиннаго правила поведенія. Точно такъ же поступаютъ и тѣ, кто, по малоумію, въ дѣлахъ, лично касающихся ихъ самихъ, обращается за совѣтомъ къ другимъ, и тѣ, кто, по добросовѣстности, въ дѣлахъ непосредственно касающихся постороннихъ лицъ, обращается за выслушаніемъ мнѣній къ этимъ постороннимъ лицамъ. Всюду, слѣдовательно, преобладающей чертой рельефно обваруживается такая черта, по которой для полученія истиннаго руководящаго начала, истиннаго мнѣнія по открывшемуся обстоятельству, первоначально требуется его всестороннее обсужденіе, независимая критика, такое обсужденіе и такая критика, которыя не оставили бы въ разсматриваемомъ обстоятельствѣ ни одной

мельчайшей частицы, не представивъ противъ нея все, что только можетъ представить къ обвиненію самый „грозный прокуроръ“, разумеется, ничего не искажающій и ничего не утаивающій. Положенные на всѣхъ безпристрастія доводы прямо и просто покажутъ тогда каждому, что именно при такомъ условіи должно быть принято и что должно быть за негодностью отвергнуто. Справедливость тогда удовлетворена и истина открыта...

Такимъ образомъ, всесторонность обсужденія, полная свобода, добросовѣстность и неустранимость требуются отъ каждого человѣка, если онъ вознамѣривается достигнуть правильнаго пониманія своихъ поступковъ и если въ особен-ности ему желательно, чтобы принципы, управляющіе его дѣйствіями, отличались бы истинностью. Условія не очень тяжелыя и, кажется, для каждого сподручныя... Въ самомъ дѣлѣ, какъ можете вы убѣдиться въ истинности извѣстнаго мнѣнія, не выслушавъ внимательно все, что только можетъ быть представлено человѣческимъ умомъ, имѣющимъ полнѣйшую основательность считается современнымъ, — представлено въ защиту и противъ этого мнѣнія? Какъ можете вы быть увѣрены, что ваше сужденіе, хотя бы о весьма маловажномъ предметѣ, — истина, если оно не подверглось самому строгому инспекторскому осмотру, и если этотъ инспекторскій осмотръ не остался имъ доволенъ? Вгляди-тесь въ себя внимательно и скажите: когда именно убѣ-жденія, которыя вы имѣли случай сами вырастить, заслужи-ваютъ въ вашихъ глазахъ полной увѣренности и не заставляютъ васъ болѣе сомнѣваться относительно своихъ достоинствъ? Тогда, когда окружающіе васъ люди, возставая противъ нихъ, истощили къ ихъ опроверженію все свои возраженія, когда убѣжденія все-таки остались непоколе-бимы, и когда, оставаясь такими, держатся вами открыто, гласно, предлагаясь всеѣмъ желающимъ ежеминутно снова опровергать ихъ, т.-е. именно тогда, когда они охраняются не бдительными, стойкими драконами, а своей внутренней, этимъ убѣжденіямъ присущей силой. Тогда вы торжествуете; вашимъ радостямъ и наслажденіямъ нѣтъ конца. Вы до-вольны, спокойны, счастливы. Вы очень хорошо видите, что

вы поступили самымъ разумнымъ образомъ, что не оставили безъ вниманія ни одного мнѣнія, терпѣливо выслушали даже нелѣпнѣйшія изъ нихъ, еще съ большимъ терпѣніемъ представили противъ высказанныхъ нелѣпостей свои объясненія, инквизиторски не закрывали ушей, когда вамъ говорили дѣло — и, несмотря на это, истинность вашихъ мнѣній осталась все-таки не разрушенной и не поколебавшейся. Держа ихъ для всѣхъ открытыми, а не въ тайнѣ, не подъ запрещеніемъ критикѣ касаться ихъ, вы предлагали каждому желающему ихъ опровергать; но желающихъ больше не явилось, опроверженій больше не представилось, — и вотъ ваши мнѣнія, возможно испытанныя и никѣмъ больше не задерживаемыя, какъ непременно истинныя, разлетаются по всему свѣту. Теперь они дѣйствительно будутъ всѣмъ признаны за истинныя... Подобное торжество и наслажденіе испытываетъ, напр., въ настоящую минуту „почтенный старецъ“ Дарвинъ, благополучно управившійся съ господами Келликерами и имъ подобными. Онъ теперь съ гордостью видитъ, какъ противъ его убѣжденій оказались безсильны все іезуитскія ухищренія противниковъ, и какъ выношенная имъ теорія, разрушая старыя основанія науки, оказалась побѣдительницею и величественно разносится по всѣмъ образованнымъ странамъ міра... Отсюда, слѣдовательно, весьма явственно вытекаетъ тотъ немудреный выводъ, что непоколебимымъ, неизблемымъ ручательствомъ истинности извѣстнаго ученія или теоріи служить не авторитетъ, не ихъ многовѣчность, не вѣра въ нихъ громаднаго большинства (а сколько у насъ такихъ „истинъ“, о которыхъ ничего нельзя говорить и которыхъ требуютъ считать за истины!), а то обстоятельство, что эти теоріи, находясь въ глазахъ всѣхъ людей открытыми для гласнаго, всесторонняго и свободнаго обсужденія, не встрѣчаютъ больше противъ себя никакихъ возраженій. Вотъ фундаментъ истины и увѣренности въ ней для каждаго. Безъ этого фундамента не можетъ быть ни того, ни другого. Безъ него мнѣніе, признающееся за истинное, есть мертвая буква, неразумная увѣренность слѣпое и безотчетное поклоненіе. Возьмите какую угодно изъ дѣйствительныхъ истинъ — только возьмите изъ „дѣйствитель-

ныхъ“, имѣющихъ подѣ собою указанный фундаментъ и защищающихъ себя не съ помощью насилія, а своей внутренней силой, возьмите хоть вращеніе земли, тяготѣніе тѣлъ, въ которыя вы вѣрите... Взяли?— Прекрасно. Рѣшите же теперь, что служить для васъ непоколебимымъ ручательствомъ истинности этихъ великихъ законовъ. То ли вы видите тутъ, что и относительно другихъ истинъ, о которыхъ вамъ говорятъ, что онѣ потому истинны, что „освящены вѣками“, и поэтому относительно ихъ не можетъ быть допущена никакая свободная критика! Но могутъ ли, при подобномъ условіи, онѣ быть приняты за непреложныя, не вызывающія сомнѣнія истинны?.. При какихъ же обстоятельствахъ люди могутъ принять извѣстное мнѣніе за истинное? Въ чемъ, именно слѣдуетъ видѣть единственный путь къ открытію истины и что именно должно служить твердымъ ручательствомъ ихъ дѣйствительности?.. Подумайте объ этомъ хорошенько и отвѣтите себѣ, благосклонный читатель.

III.

Дыбомъ становится волосъ.

Чѣмъ наводилась печать!..

Н. Некрасовъ.

*) „Понятно, понятно!“ говоритъ мнѣ читатель, въ которомъ, однако, нелѣгко угадать читателя неблагосклоннаго.—Вы стараетесь доказать, что нѣтъ такихъ истинъ, которыя сами, безъ объясненій и обсужденій, непосредственно, убѣждали бы людей въ своей непогрѣшимости. Вы думаете, что каждое мнѣніе непременно требуетъ провѣрки, строгаго анализа и свободной критики... Вы внушаете, что такому только мнѣнію и можно оказывать довѣріе, которое имѣло всѣ средства быть истиннымъ, черезъ обсужденіе его со всевозможныхъ точекъ зрѣнія, черезъ выслушиваніе всевозможныхъ возраженій, черезъ самое безпристрастное сравненіе, сопоставленіе и пр. Вы, слѣдовательно, только въ этомъ видите единственный путь къ открытію истины, единственное ручательство истинности? Понятно!.. Но вы заблуждаетесь, отвѣчаютъ мнѣ, глубоко заблуждаетесь! Въдѣ

*) „Новое Время“ 1870 г., № 165.

это может распространить ужасныя послѣдствія. Въдь это может повести за собой то, что...

Дыбомъ становится волосъ,
Чѣмъ наводнилась печать,—
Даже умѣренный „Голосъ“
Станетъ не въ мѣру кричать!

И сиѣшу перебить такого читателя, докладывая ему, что у насъ давно уже и свободное слово и многое другое допущены самимъ правительствомъ, слѣдовательно, объ этомъ говорить много нечего. Въ подтвержденіе же дѣйствительности этого событія, я даже сошлюсь ему, для большей убѣдительности, на приводимаго г. Некрасовымъ разсылнаго, дѣдушку Миная, тридцать лѣтъ добывающаго себѣ хлѣбъ литературнымъ трудомъ и досконально знакомаго со всѣми вопросами, касающимися отечественной прессы. Онъ торжественно объясняетъ:

— „Баста ходить по цензурѣ!
Ослобонилась печать,
Авторы наши въ натурѣ
Стали статейки пущать.
Къ нимъ да къ редактору нынѣ
Только и носимъ статьи...
Словно повиселись въ чинѣ,
Ожили дѣтки мои!“

(„Разсмысли.“),

Слѣдовательно, не подлежитъ сомнѣнію, что у насъ въ настоящее время существуетъ свобода слова, а вмѣстѣ съ этимъ и всѣ требующіяся основанія для свободной критики... Во всякомъ случаѣ, какъ бы то ни было, но тотъ фактъ, который характеризуетъ отношеніе публики къ этому новому еще у насъ явленію, освобождающему мысль изъ-подъ сковавающей ее опеки, разрушающему общественныя традиціи и ведущему народъ къ свѣту, — этотъ фактъ заслуживаетъ большого вниманія. Несмотря на всю очевидную необходимость и пользу независимаго слова и независимой критики, эта публика относится, однако, къ нимъ крайне враждебно. Она видитъ въ нихъ самаго злѣйшаго врага своимъ вѣрованіямъ, нравамъ и всему тому, что ее кормить и поить, и

что боится вызвать о себѣ сужденія... Конечно, тутъ предполагается только *известная* публика, никакъ не все общество, всегда высоко цѣнящее свободу слова, именно—та публика, члены которой „другого закона“, кромѣ дендизма въ жизни, не знаютъ, которые живутъ людьми хорошаго тона и умирать ими желаютъ, которые поздно привыкли ложиться, поздно привыкли вставать, кушать кофе, помадиться, бриться, ногти точить и усы завивать; часъ или два передъ тонкимъ обѣдомъ „Невскій проспектъ шлифовать“, изъ которыхъ болѣе лучшіе—

Систему полумѣръ принявъ за идеаль.

Или прогрессистъ или консерваторъ,

Добро ты портилъ, ала не улучшалъ,

Но честный былъ администраторъ...

(„Медвѣжья охота“).

Всѣ эти высокіе господа, когда говорятъ имъ о свободной литературѣ, о свободѣ мнѣній, требуемыхъ и разумомъ и общимъ благосостояніемъ, возстаютъ противъ нихъ со всею энергіею честолюбивыхъ душъ. Дозволятъ каждому высказывать безъ стѣсненія свой образъ мыслей, свободно представлять возраженія и доказательства противъ истинъ и порядковъ, хотя бы освященныхъ и опробованныхъ вѣками, это значитъ, по ихъ убѣжденію, прямо смущать неопытные умы, потрясать всѣ священные основы въ самомъ ихъ основаніи! Это значитъ допускать, чтобы братъ поднималъ руку на брата, сынъ на отца, чтобы всѣхъ обухало самое дикое невѣріе и чтобы во всемъ воцарилась самая ужасная анархія!... Но такъ ли это? Не вызываются ли подобныя сужденія другими мотивами, менѣе умозрительными, отвѣченными и болѣе наглядными?

Въ стихѣ „Публика“ г. Некрасовъ мастерски представилъ намъ именно этихъ людей своеобразнаго образа мыслей, ихъ *credo*—самое жалкое и самое убогое: объ немъ не дозволяется свое сужденіе имѣть не почему другому, какъ только потому, что его поклонники не желаютъ утратить— „кровныя лошади.. поваръ французъ, и, Гоже! какіе давать обѣды: роскошь, изящество, вкусъ!“—Это *credo*, какъ не труд-

но догадаться, и заставляет ихъ съ такимъ ожесточеніемъ накидываться на независимую свободу мнѣній... Вотъ сін отчаянные вопли разстронившихся обѣдовъ съ роскошью, изяществомъ, вкусомъ, глубоко захвачены и воспроизведены съ достовѣрностью и точностью лѣтописца г. Некрасовымъ. Онъ передаетъ это „бѣшеное завываніе волковъ, у которыхъ выпали зубы“, ихъ собственными словами, не могущими не возбуждать чувства нерасположенія и злости. Вотъ они:

Боже, пошли намъ терпѣнье!..
Или цензура воспрявь!
Всюду одно осужденіе,
Всюду нахальная брань!
Въ цивилизованномъ классѣ
Будто растленіе одно,
Бѣдность безмѣрная въ массѣ
(Гдѣ же берутъ ва вино?).
Въ каждомъ найдется старанье,
Въ каждомъ продажная честь.
Только подъ шубой бараньей
Сердце хорошее есть!..

Нынче журналы читая,
Просто не вѣришь глазамъ.
Слышали — новость какая?
Мы же должны мужикамъ!..

Слышали? Все лишь подобье,
Все у насъ маска и ложь..
Глупость, развратъ, уколобье...

Мало, что въ сферѣ публичной
Трогаютъ всякій предметъ,
Жизни касаются личной!
Просто спасенія нѣтъ!
Если за добрымъ обѣдомъ
Выпилъ ты лишній бокалъ
И, поругавшись съ сосѣдомъ,
Громкое слово сказалъ,
Не говорю ужъ—подрался
(Рѣдко другъ друга мы бьемъ),
Хоть бы ты тутъ же обнялся
Съ этимъ случайнымъ врагомъ—
Завтра жъ въ газетахъ напшутъ!
Господи! что за скоты!..

Просто не стало свободы,
Чести нелзя защитить...
Эхъ, эти новыя моды!

Прежде лишь мелкій чиновникъ
Быть твоей жертвой, печать,
Если жъ военный чиновникъ—
Стоя! ни полслова! молчать!
Но отъ чиновниковъ быстро
Дѣло дошло до тузовъ,
Даже коснулся министра
Неустрашимый Катковъ!.

Къ той же категоріи особъ слѣдуетъ причислить и героя другого стиха г. Некрасова — „Газетная“, о которомъ я буду подробно говорить въ одной изъ слѣдующихъ главъ. Его разсужденіе также заслуживаетъ вниманія, ибо оно, по глубинѣ анализа, весьма поучительно и весьма достоверно характеризуетъ озлобленіе противъ свободы мнѣній человѣка, весь свой вѣкъ кормившагося несвободой и стѣсненіемъ этихъ мнѣній. Этотъ отставной цензоръ восклицаетъ:

Ужасаюсь, читая журналы!
Гдѣ я? гдѣ? Цѣпенѣть мой умъ!
Что ни строчка,—скандалы, скандалы!
Вотъ взгляните—мой собственный кумъ
Обличенъ! Моралистъ-проповѣдникъ,—
Цыцы! умолкни журнальная тварь!..
Онъ дѣйствительный статскій совѣтникъ.
Этотъ чинъ даровалъ ему Царь!
Мало имъ, что они Маколей
И Гизота въ печать провели,
Кровопійцу Прудона, злодѣя
Тьера выше небесъ вознесли,
Къ украшенью имперіи смѣютъ
Прикасаться нечистой рукой!
Будетъ время—пожгутъ, что посѣютъ!—
(Старецъ грозно качнулъ головой).
— А свобода, а земство, а гласность!
(Крикнулъ онъ и очки уронилъ):
Вотъ гдѣ бѣдствіе, вотъ гдѣ опасность
Государству...

(„Газетная“).

Все пошатнулось... О, иди ты
Время безъ бурь и тревогъ?..
Въ Бога не вѣрятъ газеты,
И отрицаютъ поэты
Пользу желѣзныхъ дорогъ!
Дыбомъ становитея волось,
Чѣмъ наводнилась печать!

(„Публика“).

Однако, я думаю, будетъ не лишнимъ нѣсколько прі-
остановиться и посмотреть, что это за время безъ бурь и
тревогъ, дающее, какъ видно, прочныя основанія для людей
своеобразнаго образа мыслей изливать имъ свои недобро-
желательныя разсужденія. Можетъ быть, это было хорошее
и счастливое время, о которомъ нельзя не сожалѣть и къ
которому нельзя не стремиться. Можетъ быть, тогда доволь-
ство было такъ всеобще, такъ глубоко и полно, что исклю-
чало всякіе поводы для бурь и тревогъ. Но—увы!.. Время
это, съ достаточною отчетливостію воспроизведенное въ
прежнихъ произведеніяхъ г. Некрасова, имѣетъ ключъ къ
своему пониманію и въ разсматриваемомъ нами IV томѣ. Я
ограничусь только нѣкоторыми данными изъ одного этого
тома. Это время безъ бурь и тревогъ было вотъ какое
время:

... писать не время было:
Почти что ничего тогда не проходило!
Бывали случаи: весь вѣкъ
Считался умнымъ человѣкъ,
А въ книгѣ глупымъ очутился:
Пропасть и умъ, и слогъ, и жаръ,
Какъ будто съ умнымъ приключился
Аполексическій ударъ!..

Когда одни житейскія условія
Сближали насъ, а попросту расчесть,
И лишь въ одномъ сближались всѣ сословья,
Что дружно налегали на народъ.

—
Не думая о томъ, что будетъ далѣ,
Мы всѣ тогда жирѣли,
Всѣ, разумѣется, кромѣ крестьянъ.

—

. . . давно не очень
Жизнь на Руси груба была
И, какъ подъ музыку, текла
Подъ градъ ругательствъ и пощечинъ...

—
Великій вѣкъ—великихъ мѣръ!
„Не разсуждать—повиноваться!“
Девизъ былъ общій...

Когда въ отвѣтъ стenanіямъ народа,
Мысль русская ставала въ полу-тонъ.

(Изъ „Медвѣжьей охоты“).

Но довольно... Это время безъ бурь и тревогъ мы теперь знаемъ: оно извѣстно всѣмъ. Оно и теперь еще живо въ русской памяти и не нуждается ни въ какихъ комментаріяхъ. Достаточно произнести одно слово, чтобы это время мрачной картиной воздвиглось передъ каждымъ... Такъ вотъ чего вы желаете! вотъ изъ какого золотого источника выходятъ ваши отрицанія свободы мысли, ваши опасенія и ваши своекорыстныя мѣропріятія! Вотъ почему вы считаете вредной независимую критику, и не желаете допустить свободы мнѣній. Вамъ не нужны дѣйствительныя истины...

Такимъ образомъ, выходя изъ такого нечистаго источника, прикрываясь тѣмъ или другимъ знаменемъ, особаго закала публики полагаетъ, что свободное выраженіе мнѣній, свободное обсужденіе всѣхъ вопросовъ и всѣхъ степеней важности можетъ повести за собой не добро, а зло, не благо, всегда и вездѣ зависящее отъ количества изслѣдованныхъ и открыто содержимыхъ мнѣній, находящихся въ пользованіи страны, а обратно: повести повальное нравственное и умственное разложеніе. Свои мнѣнія и вѣрованія этого рода публика считаетъ такимъ образомъ абсолютно-правильными, неприкосновенными и священными. А считая ихъ съ видимою самоувѣренностью такими, они даже утверждаютъ, что допустить ихъ изученіе и свободное выраженіе объ нихъ сужденій—рѣшительно нельзя, ибо сейчасъ же явятся ложные пророки, ложныя толкованія, посягнутся сѣмена сомнѣнія, смущенія, и всѣ мирные граждане, въ самое непродолжительное время, обратятся съ путей добродѣтели... Следовательно, для того, чтобы разрѣшить—на чьей сторонѣ, въ

настоящемъ случаѣ, скрывается справедливость, намъ нужно рѣшить слѣдующіе вопросы. Во-первыхъ: если общепринятія мнѣнія и именно тѣ мнѣнія, которыя отстаиваетъ эта публика, дѣйствительно истинныя, то свободное обсужденіе ихъ, т.-е. обсужденіе уже ложное, неосновательное, ведетъ ли всегда за собой разрушительныя для общества результаты, ведетъ ли къ певѣрію, къ анархіи, или, какъ утверждаемъ мы,—напротивъ, оно благотворно. Потомъ второй вопросъ, обратный: если общепринятія общественныя мнѣнія ложныя, и свободно обсуждающія ихъ—истинныя, то тогда что... Мы остановимся предварительно на первомъ положеніи. Слѣдовательно, намъ нужно будетъ допустить, что все наши общепринятія мнѣнія, считающіяся большинствомъ за истинныя—дѣйствительно истинныя... Хорошо, мы и допускаемъ.

IV.

Исторія намъ свидѣлствуетъ, что люди очень часто самообольщались открытыми имъ истинами. Какъ ни прискорбно такое явленіе, но оно находитъ себѣ мѣсто во все времена, ибо, какъ оказывается, всегда отыскивались личности, которымъ подобныя самообольщенія приносили прямыя или косвенныя выгоды. Достигая только до относительной истинности извѣстнаго мнѣнія, теоріи или доктрины, они начинали утверждать, что постигли ихъ абсолютно, на все времена, непогрѣшимо... Возмутительное явленіе! Стыдъ и позоръ кладетъ оно на лица людей, считающихъ себя разумными и мыслящими существами!

Мы можемъ наслаждаться, гордиться найденными нами истинами, — держа ихъ все-таки для обсужденія постоянно открытыми, если только не желаемъ умышленно натуловать себя ихъ правильною; но сладко и самоувѣренно дремать съ ними, воспрещая безпристрастной и свободной критикѣ касаться ихъ,—недостойно мыслящаго существа. Честный и мыслящій человекъ можетъ въ подобномъ случаѣ говорить только одно: я обладаю истиною..., пока противное не будетъ доказано. Своекорыстное несоблюденіе этого ра-

*) „Новое Время“ 1870 г., № 169.

зумаго правила породило официальные истины. Отсюда же вытекла ложная и пошлая увѣренность людей въ непогрѣшимости своихъ сужденій, расплодившихъ нетерпимость и гоненія. Событія доказываютъ, что человѣческія мнѣнія, по мѣрѣ развитія знаній, измѣняются,—и съ этимъ согласны всѣ. И, несмотря на это, относительно нѣкоторыхъ, болѣе важныхъ мнѣній, все-таки люди утверждаютъ, что они всевѣчны! Есть ли тутъ логическая послѣдовательность? Но не допускать высказывать сужденія противъ мнѣній, хотя бы истинныхъ и самыхъ цѣнныхъ (явятся или не явятся желающіе принять на себя такой трудъ—это для насъ въ данномъ случаѣ совершенно различно), не допускать высказывать сужденія только потому, что намъ кажется ихъ истинность завершеною, это значитъ признавать себя непогрѣшимѣйшими судьями въ самыхъ труднѣйшихъ вопросахъ. Это значитъ признавать свои убѣжденія безусловно правильными, и убѣжденія всѣхъ другихъ людей—безусловно ложными. Но можетъ ли здравый человѣческій разумъ дойти до такой дерзкой смѣлости? Разумѣется, нѣтъ. Каждый мыслящій человѣкъ, который имѣлъ бы уже болѣе основаній утверждать противное, непременно возстанетъ противъ такого шарлатанства невѣжъ. И чѣмъ онъ будетъ болѣе убѣжденъ, чѣмъ, слѣдовательно, будетъ, повидимому, имѣть болѣе основаній утверждать противное, тѣмъ онъ и возстанетъ энергичнѣе. Для примѣра я возьму самый наглядный примѣръ. Я пишу настоящую статью стальнымъ перомъ, ручка котораго выточена изъ дерева. Въ томъ, что эта ручка дѣйствительно выточена изъ дерева и что она деревянная—въ истинности этого „мнѣнія“ я убѣжденъ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ истинности всѣхъ отвлеченныхъ доктринъ, которыя я, однаю, считаю за истинныя и въ которыя вѣрю. Я убѣжденъ въ истинности этого мнѣнія до такой степени живой увѣренности, до какой, смѣю думать, самъ Филиппъ II не былъ убѣжденъ въ истинности своей святой католической вѣры. Я объявляю всѣмъ, что ручка, которою я пишу, дѣйствительно деревянная... Но вотъ ко мнѣ подходятъ люди и также объявляютъ, что они имѣютъ нѣкоторые основанія предполагать, что ручка, о которой я

съ такою увѣренностью говорю, есть не деревянная!!! Какъ я откажусь отъ выслушанія ихъ мнѣнія (воспрещу ли имъ говорить его, или только не пожелаю его слушать—это все равно)... Какъ я заранѣе, не зная ихъ доводовъ, окрещу такихъ людей именемъ лицецовъ и еретиковъ? Напротивъ, я съ полнѣйшею радостью стану внимать ихъ возраженіямъ. Я даже самъ отправлюсь отыскивать такихъ людей, если только узнаю навѣрное, что такіе господа дѣйствительно существуютъ и докажутъ мнѣ мое заблужденіе. Я отдамъ имъ за это свое разубѣжденіе все, что имѣю, даже сниму послѣдній крестъ съ себя... Такъ сильно увѣренъ я въ истинности этого мнѣнія и такъ горячо я желалъ бы, чтобы даже и въ такомъ случаѣ мнѣ было доказано мое заблужденіе! И такимъ образомъ непремѣнно поступить каждый со своими истинами, если только онъ не захочетъ себя недобросовѣстно обманывать. Тутъ является полнѣйшее желаніе слышать убѣжденіе противное нашему, имѣющее смѣлость говорить намъ, что мы заблуждаемся. Тутъ могутъ встрѣчаться такіа столкновенія, когда человѣкъ дѣйствительно легко рѣшится поставить на карту все, чтобы только имѣть пріятность видѣть себя разубѣжденнымъ. И вотъ законъ для разумныхъ людей: чѣмъ глубже мыслящій человѣкъ убѣжденъ въ истинности извѣстнаго мнѣнія, тѣмъ шире въ немъ желаніе выслушать объясненія, доказывающія его заблужденіе, т-е., что убѣжденіе въ истинности мнѣнія прямо-пропорціонально желанію слышать доказательства неистинности мнѣнія.

Устанавливая такой законъ, я не думаю его ограничивать для громаднаго большинства неразумныхъ людей, изъ которыхъ, какъ мнѣ могутъ возразить, очень много найдется глубоко убѣжденныхъ въ истинности своихъ мнѣній, и въ то же время вовсе не желающихъ слышать доказательства ихъ истинности. Въ подтвержденіе справедливости такого возраженія, иные, можетъ быть, сочтутъ нужнымъ представить тѣмъ историческимъ личностямъ, во вкусѣ упомянутого сейчасъ мною Филиппа II. Но всѣ эти факты и все ихъ краснорѣчіе ровно ничего не будетъ доказывать. Дѣло въ томъ, что убѣжденіе убѣжденію—рознь бываетъ. Одну увѣренность въ истинности извѣстнаго мнѣнія можно

назвать глубокимъ убѣжденіемъ, и это будетъ дѣйствительное убѣжденіе, потому что основано на самыхъ лучшихъ началахъ, а другая увѣренность будетъ чортъ знаетъ что, „саногн всмятку“, а не убѣжденіе. И не можетъ оно назваться убѣжденіемъ никогда, потому что оно не прошло черезъ тѣ реторты и снаряды, черезъ которые проходитъ всякое дѣйствительное убѣжденіе, прежде чѣмъ оно сдѣлается такимъ: оно не жгло въ пламени свободной критики. Вотъ, если бы всѣ эти убѣжденія погорѣли бы въ немъ, да закалились бы—ну, тогда дѣло другое; тогда можно было бы ихъ назвать глубокими убѣжденіями, а безъ этого всякій сумбуръ, всякую белиберду, витающую въ головахъ такихъ публицистовъ,—какъ Краевскаго, Каткова или Старчевскаго, болѣе порядочные люди всегда будутъ величать ихъ неотъемлемыми именами.

Такимъ образомъ, слѣдовательно, обнаруживается, что люди, чѣмъ слабѣе убѣждены въ истинности извѣстныхъ мнѣній, тѣмъ они болѣе не желаютъ выслушивать доказательствъ мнѣній противныхъ, тѣмъ они, значить, нетерпимѣе. Изъ весьма достовѣрныхъ источниковъ извѣстно, что человекъ, чѣмъ вообще имѣетъ меньше убѣжденій, тѣмъ онъ неразсудительнѣе и невѣжественнѣе. Это кажется очень просто. Наши провинціи могутъ въ этомъ отношеніи служить самыми убѣдительными примѣрами.—Такіе люди, думающіе и разсуждающіе только желудкомъ, отличаются самой необузданной и самой дикой нетерпимостью. Слѣдовательно: непогрѣшимость и невѣжество—синонимы. Но если допустить свободное выраженіе мнѣній и противъ высочайшихъ истинъ, важность которыхъ не имѣетъ предѣловъ, то не значить ли этимъ прямо обнаружить свое сомнѣніе въ этихъ истинахъ, свою неувѣренность въ ихъ непогрѣшимости? Мыслящіе люди требуютъ анализа вопросовъ, основанія которыхъ непоколебимы. Мы не знаемъ, къ чему приведутъ ихъ изслѣдованія, но если они уже будутъ во всякомъ случаѣ анализировать такія истины, которыя стоятъ выше всякаго анализа,—то этого достаточно, чтобы такое дерзкое помысленіе могло счесть оскорбительнымъ для святости истины. Какъ ни лукавствуйте, но, желая

свободнаго обсужденія общепринятыхъ истинъ, вы, мыслящіе люди, непременно не вѣрите въ нихъ. Грубое заблужденіе! Вы говорите, что это высочайшія истины? Хорошо. Но въ такомъ случаѣ дайте же намъ возможность и убѣдиться въ этой важности настолько же полно и глубоко, насколько того требуетъ сама важность вопроса. Мыслящимъ людямъ желательно тѣ истины, значеніе которыхъ, по вашимъ словамъ, не имѣетъ предѣловъ, видѣть въ своемъ сознаніи не закрытыми глазами, а открытыми; они хотятъ знать ихъ такъ, какъ только можетъ разумное существо знать самыя драгоценныя для него мнѣнія, т.-е. всесторонне и всеобъемлюще. Путь къ этому извѣстенъ... Вотъ только объ этомъ мы и хлопочемъ.

Итакъ, говорю еще разъ, я допускаю, что все мнѣнія, общепринятія въ нашемъ обществѣ, абсолютно истинны; болѣе важныя — охраняются имъ болѣе бдительно, менѣе важныя — менѣе бдительно. Будемъ же теперь смотрѣть, какія разрушительныя послѣдствія вытекаютъ для неразвитыхъ массъ отъ свободнаго обсужденія болѣе важныхъ изъ такихъ непреложныхъ мнѣній.

„Освободитель умственнаго развитія Европы“, Декартъ, устанавливая принципы новой философіи, которая, впрочемъ, для нашего времени уже давно перестала быть новой, высказалъ также положеніе, — „что умъ человѣческій долженъ останавливаться только на очевидности, имъ самимъ пріобрѣтенной“. Положеніе это, взятое отдѣльно, безъ общихъ толкованій Декарта, справедливо. „Когда я, говоритъ французскій философъ, приступилъ къ изысканію истины, я нашелъ, что лучшее средство для этого отбросить все, что я получилъ, и отказаться отъ моихъ старыхъ мнѣній, съ тѣмъ, чтобы положить имъ новое основаніе; я думалъ, что такимъ образомъ легче выполню великую задачу жизни, чѣмъ если бы держался старыхъ началъ, которыя я принялъ въ молодости, не разсматривая, дѣйствительно ли они вѣрны (Бокль. „Исторія Цивилизацій“ Кн. II, стр. 439). Изъ такихъ объясненій, слѣдовательно, вытекаетъ, что для того, чтобы познать истину, „прежде всего должно освободиться отъ предразсудковъ и поставить себя цѣлью отвергнуть до по-

ваго испытанія все, что мы приняли прежде“, и затѣмъ, приступая къ изысканіямъ, останавливаться уже только на тѣхъ очевидностяхъ, которыя будутъ тогда нами замѣчены. Следовательно, въ основѣ изысканія истины человекомъ, должно лежать его „я“, а не я какого-нибудь Ивана Яковлевича Корейши...

Не подлежитъ сомнѣнію, какъ я уже и говорилъ, — что истина, чѣмъ значительнѣе въ глазахъ общественнаго мнѣнія, тѣмъ съ большею силою она должна приковывать наше вниманіе, тѣмъ съ большею энергіею, откинувъ предразсудки и предвзятія понятія, мы должны приложить и стараніе убѣдиться въ ея очевидности. Надъ чѣмъ же мыслящимъ существамъ и раскрывать свои способности, какъ не надъ предметами первостепенной важности?.. Устанавливая въ своей философіи принципы, могущій для очень многихъ казаться атеистическимъ, Рене Декартъ обратился къ самому драгоценнѣйшему мнѣнію для людей, именно къ вопросу о существованіи Бога. Но анализируя его (вопросъ), онъ пришелъ въ окончательномъ результатѣ къ тому выводу: что такъ какъ „я есть то, что думаетъ, — то бытіе Бога не подлежитъ никакому сомнѣнію“. Не правда ли, какъ это просто и остроумно?.. Не вытекаетъ ли отсюда то, что истина всегда останется истиной, — и только заблужденія, при правильномъ методѣ изслѣдованія, вымрутъ вонъ?

Но не въ этомъ кроется главная сторона дѣла. Недопущеніе свободнаго и всесторонняго обсужденія мнѣній, считающихся за непреложно истинныя, ведетъ за собой еще болѣе важныя послѣдствія. Всякая истина, если она не имѣетъ людей, которые посвятили бы себя ей на безкорыстное служеніе, которые бы изслѣдовали ее и о которой свободно излагали бы свои мнѣнія, всякая такая истина, захваченная въ руки однихъ благородныхъ и слѣпыхъ послѣдователей, неизбежно со временемъ покрывается пылью и наградить своихъ адептовъ еще болѣею слѣпотою и скудоуміемъ. Пылью она покрывается оттого, что до нея не касаются человѣческія руки, и она пребываетъ въ ненарушномъ спокойствіи: слѣпота же послѣдователей обнаруживается оттого, что они, ничего не считая нужнымъ разема-

тривать, до крайней степени отучаютъ свое зрѣніе совершать его специальное отправление. Когда въ полѣ нѣтъ враговъ, говоритъ одно старинное поученіе, то воины обыкновенно дремлютъ или засыпаютъ; когда же враги наступаютъ, воины пробуждаются, воодушевляются и оказываютъ удивительнѣйшіе подвиги героизма и мужества. Въ жизни всѣхъ вѣковъ, если мы обратимся къ прошлымъ событіямъ, люди дѣйствительно только тогда и являются передъ нами болѣе энергичными и болѣе дѣтельными, когда то или другое обстоятельство ихъ затрагиваетъ за живое. Обыкновенное ихъ состояніе было состояніемъ мертваго могильнаго покоя, именно такого состоянія и такого покоя, которые самымъ неизбѣжнымъ образомъ ведутъ всѣхъ и каждого къ отупѣнію и идиотизму. Живая увѣренность въ истинности мнѣнія при такомъ условіи исчезаетъ; имѣвшіяся кои-какія разумныя основанія засариваются, теряютъ всякую разумность и всякое внутреннее достоинство; истина извращается въ догму, въ пустое слово, въ форму съ неварившимся содержаніемъ: люди не замѣчаютъ по снѣготѣ, что и они точно такъ же, какъ и ихъ истины, начинаютъ покрываться толстымъ слоемъ плѣсени.— и все другое, великое, потомъ и кровью доставшееся одному поколѣнію, погибаетъ на неопредѣленное время въ мирной средѣ поспѣвающихъ поколѣній... Всѣ нравственныя доктрины испытали такую судьбу. Пока онѣ были гонимы, пока имъ приходилось вести ожесточенную борьбу за свое существованіе и отстаивать всѣми своими наличными средствами каждый день своей жизни, онѣ казались энергичны, дѣтельны, предприимчивы; онѣ дышали терпимостью, всепрощеніемъ, братской любовью; онѣ съ изумительной послѣдовательностію прилагали свои нравственные принципы ко всѣмъ поступкамъ; онѣ были разсудительны, внимательны къ доводамъ противниковъ; онѣ приводили всѣхъ въ восторгъ своею добронпорядочностію. Но лишь только подымался для нихъ попутный вѣтеръ, лишь только такія гонимыя доктрины начинали ощущать подъ ногами твердую почву и замѣчать, что онѣ пріобрѣтаютъ права гражданства, признаются господствующими, тактика ихъ начинала очень быстро перемѣняться. Онѣ зазнавались; прежняя

добропорядочность, какъ рукой снималась,—и на мѣсто ея гордой поступью выходили двѣ кровныхъ родственницы: непогрѣшимость и негнѣнимость. Припомните, для большей наглядности, первыхъ христіанъ и ихъ братское, коммунистическое сожителство.

Точно въ такомъ же родѣ приключаются исторіи, когда въ среду того или другого народа, сладко снѣгащаго подъ плѣсенью со своими сгнивающими истинами, вступаетъ новое ученіе, отвергающее туземное. Люди тогда быстро просыпаются, протирають глаза и принимаются за дѣло. Истѣвшіе остатки истины собираются и старательно обчищаются. Возгорается жаркій споръ, обмѣнь мнѣній, свободная критика. Всѣ стоятъ на ногахъ; всѣмъ приходится работать головой, нескать доводовъ, убѣждаться, сознательно осмысливать свои сужденія... Когда протестантизмъ ворвался въ католическую Францію и бурной рѣкою понесся по ея равнинамъ, то растлевающее французское общество вдругъ хвагилось за голову и съ небывалой энергіей приступило къ обчищенію своихъ мнѣній. Для папы наступила въ такую пору довольно щекотливая минута. Но это происходило только въслѣдствіе того, что онъ самъ слишкомъ мало былъ увѣренъ въ истинности принциповъ, отъ которыхъ держать въ своихъ рукахъ ключъ, и еще меньше былъ увѣренъ въ крѣпости сердецъ своей покорной паствы. Кокеро, бывший посланникомъ въ то время во Франціи, писалъ по этому случаю слѣдующее въ 1569 году:— „По моему, писалъ онъ, папа могъ бы сказать, что онъ отъ этихъ волнений гораздо болѣе выигралъ, нежели проигралъ, ибо мнѣ кажется, что до этого раздвоенія распушенность жизни была столь велика, и благоговѣніе къ Риму, къ тому, что въ немъ находилось, столь слабо, что папа считается скорѣе италіанскимъ государемъ, нежели главою церкви и отцомъ всемірной паствы. Но какъ только поднялись гугеноты, католики стали чтить его и самого его признавать истиннымъ намѣстникомъ Христовымъ: они все болѣе и болѣе укрѣплялись въ этомъ убѣжденіи по мѣрѣ того, какъ власть папы отрицалась и ниспровергалась гугенотами“. Такимъ образомъ, гугеноты, падая на господствовавшее ученіе во Франціи, недовольствуясь старыми фор-

мами и отыскивая повсюду, тѣмъ самымъ пробудили людей и послужили, съ самою примѣрною преданностью, къ благоденствію тѣхъ истинъ, противъ которыхъ они вооружились. Безъ нихъ, святой отецъ, можетъ быть, потерялъ бы со временемъ для французскихъ католиковъ всю свою святость, потерялъ бы безвозвратно, навсегда. Но гугеноты предупредили такое трогательное для папской власти событіе. Они, вызванной ими борьбой, укрѣпили ея истинность въ сознании массъ, влили жизнь, силу въ исцѣлвавшіе принципы. Гугеноты погибли. Условія, при которыхъ они окончили свое земное странствованіе, весьма назидательны и достойны упоминанія. Они самымъ удовлетворительнымъ образомъ объясняютъ намъ, до такой степени иногда бываетъ неосновательна боязнь того, что въ сущности далеко не имѣетъ устрашающихъ послѣдствій, и до какой степени бываютъ напрасны опасенія людей, впадающихъ въ ярость, когда они замѣчаютъ, что въ ихъ уютныя помѣщенія пробирается новая мысль, проникаетъ новая струя воздуха. Когда явился протестантизмъ во Франціи, его сейчасъ же посчитали отравить подъ снудъ, какъ вещь зловредную, могущую сокрушить съ путей добродѣтели благочестивыхъ гражданъ и потрясти всѣ священныя и неприкосновенныя основы государства. Но—чудное дѣло!—протестантизмъ подъ снудомъ не только не унялся, но дѣйствовалъ еще съ большей энергіей, плодился и множился, какъ песокъ морской, ежеминутно стремясь съ невѣроятной силой выйти наружу и затопить все святое. Тогда нашлись такіе смѣлые люди, которые выпустили его на Божій свѣтъ и снова: о, чудное дѣло!—протестантизмъ сталъ истощаться и вымирать: вожди покидали своихъ преслѣдователей, церкви закрывались; по прошествіи непродолжительнаго времени онъ и совсѣмъ прекратился, такъ что страшныхъ гугенотовъ какъ будто никогда и не существовало, и какъ будто они никогда не грозили опасностью государству. Кто знаетъ, до какихъ громадныхъ размѣровъ, можетъ быть, дошла бы подземная дѣятельность протестантовъ, не усиленная еще покровительствомъ правительства, если бы не проникъ вмѣстѣ съ ними во французское общество и болѣе свѣтскій взглядъ на богословскіе во-

просы, и если бы не выступилъ на арену политической дѣятельности Ришелье. Можетъ быть, въ настоящее время, встѣдствіе болѣе продолжительнаго гнета и гоненія новыхъ мнѣній, мы имѣли бы теперь передъ своими глазами совѣтъ другія декораціи во Франціи, чѣмъ мы ихъ видимъ... Нашъ расколъ, извѣстный намъ довольно близко, какъ нельзя лучше подходитъ тоже сюда. Его настоящее преслѣдованіе и гоненіе, его истязаніе, пытки и казни, недовольствіе ему открыто и свободно высказать свои мудрствованія и выслушать на нихъ объясненія породили множество гайныхъ толковъ и размножили его послѣдователей чуть ли не до десяти милліоновъ! Теперь же, съ объявленіемъ вѣтъ этимъ господамъ ихъ терпимости, ростъ ихъ остановился; они уже не множатся, а, видимо, ослабѣваютъ, теряютъ для неразвитыхъ людей весь свой букетъ; они вымираютъ. Будетъ, конечно, время, когда изъ подобныхъ людей не останется ни одного сторонника, и послѣдуетъ оно тѣмъ скорѣе, чѣмъ всестороннѣе имъ будетъ оказана терпимость. Въ особенности это близко относится до толковъ, признающихъ еще отчасти и теперь зловердными. И не только до однихъ раскольничьихъ толковъ, но и вообще всякихъ толковъ, не исключая изъ этого числа и такъ-называемыхъ неугомонныхъ социалистовъ, кажущихся теперь въ глазахъ однихъ ангелами-спасителями, а въ глазахъ другихъ исчадіями ада. Дайте человѣку высказаться вполне, совѣтуйте житейскій опытъ, не прерывайте потоковъ его краснорѣчія (не говорю уже: поддакивайте ему; тогда онъ даже со злостью замолчитъ, возьметъ шляпу и уйдетъ отъ васъ), — пѣтъ, а вы только не прерывайте потоковъ его краснорѣчія, дайте ему договориться до конца, дайте натерѣть кровавыя мозоли на языкъ — и онъ утратитъ для васъ всю очаровательность, которая такъ ярко блистала при вашемъ поверхностномъ на него взглядѣ. Онъ поблѣднѣетъ, завянѣтъ... Иногда не слѣдуетъ забывать, что праотецъ Адамъ вкусилъ съ Евою запрещенный плодъ отъ древа познанія добра и зла только потому, что онъ имъ былъ строжайшимъ образомъ запрещенъ. Преданіе тутъ весьма вѣрно подмѣтило одну изъ самыхъ крупныхъ особенностей въ человѣческомъ характерѣ. Подобные несчаст-

ные случаи совершаются и въ настоящее время тысячами съ нашими молодыми людьми, вкушающими горькіе плоды отъ древа социализма. Гдѣ больше строгости, тамъ всегда больше и грѣха.

Но, можетъ быть, иные скажутъ, что истины, имѣя всегда около себя сонмъ друзей и учителей, не нуждаются въ открытой борьбѣ съ врагами именно потому, что эти друзья и учителя сами собой неусыпно блюдутъ за ихъ чистотой и целомудріемъ. Они ихъ изучаютъ, поясняютъ и изукрашиваютъ для всѣхъ. Они сами воображаютъ передъ собой враговъ, сообщаютъ своимъ слушателямъ ихъ еретическія мнѣнія и представляютъ ва эти еретическія мнѣнія свои возраженія; сами учатъ свою паству познавать лжеумствованія противниковъ обнаженіемъ ихъ ложныхъ основаній, ихъ началъ, на которыхъ созидаются противниками отступническія и дикія убѣжденія... Развѣ этого недостаточно для сравненія, размысленій и сознательнаго постиженія истины? О, конечно, далеко недостаточно! Истина нуждается въ настоящихъ, живыхъ врагахъ, а не въ бумажныхъ куклахъ; нуждается въ настоящей борьбѣ, со всѣми ея кровавыми ужасами, а не въ кукольномъ театрѣ, могущемъ оказывать пользу только одному антрепренеру. Друзья всегда своекорыстны, пристрастны, лукавы: они всегда стараются показывать дѣйствительность въ ложномъ свѣтѣ; они искажаютъ факты противниковъ, опускаютъ изъ нихъ одни, умышленно обходятъ молчаніемъ другіе, лгутъ, клеветаютъ. Таковы всѣ друзья,—и такіе вѣрные, преданные друзья для истины, конечно, хуже враговъ...

По теоріи Дарвина, совершенствуется въ выгодномъ для себя и для своего рода направленіи только то, что, во-первыхъ, ведетъ борьбу, находится въ дѣятельномъ, энергическомъ и напряженномъ состояніи, а во-вторыхъ, что обставлено естественными условіями. У дойныхъ коровъ, проживающихъ въ безмятежномъ спокойствіи, никакихъ способностей, выгодныхъ для нихъ и ихъ потомковъ, развиваться не можетъ. Все, что появляется и совершенствуется въ организациі такихъ безсловесныхъ животныхъ, все это идетъ въ пользу не имъ, а поступаетъ въ карманы ихъ попечи-

телей, заботящихся исключительно только о томъ, изъ чего можетъ представиться возможность извлекать самое большое количество котлетъ и ростбифовъ. Съ истинами, пребывающими не на свободѣ, а въ неволѣ, въ „прирученномъ“ состояніи, дѣлается то же самое... Слѣдовательно, мы теперь приходимъ къ открытію совершенно обратныхъ послѣдствій, вытекающихъ для общества отъ свободнаго выраженія мнѣній по вопросамъ всѣхъ степеней важности, чѣмъ это увѣряетъ „публика“. Именно мы убѣждаемся теперь, что всесторонній анализъ, добросовѣстное обсужденіе, свобода, свобода и еще разъ свобода оказываются весьма необходимы для всѣхъ истинъ...*)).

Изъ „Новаго Времени“. Статья Ива (И. В. Ануреева?).

1872 г.

**) Поэзія г. Некрасова составляетъ явленіе до сихъ поръ необъясненное нашей критикой. Въ то время, когда стихи его читались и заучивались чуть ли не всею Россіей, и въ особенности Петербургомъ, гдѣ онъ имѣлъ наибольшее число поклонниковъ — критика или молчала о немъ, или ограничивалась голословными похвалами или не менѣе голословными намеками личнаго и мелочнаго свойства. Въ то время, когда журналы наши старались „проводить въ публику“ гг. Майкова, Полонскаго, Фета, Тютчева, Мея, разъясняя тонкія красоты ихъ поэзіи и борясь всѣми силами съ тѣмъ равнодушіемъ, въ которомъ естественно упорствовала публика, еще очень мало развившая и очистившая свой вкусъ и неподготовленная къ эстетическимъ наслажденіямъ — никто изъ лучшихъ критиковъ той эпохи, ни Бѣлинскій, ни Богиня, ни Антонъ Григорьевъ, не предпринимали подобныхъ усилій ради г. Некрасова. А между тѣмъ, г. Некрасова полюбили, талантъ его поняли, и было время — именно въ концѣ пятидесятихъ и въ началѣ шестидесятихъ годовъ — когда этотъ поэтъ пользовался популярно-

*) Еще въ 1870 г. о Некрасовѣ см. „Иллюстрированная Газета“, № 2 (ст. М. М.—на; „Некра“, № 11 (Господа поэты); „С.-Петербургскія Вѣдомости“, № 115.

**) „Русскія Мѣсяц.“ 1872 г., № 122. Статья А. О. (В. Г. Авельченко).

стію и любовью своихъ многочисленныхъ почитателей въ большей степени, чѣмъ самые даровитые корифеи новой русской литературы. Случилось такъ, что г. Некрасовъ *самъ* провелъ себя въ публику, заставилъ понять и полюбить себя помимо критическихъ толкованій и разъясненій, безъ которыхъ стихи г. Фета, напримѣръ, едва ли сдѣлались бы доступны значительной массѣ читателей.

Если мы правильно объяснимъ себѣ, почему именно поэзія г. Некрасова нашла такой легкій доступъ къ сочувствію и пониманію массъ, тогда какъ для того, чтобы провести въ ту же самую публику другихъ поэтовъ, потребовалось не мало талантливыхъ усилій лучшихъ знатоковъ и цѣнителей поэзіи—тогда сами собою опредѣлятся для насъ значеніе и характеръ Некрасовской музы. Ошибочно было бы думать, что поэзія г. Некрасова не пуждалась въ услугахъ журнальной критики по какимъ-либо подавляющимъ своимъ достоинствамъ, по своему превосходству, по своей несомнѣнности. Напротивъ, общія требованія поэзіи нигдѣ не получаютъ такого скуднаго удовлетворенія, какъ въ стихахъ г. Некрасова. Идеаловъ у него никакихъ, возбужденіе никогда не отзывается искренностью, образы большею частью блѣдны и шероховаты: самый стихъ г. Некрасова, въ то время какъ другіе поэты доводили выработанность его до удивительной виртуозности, отличался всегда тяжелой неуклюжестью, веровностью, и если по временамъ въ этомъ стихѣ чувствовалась сила, то эта сила весьма походила на заимствованную изъ передовыхъ статей и журнальных трактатовъ. Въ этихъ-то свойствахъ поэзіи г. Некрасова и заключается, какъ намъ кажется, тайна той популярности, какою всегда пользовались произведенія его музы. Стихотвореніе, построенное на высшихъ, неумовимыхъ законахъ поэзіи, проникнутое красотою и страстью, облеченное въ гибкій, изящный, виртуозно-отчеканенный стихъ, пуждается въ присутствіи въ самомъ читателѣ пѣкоторой доли того высшего развитія, которымъ обладаетъ поэтъ. Такіе читатели никогда не преобладаютъ въ массѣ. Напротивъ, поэзія нѣсколько грубоватая, облекающая въ выразительный стихъ ходячія, общедоступныя идеи, понятна и

родственна каждому. Она не требуетъ отъ читателя, чтобъ онъ оторвался отъ круга своихъ ежедневныхъ будничныхъ мыслей и вступилъ въ непривычную для него сферу приподнятыхъ идей, тонкихъ красоть и эстетическаго сіянія: она сама услужливо спускается до его будничнаго уровня и увѣряетъ его, что за этимъ уровнемъ ничего нѣтъ и ничего не нужно.

Г. Некрасовъ всегда былъ по преимуществу поэтъ массы. Никому не придетъ въ голову доканчиваться въ его стихотвореніяхъ глубины мысли или чувства. Идеи, въ которыхъ онъ очерчиваетъ свое вдохновеніе, совершенно по плечу каждому, и въ особенности каждому петербургскому чиновнику, мало-мальски свободно относящемуся къ своему начальству. Если мы попробуемъ нанизать на ниточку идейки, особенно часто размыслимыя имъ и служащія основой самыхъ извѣстныхъ его стихотвореній, мы будемъ поражены ихъ незатѣйливостью. Нехорошо обжираться въ англійскомъ клубѣ и проматывать родовыя состоянія на французенокъ, нехорошо пьянствовать и ругаться: бѣдность не порокъ, особенно когда она есть результатъ честности; достойно сожалѣнія, когда честная мысль не можетъ быть свободно высказана; богатый и знатный человѣкъ обыкновенно нечувствителенъ къ горю бѣдняка; произволь предварительной цензуры портить кровь у сочинителей, хорошая погода лучше дурной, а свобода лучше рабства—вотъ тотъ заколдованный кругъ идей, въ которомъ держится г. Некрасовъ и изъ котораго онъ не только не можетъ, но и не пытается вырваться. Подобныя идеи нельзя предвозвѣщать, потому что онѣ уже присутствуютъ во всякомъ мало-мальски сложившемся обществѣ, и потому г. Некрасовъ во всю свою двадцатилѣтнюю поэтическую дѣятельность ничего не предвозвѣстилъ и не открылъ, а только облекалъ въ стихъ маленькія мысли, высказываемыя свободно-мыслящими департаментскими чиновниками, не слишкомъ бойкими фельетонистами и совершенно темными литераторами, понавшимъ умирать въ обуховскую больницу. Высказывать все это г. Некрасовъ съ извѣстнымъ талантомъ, иногда не безъ нѣкоторой пикантности, а въ немногихъ случаяхъ съ не-

поддѣльною поэзіей (таково, напр., стихотвореніе: „Бѣду ли ночью по улицѣ темной“). Правда, въ лучшихъ стихотвореніяхъ г. Некрасова постоянно слышались отголоски тѣхъ мрачныхъ англійскихъ и нѣкоторыхъ французскихъ поэтовъ, которыхъ въ послѣднее время въ такомъ обиліи переводятъ г. Минаевъ и прочіе поэты „Отечественныхъ Записокъ“, но для публики пятидесятихъ годовъ фактъ заимствованія оставался неизвѣстнымъ, а нѣкоторый петербургскій отѣнокъ, искусно сообщаемый г. Некрасовымъ своимъ произведеніямъ, придавалъ имъ оригинальный характеръ.

Съ прекращеніемъ „Современника“ муза г. Некрасова сохранила прежнюю плодovitость, но въ качественномъ отношеніи произведенія ея обнаружили сильный ущербъ. Прежнія достоинства оскудѣли, новыхъ не оказалось. Если г. Некрасовъ всегда отличался крайнимъ пренебреженіемъ къ формѣ (а зачѣмъ приобѣгать къ поэтической формѣ, когда сю пренебрегаешь?), то въ прежнее время онъ, по крайней мѣрѣ, строго слѣдилъ за выразительностью стиха и подобиющею краткостью; въ послѣднихъ же его произведеніяхъ стихъ сдѣлался окончательно дряблымъ, болтливымъ, а размеры ихъ дошли до крайнихъ предѣловъ. Такую длинную и водянистую вещь, какъ его поэма: „Кому на Руси жить хорошо“, едва ли одобрили даже записные поклонники нашего поэта. Въ настоящее время г. Некрасовъ задумалъ тоже весьма большой, повидимому, трудъ, подъ заглавіемъ „Русскія Женщины“, часть котораго появилась въ апрѣльской книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“. Если бы мы вздумали выловить изъ этой поэмы ея основную идею и сформулировать краткой фразой ея мораль (извѣстно, что у г. Некрасова всегда есть мораль, и въ этомъ отношеніи онъ приближается къ баснописцамъ), мы, безъ сомнѣнія, были бы до крайности поражены крохотностью и ветхостью этой идеи и этой морали. Дѣйствительно, г. Некрасовъ желаетъ только сказать, что декабристъ князь Т. былъ человѣкъ образованный и развитой, что жена его, рѣшившаяся слѣдовать за нимъ въ Сибирь, поступила великодушно, и что положеніе ихъ обоихъ было тяжелое. Противъ этого трудно спорить, но еще труднѣе не усомниться, чтобы во всемъ этомъ было

что-либо новое или глубокое. Затѣмъ остается изложеніе, развитіе сюжета, и—увы!—въ этомъ отношеніи весьма немногія строки напоминаютъ прежняго г. Некрасова. Стихъ дряблый, безъ мѣры болтливый, устарѣлый отзывается какими-то давно забытыми виршами двадцатыхъ годовъ. Вотъ для примѣра такой куплетецъ:

Ей ленты алая вплели
Въ двѣ русія косы,
Цвѣты, наряды принесли
Невиданной красы.

Пишетъ ли кто-нибудь такъ въ настоящее время? Не напоминаетъ ли этотъ куплетецъ старше-престарые вирши, предшествовавшіе русскимъ багладамъ Жуковскаго и сказкамъ Пушкина? Затѣмъ слѣдуютъ обильныя подражанія Рылѣву:

Луна плыла среди небесъ
Безъ блеска, безъ лучей,
Натѣво былъ угрюмый лѣсъ,
Направо—Енисей.
Темно! Навстрѣчу въ души;
Ямщикъ на козлахъ спать,
Голодный волкъ въ лѣсной глуши
Пронзительно стоналъ,
Да вѣтеръ бился и ревѣлъ.
Играя на рѣкѣ,
Да породецъ гдѣ-то пѣлъ
На *странномъ* (?) языкѣ.
Суровымъ пафосомъ звучалъ
Невѣдомый языкъ,
И пуще сердце надрывалъ,
Какъ въ бурю чайки крикъ.

Смѣемъ увѣрить г. Некрасова, что подобныя подражанія поэтамъ двадцатыхъ годовъ ничего не прибавятъ къ его литературной репутаціи.

• В. Г. Аестенко.

I.

...Первые будутъ послѣдними!..

*) Современная русская беллетристика, съ нѣкотораго времени, служитъ козломъ очищенія на пепорочномъ жертвенникѣ пащей журнальной критики. Нѣтъ такого литературнаго лагеря, который бы не считалъ своею священной обязанностью бросить въ нее своимъ осужденіемъ и рѣшимъ приговоромъ. Со всѣхъ сторонъ сыпятся на нее обвиненія въ безцвѣтности и въ полнѣйшемъ отсутствіи художественнаго элемента. Говоря откровенно, даже въ обвиненіяхъ лиллипутовъ есть своя доля правды, и я вовсе не думаю принимать на себя защиту осуждаемой. Но когда суровые обвинители современной беллетристики, обличая ея несомнѣнные недостатки: дѣлаютъ въ то же время умильные глазки беллетристикѣ 40-хъ и конца 50-хъ годовъ: когда они унижаютъ первую для того, чтобы возвеличить вторую; когда они тычатъ палецъ въ глаза художественнымъ авторитетами „времени Бѣлинскаго“,—то, уже извините, при всемъ моемъ предубѣжденіи къ оптимизму, я готовъ сдѣлаться въ этомъ случаѣ оптимистомъ, я готовъ воскликнуть: „нѣтъ, то, что *есть*, все же гораздо лучше того, что *было!*“ „Иркость“ и „художественность“ беллетристикъ прошлыхъ десятилѣтій — это, мнѣ кажется, одно изъ самыхъ нелѣпыхъ и неосновательныхъ мнѣній: и „старые“ беллетристы были такими же плохими художниками, какъ и новые, они отличались тѣми же недостатками, какими отличаются и „новѣйшіе“; такъ-называемая „художественность“ отсутствуетъ въ произведеніяхъ первыхъ столько же, сколько и въ произведеніяхъ вторыхъ, если не больше. „Какъ! воскликнуть защитники старыхъ авторитетовъ, какъ, а гг. Тургеневъ, Писемскій, Гончаровъ, — развѣ это не художники! Развѣ это не

*) „Лето“ 1872 г., № II. Статья Постного (Н. Н. Ткачова), подъ заглавіемъ „Непокрашенная старина“. Настоящая статья помещается здѣсь болѣе въ виду ея общаго смысла по отношенію къ русской литературѣ, нежели какъ разборъ романа „Три страны свѣта“.

„художественные перлы и алмазы“ беллетристики сороковых годовъ. Найдите-ка что-либо подобное имъ въ вашей современной беллетристикѣ!“. Ну, гг. Тургеневъ, Писемскій и Гончаровъ пишутъ и теперь,—отчего же, однако, ихъ „современныхъ произведений“ никто не находитъ „художественными перлами и алмазами“? Отчего въ своихъ „Взбаламученномъ Морѣ“, „Отцахъ и Дѣтяхъ“ и въ „Обрывѣ“ они такъ близко подходятъ къ новѣйшимъ сочинителямъ романтическихъ сплетней, въ родѣ гг. Лѣсковыхъ и Ключниковыхъ, что становится труднымъ опредѣлить, гдѣ кончается „старѣйшій“ беллетристъ и гдѣ начинается „новѣйшій“? И знаю тѣ „смягчающія обстоятельства“, которые приводятъ обыкновенно въ пользу старыхъ беллетристовъ; ихъ фiasco объясняется недостаточностью ихъ умственного развитія, общимъ складомъ ихъ міросозерцанія, помѣнявшимъ имъ понять и оцѣнить современное поколѣніе и современныя потребности нашей жизни. Но, мнѣ кажется, это объясненіе нельзя считать вполне удовлетворительнымъ; къ тому же, мнѣ кажется, что оно рѣшительно противорѣчитъ основнымъ догматамъ тѣхъ самыхъ эстетиковъ, которые сдѣлали изъ гг. Тургенева, Писемскаго и Гончарова художественные авторитеты. Съ точки зрѣнія этихъ догматовъ признано, что на произведенія истиннаго художника не можетъ имѣть существеннаго вліянія его теоретическое міросозерцаніе; что оно только направляетъ его художественную дѣятельность на тѣ или другія стороны жизни, что оно лишь ограничиваетъ известнымъ образомъ кругъ доступныхъ ему предметовъ; но что самая *художественность* изображенія этихъ предметовъ — не зависитъ отъ того, либераль авторъ или консерваторъ, идетъ онъ въ уровень съ прогрессомъ своего времени или отсталъ отъ него. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите, напр., хоть Антони Тролона. Это несомнѣнный консерваторъ, напыщенный торъ, человекъ вполне отсталый во всѣхъ отношеніяхъ, — однако, никто не станетъ утверждать, что собственно *художественная сторона* его произведеній страдаетъ отъ его консервативной отсталости. Изображаемые имъ характеры всегда производятъ на васъ впечатлѣніе характеровъ живыхъ людей, а не ходячихъ маріонетокъ, съ разными припислен-

ними къ нимъ ярлыками и аттестатами. А Тролопъ не Богъ знаетъ еще какой художникъ! Никто не поставитъ его на одну доску съ Диккенсомъ или Теккеремъ. Почему же онъ никогда не писалъ и не напишетъ ничего подобнаго „Взбаламученному морю“, „Отцамъ и Дѣтямъ“ и т. п.? Почему онъ, отставая отъ своего времени, не перестаетъ быть художникомъ? Говорять, что художественность старыхъ авторитетовъ стала теперь *выдыхаться* (не я сочинилъ это слово; я беру его цѣликомъ изъ одной либеральной рецензіи, написанной по поводу одного изъ послѣднихъ рассказовъ г. Тургенева). Выдыхаться! но отчего же это только у однихъ насъ *выдыхаются* художники? Почему въ Англіи романы Диккенса и Теккерея, во Франціи романы Сю, Бальзака и Жюль-Занда,—романы, написанные лѣтъ 30, 40 тому назадъ, читаются и продолжаютъ интересовать публику; а мы считаемъ устарѣлыми и не станемъ перечитывать ни „Дворянскаго Гитиза“, ни „Записокъ Охотника“, ни „Тысячи Душъ“, ни „Обыкновенной Исторіи“ и т. п. Почему, однимъ словомъ, произведенія нашихъ беллетристическихъ авторитетовъ всегда такъ тѣсно связаны съ породившимъ ихъ *историческимъ моментомъ*, что чуть только прошелъ этотъ моментъ, мы сейчасъ же и забываемъ ихъ? Неужели нашъ общественный прогрессъ такъ быстръ, что жизнь нашихъ отцовъ и даже нашихъ старшихъ братцевъ не представляется уже никакихъ общихъ интересовъ, никакихъ точекъ соприкосновенія съ нашею собственною жизнью? Очевидно, подобное объясненіе немыслимо, потому что въ два, три десятилѣтія люди еще никогда не перерождались, да и трудно до такой степени переродиться, чтобы утратить всякую связь съ людьми непосредственно-предшествующихъ эпохъ. Отчего же всѣ эти Лавреціе, Рудины, Калиновичи, Адуевы, Обломовы, переставъ быть современными, перестали быть и интересными? Могло ли бы это съ ними случиться, если бы они были изображены съ художественною правдивостью, если бы они и теперь продолжали производить на насъ впечатлѣніе живыхъ людей, а не мертвыхъ образовъ? Я думаю, что тогда бы этого не случилось. Донъ-Кихотъ — давно отжившій типъ, но мы увлекаемся имъ и теперь.

Дѣйствующія лица шекспировскихъ трагедій вѣрятъ въ вѣдьмъ и колдуновъ, и мы все-таки интересуемся ими. Члены Шекспировскаго клуба едва ли мыслимы въ современной Англии, а мы не перестаемъ, однако, зачитываться гениальнымъ произведеніемъ великаго романиста. Въ „Notre Dame de Paris“ и въ „L'homme qui rit“, передъ нами раскапываются запыленные архивы поросшей мхомъ древности, но мы не отсылаемъ ихъ подъ столъ, мы не смотримъ на ихъ героевъ, какъ на нѣкоторые историческіе пергаменты, мы видимъ въ нихъ живыхъ людей, мы переносимся въ ихъ обстановку, мы входимъ въ ихъ интересы, мы дѣлаемъ эти интересы своими собственными интересами: намъ кажется, будто эти люди и теперь еще живутъ и дѣйствуютъ.

Почему же насъ интересуютъ люди давно отжившихъ поколѣній, и не интересуютъ люди, современные нашимъ отцамъ, много, много что дѣлаемъ? Какъ хотите, а тутъ что-нибудь да неладно. Или наши „художественные перлы“ совсѣмъ не перлы, и если произведенія этихъ „перловъ“ заинтересовали одно время публику, то причину этого нужно искать совсѣмъ не въ ихъ *художественности*, а просто въ ихъ современности,—или же... или же наша публика не любитъ своего, всего національнаго, всего русскаго. Но не правдоподобіе ли усомниться скорѣе въ художественномъ авторитетѣ нашихъ „перловъ“, чѣмъ въ патріотизмѣ всего „народа русскаго“?

Временное, мимолетное, чисто историческое значеніе беллетристическихъ произведеній даже самыхъ талантливыхъ нашихъ романистовъ ясно показываетъ, что ихъ слишкомъ скоропреходящая популярность обуславливалась совсѣмъ не ихъ художественными достоинствами. Она просто заискала отъ тѣхъ мимолетныхъ интересовъ, съ которыми она такъ или иначе была связана. Переменялись интересы, забывались и произведенія. Мнѣ, пожалуй, скажутъ, что это одинаково справедливо относительно всѣхъ продуктовъ человѣческаго ума, что каковы бы ни были ихъ внутреннія достоинства, по разѣ мимовались вызвавшіе ихъ интересы, исчезаетъ и ихъ цѣнность. Конечно, это правда.

Но тѣло въ томъ, что интересы — интересамъ рознь. Есть интересы такіе мелкіе и ничтожныя, что они мѣняются каждый годъ, каждое десятилѣтіе, и есть интересы, съ одинаковою силою волнующіе человечество въ теченіе многихъ и многихъ вѣковъ, интересы не старѣющіе, вѣчно обновляющіеся... Истинно-художественное произведеніе, по самому существу своему, всегда опирается на эти послѣдніе интересы, на интересы касающіеся *человѣка вообще*, а не *человѣка*, одѣтаго въ *такое-то* именно *платье*, въ *такой-то* мундиръ, служащаго въ *такомъ-то* департаментѣ. Напротивъ, тѣ псевдо-художественныя творенія, которыя сегодня читаются съ восторгомъ, а завтра отъ скуки бросаются подъ столъ,—эти творенія всегда исключительно связываются не съ общечеловѣческими интересами, а съ интересами такого-то лица или кружка, такой-то должности, такого-то чина. Измѣнился кружокъ, упразднена должность, переименованъ чинъ,—и старые интересы забыты; забыты и тѣ, которые ихъ воспѣвали. Я знаю, что, говоря это, я реставрирую азбучную истину. Но мнѣ кажется, что именно эта азбучная истина и можетъ объяснить ту мимолетную популярность, которою пользовались творенія „старыхъ авторитетовъ“. Они отвѣчали *интересу минуты*, но дальше этого они не шли; минута прошла, а съ нею прошла и ихъ эфемерная слава. Та же участь постигнетъ, безъ сомнѣнія, современныхъ беллетристовъ, но это все-таки не дастъ права „старѣйшимъ“ поднимать носъ передъ „новѣйшими“. Если бы возможно было искусственнымъ образомъ выдѣлить изъ произведеній нашей „старой“ и „новой“ беллетристики тѣ, такъ сказать, чисто публицистическіе интересы, которые связывали или связываютъ ихъ съ живою дѣйствительностью, которые даютъ имъ свѣтъ и теплоту, которые одухотворяютъ ихъ, то мы получили бы мертвые остовы, одинаково непривлекательные, одинаково безобразные. Нѣтъ, я даже думаю или, лучше сказать, я увѣренъ, что „остовы“ новой беллетристики оказались бы несравненно лучше и чище отдѣлаваемыми, чѣмъ „остовы“ старой. Мнѣ скажутъ, что мое мнѣніе ни на чемъ не основано, что оно рѣшительно противорѣчитъ „установившимся“ и „общепринятымъ“ взглядамъ;

мало того, оно противорѣчитъ несомнѣвному и конкретному факту. А фактъ этотъ состоитъ въ томъ, что популярности, которою пользовались „старые“ авторитеты, никогда не выпадала на долю „новыхъ“, и что даже ни одному изъ новѣйшихъ беллетристовъ не удалось сдѣлаться общепризнаннымъ авторитетомъ. Однако, этотъ фактъ ни мало не смущаетъ меня: когда потребности и интересы минуты можно выражать не иначе, какъ въ туманной и инносказательной формѣ *беллетристическихъ притчъ*, то понятно, что вниманіе публики исключительно сосредоточится на этихъ притчахъ, и что притчи, какова бы ни было ихъ внутреннее достоинство, будутъ пользоваться преимущественною популярностью. Чуть кому удастся хоть сколько-нибудь толково высказать въ притчѣ то, что всѣхъ занимаетъ, намекнуть на то, на что каждый киваетъ, а прямо указать не можетъ, — вотъ онъ и „авторитетъ“, его притча читается, перечитывается, ею восхищаются, въ ней открываютъ какія-то неизъяснимыя прелести, ее возводятъ въ „перль созданія“. А отнимите отъ этой притчи ея *инносказаніе*, посмотрите на нее не какъ на притчу, а какъ на *художественное произведеніе*, и вы съ удивленіемъ спросите себя: „да что же тутъ хорошаго? какъ могла такая ничтожная мысль растрогать читателя? какой же это „перль“, — это просто „булыжникъ“.

Но сила иллюзіи велика: репутация, разъ созданная подъ ея вліяніемъ, упорно держится и переживаетъ самый предметъ. Съ „перломъ“ давно уже обращаются, какъ съ булыжникомъ, а все-таки его называютъ по старой памяти *перломъ*. Въ наше время притча уже не имѣетъ прежняго значенія; интересы, занимающіе въ данный моментъ публику, могутъ находить свое выраженіе въ иной, болѣе прямой формѣ... Потому наша современная беллетристика, за отсутствіемъ въ ней, какъ и въ беллетристикѣ прошлыхъ лѣтъ, всякихъ художественныхъ достоинствъ, не можетъ привлекать къ себѣ ни того всеобщаго вниманія, ни пользоваться тѣмъ авторитетомъ, о которыхъ говорятъ присяжные защитники стараго хлама. Вотъ, мнѣ кажется, совершенно правдоподобное объясненіе той популярности, которою въ

свое время пользовались „старые авторитеты“, того ореола (въ наши дни, правда, значительно потускнѣвшаго), которымъ преданіе и до сихъ поръ окружаетъ ихъ поспѣвшія головы. Однако, мы справедливо могутъ замѣтить, что все подобныя соображенія имѣютъ лишь значеніе отрицательныхъ доказательствъ—однихъ ихъ, очевидно, недостаточно; нужны доказательства положительныя. А гдѣ ихъ взять?

II.

Объ этомъ позаботились сами писатели „прошлыхъ лѣтъ“. И сказали уже, что для прямого доказательства нужно *искусственно* отдѣлить отъ произведеній старой беллетристики все тѣ *живыя нити*, которыя связывали ихъ съ окружавшею ее современностью. Самой критикѣ было бы довольно затруднительно, если даже не невозможно, произвести эту щекотливую операцію. Чего добраго, ее сейчасъ бы обвинили въ подлогѣ и злонамѣренности. Но, на наше счастье, какой-то спиритъ убѣдиль „убѣленную съдинами“ старицу пристроиться со своимъ забытымъ хламомъ къ современной литературѣ. Правда, старина сперва потѣрилась румянами изъ косметическаго магазина Лѣскова и К^о; дѣло вышло, однако, дрянь. Нарумяненную „дѣву“ (т.-е. якобы дѣву) сейчасъ же узнали и осмѣяли. Она, однако, ни мало этимъ не обезкуражилась. „А, вы думаете, что я и въ самомъ дѣлѣ румянюсь румянами г. Лѣскова и К^о; нѣтъ, —я и безъ румянъ еще недурна! Вотъ посмотрите!“. И, въ самомъ дѣлѣ, глубоко вѣруя въ свою красоту, почтенная старость выставила все свое богатство на литературный рынокъ. Гг. Лажечниковъ и Кукольникъ пополнили въ редакцію г. Хава, г. Писемскій погналъ своихъ „Людей сороковыхъ годовъ“ въ стойло г. Кашпирева, г. Тургеневъ, пропѣвъ себѣ „Довольно“, поплелся, однако, къ г. Стасюлевичу и сталъ осыпая публику своими „художественными перлами“; разныя „темныя личности“, выросшія на старомъ болотѣ и въ 50-хъ годахъ читавшіяся „не безъ удовольствія“, въ родѣ Ольги Н. и Крестовскаго (псевдонима), и онѣ тоже присоединили

в. зеливскій сборн. критич. статей.

свой дѣтскій пискъ къ общему концерту старыхъ запѣвалъ. Началась литературная реставрація. Зачѣмъ? для чего? Неужели только для того, чтобъ доказать, что „почтенная старость“ можетъ обойтись и безъ румянъ? Не знаю, можетъ быть.

Говорятъ, впрочемъ, будто литература есть всегда лишь простое отраженіе жизни, говорятъ, будто жизнь устами „Гражданина“ требуетъ какихъ-то „точекъ“, будто требованіе это оказалось по справкѣ нѣсколько запоздавшимъ... Все это, однако, не имѣетъ для насъ въ настоящую минуту особаго значенія. По тому или по другому, такъ или иначе, но несомнѣнно, что реставрація совершилась и что она вполне соответствуетъ „духу современности“. Опять-таки и для этого у насъ имѣется подѣ руками безспорное доказательство. Г. Звонаревъ знаетъ этотъ „духъ“ наилучшимъ образомъ. Кому жъ и знать, какъ не ему? И что же? Онъ откапываетъ изъ архивовъ своего магазина забытый всѣми романъ гг. Некрасова и Станицкаго и преподноситъ его *третьимъ изданіемъ* почтеннѣйшей публикѣ. Велѣтъ за этимъ, какъ слышно, онъ приготовляетъ новое изданіе „Ивана Выжигина“ и „Коломенской Розы“. Итъ сомнѣнія, что послѣдній романъ будетъ имѣть огромный успѣхъ: онъ имѣетъ рѣшительное преимущество и передъ „И. Выжигинымъ“ и передъ „Тремя странами свѣта“: онъ гораздо короче ихъ, всего-то, кажется, въ двухъ частяхъ. Некрасовъ же вкупѣ со Станицкимъ растянули свои „Три страны“ на цѣлыхъ 8 частей или книгъ. Вотъ вамъ при самомъ началѣ вы уже наталкиваетесь на сравненіе „новой“ беллетристики со „старою“, весьма выгодное для первой. Въ новой беллетристикѣ самымъ *длиннымъ* романистомъ считается, и не безъ основанія, г. Боборыкинъ. Но и самъ г. Боборыкинъ никогда еще, кажется, не покушался итти далѣе *шести* книгъ. Вы, пожалуй, скажете, что это совсѣмъ не прогрессъ, а, напротивъ, регрессъ. Да, правда, цифра регрессируетъ, число частей уменьшается, по развѣ, пропорціоально этому уменьшенію, не увеличивается удовольствіе читателей?

Итакъ, гг. Тургеневъ и Некрасовъ и ихъ издатели— все это люди весьма компетентные по части „духа време-

ни" — единогласно свидетельствуют, что теперь реставрація „неподкрашенной старины" вполне соответствует этому „духу". Но зачѣмъ же, однако, гг. Тургеневъ и Некрасовъ сами себя бичуютъ, зачѣмъ тѣшатся они, при содѣйствіи гг. Звонарева и Стасюлевича, угодиться извѣстной Гоголевской бабѣ въ „Ревизорѣ"? Что касается г. Тургенева, то это, впрочемъ, не особенно удивительно: онъ еще и раньше съ большимъ антономъ фигурировалъ въ этой роли (вспомните его самооплеваніе по поводу Базарова); но г. Некрасовъ, — Некрасовъ, такой деликатный и щепетильный насчетъ своей литературной репутаціи, — Некрасовъ, такъ тщательно изгоняющій изъ изданій своихъ сочиненій все дѣтскія ошибки и старческіе промахи не всегда трезвой музы, — г. Некрасовъ реставрируетъ „Три страны свѣта"! Мы никогда не повѣрили бы этому, если бы не имѣли подъ рукою факта. „Три страны свѣта" лежатъ передъ нами, и, не явись онъ третьимъ изданіемъ, могли ли бы мы насладиться зрѣлищемъ „неподкрашенной старины"?

Но позвольте, — скажутъ мнѣ, — зачѣмъ же вы берете г. Некрасова, какъ одного изъ представителей этой старины? Тургеневъ — ну, это такъ; а Некрасовъ — помилуйте, да кто же его когда-нибудь считалъ за выдающагося романиста „старой беллетристики"?

И я беру его не какъ выдающагося романиста, а какъ романиста зауряднаго, при томъ романиста, не лишеннаго литературнаго таланта и имѣвшаго въ свое время значительный успѣхъ^{*)}, что доказывается тремя изданіями „Трехъ странъ свѣта". Кроме того, этотъ романъ можетъ служить однимъ изъ лучшихъ представителей цѣлаго цикла романовъ „старой беллетристики". Объ общемъ характерѣ этого цикла я скажу ниже: теперь же достаточно будетъ упомянуть, что онъ составляетъ прямую противоположность другому циклу, представителемъ котораго, съ полнымъ правомъ, можетъ быть названъ г. Тургеневъ. Такимъ образомъ, мы

*) Читатель долженъ принять къ свѣдѣнію, что, говоря вездѣ о г. Некрасовѣ какъ объ авторѣ „Трехъ странъ свѣта", я подразумѣваю ту же и г. Ставицкаго, и только ради краткости я употребляю одну фамилию вмѣсто двухъ.

разсмотримъ „неподкрашенную старину“ въ двухъ ея главнѣйшихъ, хотя и весьма различныхъ проявленіяхъ. Правда, въ романѣ г. Некрасова она не совсѣмъ не подкрашена (какъ въ послѣднихъ повѣстяхъ г. Тургенева): въ ней осталось еще нѣсколько жилтокъ, связывавшихъ ее съ окружающею ее современностью: но жилтокъ этихъ такъ мало и онѣ такъ тонки, что ихъ и разсмотрѣть-то трудно: при томъ же разъ онѣ открыты, ихъ очень легко и удобно выбросить вонъ. Въ наше время, когда и пр., онѣ уже не могутъ имѣть ни въ чьихъ глазахъ никакого значенія и ни въ комъ не возбуждаютъ ни малѣйшей иллюзіи.

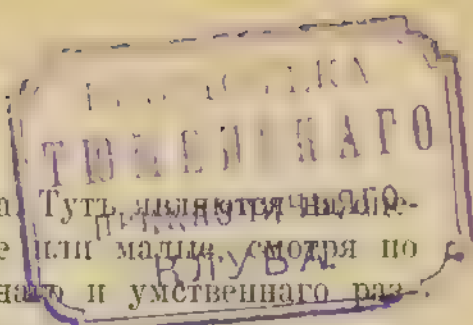
III.

Что же это такія за жилки? Или, говоря проще, чему быть обязанъ *въ свое время* успѣхъ этого давно забытаго романа?

Мнѣ кажется, отвѣтить на этотъ вопросъ весьма не трудно, если вспомнить, *каково было* это время. Объ этомъ *до-реформенномъ* времени теперь уже можно говорить съ нѣкоторою отчетливостью. Одинъ этотъ фактъ лучше всякихъ краснорѣчивыхъ описаній показываетъ, что мы отделились отъ него на весьма значительную дистанцію: а между тѣмъ, и „наше время“ никому не кажется особенно „новымъ“: каково же должно было быть то время, когда и эта дистанція не была еще пройдена!

Выражаясь словами одного изъ героев одной изъ лучшихъ повѣстей г. Гл. Успенскаго — это было время, когда „прижимка“ не только не думала „обмякнуть“, но, напротивъ, повсюду дѣйствовала съ полною силою и съ гордою самоувѣренностью: когда крѣпостное право считалось идеаломъ нашего благополучія, когда русскій человѣкъ, ежеминутно получая зуботычины, не осмѣливался даже спрашивать: а какой резонъ вы имѣете драться? потому что зная напередъ, что, вмѣсто отвѣта, получить новую зуботычину. И это называлось въ то время жить по-человѣчески, любить ближняго, какъ самого себя...

Но чѣмъ тяжелѣе время, переживаемое обществомъ, тѣмъ большимъ оптимизмомъ проникается его литература,



и въ особенноти его беллетристика. Тутъ, дѣйствительно, всѣмъ всевозможные богатыри, великіе или малые, смотря по тому, на какой ступени общественнаго и умственнаго развитія стоитъ общество, какіе интересы его занимаютъ, въ какую сторону направлена его практическая дѣятельность. Въ нашей беллетристикѣ, особенно той, которая предназначалась для усажденія наименѣе интеллигентныхъ классовъ общества (а слѣдовательно, наименѣе счастливыхъ), герой романа всегда представлялся въ видѣ такого богатыря (такъ-называемые *положительные герои*). Мизеренъ и ничтоженъ этотъ богатырь: одѣтъ онъ не въ панцырь и латы, а въ какой-нибудь на-прокатъ взятый фракъ или потасканный старомодный плащъ, или просто въ длиннополый купеческій сюртукъ: не горы онъ сдвигаетъ, не змѣй-чудовищъ побѣждаетъ; нѣтъ, его богатырскіе подвиги состоятъ, главнымъ образомъ, въ томъ, какъ бы деньгу нажить, какъ бы и зубы въ цѣлости сохранить. Однако, если вы вспомните, что повсемѣстная, самая безцеремонная „прижимка“ характеризовала режимъ того времени, то вы поймете, какъ много нужно было труда и усилій, чтобы выйти изъ этой „прижимки“ цѣлымъ. Въ сущности говоря, это было даже невозможно, это была просто утопія. Но чѣмъ идеальнѣе, чѣмъ невѣроятнѣе была эта утопія, тѣмъ умиротворяюще и успокоительнѣе она дѣйствовала на людей того поколѣнія. Имъ пріятно было хоть помечтать о счастливыхъ, не испытанныхъ крѣпостныхъ порядковъ. Уровень идеала, широка утопія всегда служила мѣриломъ уровня общественнаго развитія, широты доступнаго людямъ счастья. Посмотрите же, каковъ былъ этотъ идеалъ, какова была эта утопія.

Нѣкій юноша, образованный, но бѣдный, способный и честный, но легкомысленный и слабохарактерный, влюбляется въ цѣкую „швейку“, прекрасную и добродѣтельную, но тоже бѣдную. И „добродѣтельная швейка“ и „образованный юноша“, вкусивъ достаточное количество плодовъ отъ древа бѣдности, рѣшаются соединиться узами законнаго брака, но не иначе, какъ упрочивъ предварительно свое матеріальное положеніе. Задача при ихъ обстановкѣ довольно трудная; но она усложняется еще болѣе тѣмъ обстоятельствомъ, что

и швейка и юноша желаютъ и „капиталь пріобрѣсти и невинность соблюсти“. Погоревавъ и поплакавъ, они, наконецъ, придумываютъ слѣдующую комбинацію: швейка остается въ Петербургѣ и на одну себя беретъ исключительную обязанность „сохранить невинность“, не думая о пріобрѣтеніи капитала: юноша же отправляется рыскать по свѣту и беретъ на себя исключительную обязанность пріобрѣсти капиталъ, не думая о невинности. Какъ задумано, такъ и сдѣлано: „добродѣтельная швейка“ оберегаетъ въ Петербургѣ свою невинность, „образованный юноша“ въ Новой Землѣ и въ Русской Америкѣ (тогда она, разумѣется, еще не была продана американцамъ) сколачиваетъ капиталъ. Затѣмъ онъ возвращается въ Петербургъ, и капиталъ соединяется съ невинностью. Такимъ образомъ, задача разрѣшается къ удовольствію читателей, никогда не видѣвшихъ въ практической жизни такого счастливаго сочетанія. Но читатель можетъ утѣшиться и не однимъ этимъ. Имъ, людямъ бѣднымъ, загнаннымъ, вдругъ говорятъ, что собственными усиліями можно добиться богатства, т. е. силы, что упорное стремленіе къ цѣли, въ юнцѣ-юнцовъ, всегда приводитъ къ ея достиженію, какъ бы ни были велики препятствія; имъ разсказываютъ о неисчерпаемыхъ запасахъ скрытой энергіи и предпріимчивости, таищихся въ ихъ собственной груди — въ груди русскаго человѣка. Развѣ это не утѣшительно? Правда, эта энергія добывается не болѣе, какъ 50-ти съ небольшимъ тысячъ; правда, эта предпріимчивость нейдетъ далѣе Новой Земли и Русской Америки; правда, „силы“, таищіяся, будто бы, въ груди русскаго человѣка, ограничиваются лишь силою *пассивной выносливости*. — но какъ бы то ни было, а для людей бѣдныхъ, вѣчно унижаемыхъ и оскорбляемыхъ и такая сила, и такая энергія, и такая предпріимчивость должны были казаться чѣмъ-то возвышеннымъ, идеальнымъ. Вы скажете, читатель, что это *возвышенное* слишкомъ мелко, что это *идеальное* слишкомъ пошло, но какова жизнь, таковы и ея идеалы.

Романъ г. Некрасова, утѣшая разныхъ, уже не воображаемыхъ, а действительныхъ *Каютиныхъ, Граблиныхъ, Душиковыхъ, Полинскихъ* и т. п., возвышая въ ихъ собствен-

ныхъ глазахъ цѣнность того единственнаго богатства, которымъ они обладали—способности трудиться, въ то же время выражалъ, хотя и въ слабой, весьма неопредѣленной формѣ, протестъ противъ тогдашнихъ порядковъ. Протестъ былъ еще мизернѣе оптимистическихъ идеаловъ, онъ не шелъ далѣе весьма деликатнаго указанія на мрачныя стороны помѣщичьей власти и безсмысліе помѣщичьяго времяпрепровожденія (см. въ I томѣ главы: *Свадьба*, *Деревенская скука*, во II—седьмую часть, стр. 243—320), на самодурство богатей, развращенныхъ крѣпостнымъ правомъ, въ родѣ Добротина, Кирпичева, на бѣдность и страданія „честныхъ тружениковъ“, въ родѣ Граблина, дяди Полыньки, матери ея, ея самой, Душникова и т. п. Теперь все это должно показаться и слишкомъ старымъ и слишкомъ слабымъ. Но въ то время общее смутное недовольство и въ этихъ, единственно тогда возможныхъ, деликатныхъ указаніяхъ и блѣдныхъ намекахъ могло ридѣть благородный протестъ. Ничего, что рядомъ съ злыми помѣщиками привелись примѣры помѣщиковъ добрыхъ, въ родѣ *Гульчанинова* и *Данкова*, рядомъ съ бѣдняками, вѣчно обиженными, выводятся бѣдняки счастливые и обогащающіеся—все это было лишь послѣдствіемъ неудачнаго сочетанія протеста съ оптимизмомъ. Оптимизмъ не только умѣрялъ, но даже извращалъ протестъ; преувеличивая значеніе личныхъ добродѣтелей человѣка, онъ тѣмъ самымъ низводилъ почти къ нулю значеніе общихъ условій жизни...

Итакъ, слабый протестъ, разведенный на благодушномъ оптимизмѣ,—вотъ, мнѣ кажется, та живая нитка, которая связывала романиста съ его читателями, вотъ что заставило ихъ раскупить два изданія „Трехъ странъ свѣта“, что обезпечило этому роману его кратковременный успѣхъ. Въ наше время и авторскій протестъ и авторскій оптимизмъ не имѣютъ ни малѣйшаго смысла, они уже не производятъ ни малѣйшей иллюзіи, *современность* романа исчезла, и что же осталось? Восемь частей безцвѣтныхъ, скучныхъ правоучивій о награжденной добродѣтели и наказанномъ пороцѣ,—правоученіе, иллюстрированное, ради ваглядности, бумажными арлекинами, долженствующими изображать живыхъ людей.

IV.

Романъ г. Некрасова принадлежитъ къ категоріи романовъ, бьющихъ исключительно на внѣшніе эффекты, на разныя „страсти и ужасы“, отъ которыхъ учителя, по мнѣнію романиста, волосы должны становиться дыбомъ. Въ прежнее время эта категорія романовъ, которую я противопоставлю категоріи романовъ, бьющихъ на психологическія тошкосты, на детальную отдѣлку индивидуальныхъ характеровъ (объ этой послѣдней категоріи я буду говорить въ слѣдующей статьѣ, по поводу г. Тургенева),—эта категорія романовъ была въ большой модѣ. Отчасти причиною тому была неразвитость публики, для услажденія которой писались эти романы, и отчасти самыя ихъ цѣли и задачи. Ихъ цѣлью всегда было изобразить какого-нибудь положительнаго героя, какого-нибудь мизернаго „богатыря“, развить какую-нибудь оптимистическую идею (въ родѣ хоть такой, напримѣръ, что добродѣтель всегда награждается, а порокъ наказывается). Но будничная, прозаическая жизнь представляла слишкомъ неблагоприятную почву для развитія этой невѣстной темы. Ее требовалось предварительно переработать въ горнилѣ творческой фантазіи; только при фантастической обстановкѣ добродѣтель могла торжествовать и порокъ наказываться. Отсюда возникла необходимость уснащать романъ „неожиданными встрѣчами“, неправдоподобными „превращеніями“, эффектными столкновеніями, чудодѣйственными „спасеніями“ и тому подобными театральными вычурами и прикрасами. Въ наше время на всѣ эти театральные эффекты, на всю эту фантастическую переработку дѣйствительности принято смотрѣть съ безусловно-отрицательной точки зрѣнія. Этотъ взглядъ, указывая на паденіе романовъ разсматриваемой категоріи, свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ уменьшеніи оптимистическихъ тенденцій современной литературы. Однако, если въ прежнее время фантастическая переработка дѣйствительности приурочивалась исключительно къ оптимистическимъ цѣлямъ, то нельзя все-таки не видѣть, что это орудіе обоводо-острое, и что его легко можно бы было обратить на служеніе и другимъ,

совершенно противоположнымъ цѣлямъ. Нельзя не видѣть, что, извожая элементъ творческой фантазіи изъ своихъ произведеній, ограничиваясь однообразнымъ фотографированіемъ будничной прозы мѣщанской жизни, современная беллетристика впадаетъ въ скучную монотонность и вполне заслуживаетъ тотъ упрекъ въ безцвѣтности, который часто ей дѣлается. Поэтому, хотя отсутствіе творческой фантазіи и указываетъ на новое направленіе беллетристики, но оно совсѣмъ не вызывается потребностями этого направленія. При господствѣ въ беллетристикѣ *положительнаго героя*, романъ не могъ обойтись безъ ресурсовъ фантазіи: при господствѣ *ироевъ отрицательныхъ*, безъ этихъ ресурсовъ обойтись можно, но *можно* — еще не значитъ *должно*. И, безъ сомнѣнія, если бы фантазія старыхъ беллетристовъ удовлетворяла хотя отчасти условіямъ творческой фантазіи, они имѣли бы рѣшительное преимущество передъ „новыми“, у которыхъ уже совсѣмъ нѣтъ никакой фантазіи. Но на самомъ дѣлѣ этого не было, на самомъ дѣлѣ хотя задачи старой беллетристики требовали отъ беллетристовъ *фантазіи*, какъ неперемѣннаго условія осуществленія этихъ задачъ, однако, у беллетристовъ и тогда оказалось такъ же мало этой способности, какъ оказывается и въ наше время. Только въ наше время скудость творческой фантазіи менѣе рѣжетъ глаза. Чтобы изображать жизнь, *какъ она есть*, при томъ жизнь „мѣщанской среды“, узенькихъ интересовъ, пошленькихъ людичекъ, для этого нужно больше наблюдательности, чѣмъ фантазіи. Но изображать жизнь не совсѣмъ *такъ, какъ она есть*, подцвѣчивать и разрисовывать ее въ интересахъ „утѣшенія и успокоенія“, или вообще въ интересахъ какой бы то ни было тенденціи, для этого уже *фантазія* совершенно необходима. А между тѣмъ, ея-то и не было въ наличности. Романъ „Три страны свѣта“, безспорно, лучший представитель категоріи романовъ, „бьющихъ на виѣшніе эффекты“. Онъ написанъ не какимъ-нибудь литературнымъ ремесленникомъ, въ родѣ Кукольниковъ, Загоскина, Булгарина и имъ подобныхъ. Нѣтъ, онъ написанъ, если и не цѣлкомъ, то, по крайней мѣрѣ, при сотрудничествѣ одного изъ талантливыхъ представителей со-

временной литературы, одного изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ. А ужъ если у поэта нѣтъ фантазіи, то, согласитесь, у кого же ей быть? Полюбуйтесь же, читатель, на эту *фантазію*.

Общая фабула и тенденція романа намъ уже извѣстны; посмотримъ же теперь, какъ развивается эта фабула въ деталяхъ.

По смыслу фабулы романъ самъ собою распадается на двѣ части: въ одной повѣствуется о томъ, какъ „добродѣтельная швейка“ свою невинность охраняла; въ другой—какъ образованный юноша капиталъ наживать. Похожденія юноши разукрашены „бурами въ Ледовитомъ океанѣ“, „битвами съ киргизами“, „зимовкою въ Новой Землѣ“; къ нимъ прилетены (и замѣтимъ въ скобкахъ, „ни къ селу, ни къ городу“) „похожденія русскихъ въ Камчатку и въ Руской Америкѣ“: однимъ словомъ, авторъ не пощупился на всякія „ужасы и страсти“, чтобы только заинтересовать читателей своимъ героемъ и заставить ихъ безъ скуки слѣдить за несложными метаморфозами его счастливой судьбы. Но—увы!—благодѣтельные старанія автора ни мало не увеличиваются успѣхомъ. Вы читаете—и зѣваете, неудержимо зѣваете. „Бури“ не производятъ ни матѣйнаго эффекта, и „льдины“, „сталкивающіяся съ потрясающимъ грохотомъ“, ни мало васъ не потрясаютъ. Вы только чувствуете, что отъ всѣхъ этихъ страшныхъ описаній, действительно, вѣетъ ледянымъ холодомъ. Вамъ невольно припоминаются учебники географіи, которые вы съ остервенѣніемъ зубрили въ дѣтствѣ,—старыя путешествія, которыя вы когда-то читали. Вы спрашиваете себя: зачѣмъ повадился автору всѣ эти „бури и льдины“, всѣ эти Камчатки и Новая Земля? Очевидно, что онъ дѣлаетъ выписки изъ какого-то стараго, заброшеннаго путешествія; но скопированное путешествіе можетъ ли производить эффектъ художественной картины? А между тѣмъ, буря въ Ледовитомъ океанѣ, суровая природа Новой Земли, жизнь въ дикой Камчаткѣ, набѣги прикаспійскихъ киргизовъ—какія богатые и благодарныя темы для художника! Обладай онъ хоть сколько-нибудь творческою фантазіею,—какія величественныя и потрясающія картины онъ могъ бы намъ представить! Самый

плоховикій англійскій или французскій романистъ сумѣлъ бы расшевелить ими нервы своихъ читателей; а романистъ русскій наводитъ только скуку. Почему? Да потому, что мы можемъ тогда только волноваться „бурами на Ледовитомъ океанѣ“, природою Новой Земли и т. п., когда романистъ сумѣетъ поставить насъ, хоть на минуту, въ положеніе людей, очутившихся зимою на Новой Землѣ, и въ бурю на Ледовитомъ океанѣ. Но чтобы достигнуть такого эффекта, чтобы произвести такую художественную иллюзію, для этого авторъ долженъ самъ предварительно пережить чувства, волнующія этихъ людей. Это не значитъ, конечно, что ему самому нужно побывать и въ Новой Землѣ и на Ледовитомъ океанѣ во время бури. Нѣтъ, психическое состояніе чловека, застигнутаго бурей въ океанѣ, или зимою на Новой Землѣ, складывается изъ цѣлаго ряда разнообразныхъ психическихъ ощущеній; эти ощущенія или ощущенія, по своей природѣ аналогичныя имъ, могутъ быть вызываемы и при иныхъ условіяхъ, ихъ могутъ возбуждать и иныя обстоятельства, лишь бы только они имѣли что-либо общее съ обстоятельствами „бури“ и „зимовки“ на Новой Землѣ. Если авторъ испытывалъ подобныя ощущенія, если они ярко запечатлѣлись въ его памяти, ему не трудно будетъ обобщить ихъ въ ту или другую психическую комбинацію, создать изъ нихъ мысленно то или другое психическое состояніе; и это обобщеніе всегда будетъ производить на него, а потому и на насъ, эффектъ живого, конкретнаго, реальнаго чувства.

Почему же русскому романисту почти никогда не удается создавать обобщенія, производящія такой эффектъ? Мнѣ кажется, это происходитъ отъ общихъ условій нашей жизни: жизнь представляетъ слишкомъ мало поприща для разнообразной дѣятельности, а слѣдовательно, и для разнообразныхъ душевныхъ волненій, психическихъ ощущеній. Матеріаль, доставляемый ею нашей мысли и нашему чувству, слишкомъ однообразенъ; онъ дѣйствуетъ на нашъ умъ скорѣе *усытительно*, чѣмъ *возбудительно*; привычка къ безпечной жизни, къ тупому, равнодушному отношенію къ явленіямъ окружающей насъ дѣйствительности, привычка, взлелѣянная въ насъ цѣлымъ рядомъ историческихъ условій, лишаетъ насъ

способности глубоко проникаться вѣшними впечатлѣніями и живо сохранять ихъ въ своей памяти. На самомъ, повидимому, потрясающіе факты мы смотримъ съ холоднымъ равнодушіемъ, спокойно разсуждаемъ и плоско шутимъ тамъ, гдѣ люди, боѣ насъ чувствительные, выходили бы изъ себя отъ отчаянія, ужаса и негодованія.

При такой психической пассивности, что удивительнаго, если наши романисты —плоть отъ плоти нашей, рѣшительно не въ состояніи перевестись въ положеніе людей, вынужденныхъ силою обстоятельствъ испытывать *сильныя ощущенія*, глубокія потрясенія? Мнѣ кажется, обратный фактъ бытъ бы гораздо удивительнѣе. Неспособные всецѣло проникаться и рельефно запечатлѣвать въ своей памяти психическія волненія, не только своихъ близкихъ, но даже свои собственные, наши романисты даютъ намъ лишь блѣдные очерки этихъ волненій, а потому и изображаемыя ими картины разныхъ „ужастей и страстей“, начиная отъ бурь въ „Ледовитомъ океанѣ“ и кончая „бурами“ въ лакейскихъ переднихъ, не производятъ на насъ желаемаго эффекта: мы смѣемся или зѣваемъ. И мы имѣемъ полное право такъ поступать. Вотъ, напр., въ „исторіи Горбуна“ г. Некрасовъ тщится изобразить передъ нами, какъ крѣпостное право искажало и уродовало (не только въ метафорическомъ смислѣ слова, но и въ буквальномъ) человека, поставленнаго въ зависимость отъ произвола помѣщика-самодура. Много тутъ собрано ужасовъ, страстей и неожиданностей. Но все эти ужасы, страсти и неожиданности производятъ на насъ такое же впечатлѣніе, какое производятъ заурядныя, газетныя корреспонденціи, повѣствующія о разныхъ поджогахъ, убійствахъ, подлогахъ и всякихъ другихъ правонарушеніяхъ, предусмотрѣнныхъ въ уложеніи о наказаніяхъ. Во всей исторіи нѣтъ ничего особенно неправдоподобнаго, даже ничего выходящаго изъ общаго склада „старо-помѣщичьей жизни“. Вы всему готовы вѣрить, вы несколько не сомнѣваетесь, что помѣщикъ Брончевскій, принявъ съ дворовой „дѣвкой“, Натальей, сына, женился на сосѣдней помѣщицѣ, что Наталью согнали со двора, и что ее вмѣстѣ съ сыномъ гнали и преслѣдовали, что она преждевременно умерла, а у сына выросъ горбъ, что

озлобленный „горбунъ“ могъ поджечь барскую усадьбу и т. д. и т. д. Все эти факты вы допускаете, но вы пробѣгаете ихъ совершенно равнодушно, ни одинъ изъ нихъ не вызоветъ передъ вашими глазами яркой картины пережитыхъ невзгодъ крѣпостного времени.

Если уже такія потрясающія событія, какъ бури на Ледовитомъ океанѣ, и дикія, хотя и заурядныя проявленія крѣпостного права, создававшего каждый день, каждую минуту, на каждомъ шагѣ новую драму, новыя „ужасы и страсти“: если самые поразительные факты суровой природы и безобразной дѣйствительности не разжигаютъ творческой фантазіи поэта, — то можетъ ли что сдѣлать будничная, приглаженная, вытощенная проза петербургской жизни? Конечно, нѣтъ. Только выработанная и развитая творческая фантазія могла бы найти здѣсь подходящій для себя матеріалъ.

Но когда такой фантазіи, съ одной стороны, не имѣется, а съ другой, — она требуется задачами романа, то что тутъ дѣлать автору? У него есть одинъ только исходъ — прибѣгнуть къ помощи той человѣческой способности, которая, обыкновенно, служитъ суррогатомъ фантазіи и которую часто даже и принимаютъ за послѣднюю, къ способности — врать и горорить нелѣпости, не смущаться ни требованіями здраваго смысла, ни условіями реальной дѣйствительности. Можетъ быть, эта способность и дѣйствительно есть грубый, элементарный зародышъ фантазіи, въ истинномъ смыслѣ этого слова; можетъ быть, ее тоже слѣдуетъ назвать (какъ это и дѣлается въ общежитіи) *фантазією*. Но только эта зародышевая фантазія точно такъ же относится къ нормальной фантазіи, какъ зародышевая память, та память, которая способна запоминать лишь отрывочные, конкретные факты, безъ всякой между ними связи, и рѣшительно неспособна группировать и обобщать ихъ, — какъ эта память относится къ нормальной человѣческой памяти. Одинъ знаменитый англійскій психіатръ называетъ такую память — *памятью идіота*; точно такъ же и на тѣхъ же основаніяхъ, соответствующую ей фантазію можно назвать *фантазією идіота*. Если нормально развитая фантазія соединяетъ въ цѣлостныя кар-

тины разнообразныя образы, составленные изъ прошлыхъ впечатлѣній, обобщая *подобное*, выдѣляя *исключное*, и подводя конкретное разнообразіе къ внутреннему единству, то, напротивъ, фантазія идіота ограничивается лишь однимъ вѣтхимъ безпорядочнымъ сопоставленіемъ отрывочныхъ представленій, ни мало не заботясь о приведеніи этого случайнаго сопоставленія въ гармонію и соответствіе съ условіями окружающей человѣка дѣйствительности. Оттого продукты этой фантазіи всегда отличаются крайнею пелѣпостью и безалаберностью, не говори уже о ихъ неправдоподобности. Они неспособны возбудить въ насъ ни малѣйшей иллюзіи, неспособны заставить насъ, хоть на минуту, принять вымыселъ за реальную, живую дѣйствительность, слушая или читая ея измышленія, мы не очаровываемся и не обманываемся; въ лучшемъ случаѣ, мы только смѣемся; но обыкновенно мы просто говоримъ: „эхъ, вретъ-то человѣкъ!“ и спокойно перестаемъ его слушать или закрываемъ книгу.

V.

Такою именно *фантазіею* обладаетъ и авторъ „Трехъ странъ свѣта“. Правда, гдѣ можно, онъ обходится безъ ея рессурсовъ; мы уже указали на эти случаи; но гдѣ безъ творческой фантазіи нельзя обойтись, онъ охотно прибѣгаетъ къ самымъ дикимъ измышленіямъ. Вся та часть (или, правильнѣе говоря, нѣсколько частей) романа, мѣсто дѣйствія которой — Петербургъ, и которая посвящена по преимуществу „кознямъ“ Горбуна противъ Полиныкиной невинности и „заключеніямъ“ Полиныки, оберегающей свою невинность отъ этихъ козней, — вся эта часть романа переполнена сцѣпленіями самыхъ пелѣпыхъ и невозможныхъ событій. Пересказывать все эти небылицы въ лицахъ было бы скучно, да и не совсѣмъ деликатно относительно читателей: любой дубочный романистъ, въ родѣ вѣчной памяти Булгарина или Зотова, не сочинитъ ничего глупѣе и безтолковѣе. Но чтобы мой отзывъ не показался слишкомъ голословнымъ, я приведу, для примѣра, хоть одинъ небольшой эпизодъ.

„Злой“ и „сластолюбивый“ Горбунъ воспылатъ любовью къ „добродѣтельной швейкѣ“, приходившей къ нему какъ-то занимать деньги подъ залогъ вещей. Горбунъ начинаетъ приставать къ ней съ ухаживаніемъ, но когда ухаживанье не ведетъ къ желанному результату, онъ атакуетъ ея неприступную невинность болѣе прямымъ способомъ: при содѣйствіи хозяйки Полтинькиной квартиры, которая запираетъ на ключъ дверь атакованной жертвы. Однако, „добродѣтельная швейка“ обладала не только добродѣтелью, но и нѣкоторою физическою силою; благодаря этому обстоятельству, атака не увѣчалась успѣхомъ, и Горбунъ со стыдомъ долженъ былъ обратиться вспять, а Полтинька только слегка оцарапала себѣ руку о разбитое стекло. Само собою понятно, что такая неудача не потушила, а еще болѣе разпалила страсть „злбнаго“ Горбуна. Онъ пустился теперь на хитрости: сталъ увѣрять „швейку“, что женихъ ея, отправившійся отыскивать капиталъ, измѣнилъ ей; осмалъ ее письмами и преслѣдовалъ ее на улицѣ, какъ тѣнь. Но упорная швейка не поддавалась: письма она отсылала своему воздыхателю нераспечатанными, а на улицѣ бѣгала отъ него, какъ воронка отъ будочника. Наконецъ, хитрость восторжествовала надъ добродѣтельною, но неумѣренно-глупою невинностью. Горбуну удалось заманить швейку въ свое „логовище“,—да, это былъ не простой домъ, не обыкновенная квартира петербургскаго обывателя, а логовище какого-то лѣснаго звѣря. Послушайте-ка. „Куда же мы прѣехали?“ спросила Полтинька, осторожно ступая по какой-то скользившей доскѣ за своимъ вожатымъ. „Они вошли въ сѣни, потомъ, отворивъ какую-то дверь, снова поднялись по лѣстницѣ и, наконецъ, очутились въ длинномъ и темномъ коридорѣ. Шаги ихъ печально раздавались въ тишинѣ. Сырой, душлимый воздухъ, паутина, которую Полтинька чувствовала на своемъ лицѣ,—все показывало, что люди были здѣсь рѣдкіе гости (каково!). Полтинькѣ опять стало страшно, и, схвативъ артельщика за руку, она робко спросила: „Да куда же мы идемъ?“. Затѣмъ ее, какъ волгитя, втокнули въ какую-то комнату, совершенно темную. „Вдругъ комната отворилась—и ужасъ ни съ чѣмъ несравнимый охватилъ душу несчаст-

ной дѣвушки; въ противоположной двери показалась горбатая фигура со свѣчей въ рукѣ. Полинька хотѣла вскрикнуть, но голоса не достало, и она стояла неподвижно, не сводя своихъ черныхъ, прекрасныхъ глазъ, обезумленныхъ ужасомъ, съ Горбуна... И точно, фигура его могла не двигаться въ эту минуту. Онъ былъ блѣденъ, но губамъ его пробѣгала судорожная улыбка, тогда какъ глаза сохраняли выраженіе неумолимой жестокости; грудь его высоко поднималась, и рука, державшая подсвѣчникъ, дрожала. Медленно и плавно сталъ онъ подвигаться впередъ, поводя свѣчей и глазами вокругъ комнаты. Что же Полинька? „Съ отвращеніемъ отшатнувшись при его приближеніи, она слабо вскрикнула и упала... въ объятія Горбуна“ (т. I, стр. 204). Впрочемъ, не беспокойтесь, все кончится благополучно. Очнувшись отъ обморока, добродѣтельная швейка увидѣла себя въ комнатѣ великолѣпно убранной. „Вездѣ былъ штофъ, занавѣски съ кистями и бахромой, столы и стулья стариннаго фасона, съ позолотой, зеркала снизу доверху: стѣны были увѣшаны огромными картинами въ золотыхъ рамахъ. На столѣ стоялъ старинный канделябръ: нѣсколько восковыхъ свѣчей ярко освѣщали комнату. Мебель была ужъ слишкомъ массивна и шла скорѣе къ залу какого-нибудь замка“ (стр. 311). Явился Горбунъ. Онъ сталъ сначала уговаривать, старался затронуть добродѣтельное сердце швейки съ различныхъ сторонъ. Онъ предлагалъ ей вступить съ нимъ въ законный бракъ, обѣщая за это спасти отъ банкротства и тюрьмы мужа ея подруги, онъ старался разжалобить ее своею любовью и, наконецъ, рѣшился соблазнить своими богатствами. Онъ повелъ Полиньку въ комнату, сверху до-низу наполненную всевозможными богатствами. На полкахъ стояли серебряныя вазы, канделябры, кубки, бронзовые часы разной величины: сундуки были набиты серебромъ, штофомъ, парчами, кольцами, браслетами, брильянтами и т. п. Даже глупенькая Полинька, при видѣ такого баснословнаго богатства, на время забыла о своей добродѣтели: „ей пришли на умъ старыя волшебныя сказки: она улыбнулась и пожалѣла, что Горбунъ не можетъ превратиться въ какого-нибудь красиваго рыцаря“ (стр. 317).

Горбунъ, разыгрывая бѣса-искусителя, вскричалъ: „Возьмите, возьмите! это ваше, это ваше все, что вы тутъ видите. У меня много еще денегъ... онѣ тоже ваши. А черезъ годъ или два я еще столько же вамъ принесу. Возьмите, возьмите все!“. И какъ онѣ были добродѣтельны,—Боже мой, какъ онѣ были добродѣтельны! Можете себѣ представить: Подишка всѣми соблазнами пренебрегла и осталась тверда, какъ камень. Горбунъ,—какъ это обыкновенно дѣлается въ дѣтскихъ сказкахъ,—заперъ „прекрасную упряницу“ въ одну изъ свѣтлицъ своего замка и общалъ черезъ день прійти за отвѣтомъ. Но Подишка, разумѣется, чудодѣйственнымъ образомъ, черезъ крыши и заборы, улетѣла изъ своей тюрьмы, пошла къ какой-то также добродѣтельной—хотя и не слишкомъ—доскутницѣ, которая оказалась впоследствии близкимъ другомъ ея матери и бывшей любовницей ея умершаго дяди. Въ качествѣ материннаго друга и дядиной любовницы, доскутница много содѣйствовала охраненію и спасенію цѣломудренной швейки; но это содѣйствіе повадилось, впрочемъ, не теперь, а только въ слѣдующихъ частяхъ: въ „роковую ночь“ Подишка лишь переночевала подъ гостепріимнымъ кровомъ материннаго друга, а на утро благополучно добралась до Струнникова переулка (на Петербургской сторонѣ), гдѣ она, въ качествѣ швейки, жилище имѣла. Этимъ и кончились ея *ночныя злосключенія*, и затѣмъ начались злосключенія утреннія, дневныя и вечернія, но я уже не стану беспокоить ими читателя. Изъ приведеннаго отрывка и безъ того уже ясно, съ какого рода фантазіею мы имѣемъ дѣло и какую „художественную правду“ можемъ мы найти въ дальнѣйшихъ похожденияхъ „злбнаго Горбуна“ и добродѣтельной швей. Въ современной беллетристикѣ даже такое умышленное и нравственное убойство, какъ Всеволодъ Крестовскій, и тотъ стоитъ въ *этомъ* случаѣ несравненно выше авторовъ „Трехъ странъ свѣта“. И въ его вымыслахъ (принадлежащихъ тоже къ разряду продуктовъ *фантазии ибюта*) больше правдивости, больше жизни и конкретной рельефности, чѣмъ въ нелѣпыхъ сказкахъ компаніи, сочинившей „Три страны свѣта“.

VI.

Въ романахъ, къ числу которыхъ принадлежать „Три страны свѣта“, нечего искать художественной отдѣлки характеровъ. Грубо приуроченные къ какой-нибудь предвзятой идее, они пользуются человѣческими фигурами лишь для нагляднаго иллюстрированія и доказательства этой идеи. Но такъ какъ *идею* можно развивать только съ помощью идей же, то человѣческія фигуры имѣютъ для романиста значеніе лишь простыхъ *знаковъ идей*. Каждая фигура воплощаетъ въ себѣ одну, двѣ, три какихъ-нибудь идей и этимъ воплощеніемъ исчерпывается вся ея роль. Такимъ образомъ, романъ наполняется мертвыми машинами, ходящими, говорящими и думающими, но только *повидимому*. Въ сущности, въ качествѣ простыхъ машинокъ, онѣ вполне неспособны совершать все тѣ сложныя операціи, изъ которыхъ слагается жизнь живого человѣка. Въмѣсто нихъ, ходитъ, говоритъ, думаетъ и т. п. *чортики*, котораго всадить въ нихъ романистъ. Этотъ чортикъ — воплощенная ими идея. Она всецѣло и безусловно распоряжается бѣдными машинками. Если бы въ этихъ машинкахъ была хоть какой-нибудь признакъ жизни, если бы онѣ хоть сколько-нибудь походили на реальныхъ людей изъ плоти и крови, то ихъ можно бы было принять за больныхъ, одержимыхъ такъ-называемою *folie raisonnée* или *mania sine delirio*. Посмотрите хоть на ту же Полиньку изъ „Трехъ странъ свѣта“: вся ея жизнь, все ея мысли, все ея движенія сводятся къ любви и охраненію невинности въ отсутствіе любимаго предмета. Кромѣ любви къ Каютину и охраненія невинности, у нея нѣтъ никакихъ другихъ интересовъ, никакихъ другихъ цѣлей: отнимите у нея эту любовь и эту невинность — и у нея ничего не останется, она превратится въ пулъ, въ „небытіе“, у васъ не сложится объ ней никакого представленія, даже самаго смутнаго и блѣднаго. То же самое случится и съ героемъ романа — Каютинымъ, если вы отнимите у него любовь къ „добродѣтельной швейцаркѣ“. Только одна эта любовь даетъ смыслъ его существованію: безъ нея онъ точно такъ же превратится бы въ „небытіе“. Она, эта „чистая

любовь", возбуждасть въ немъ стремленіе къ „накопленію богатствъ“, гонить его изъ Петербурга на Волгу, съ Волги въ Новую Землю, съ Новой Земли къ Каспійскому морю, съ Каспійскаго моря въ Русскую Америку, а изъ Русской Америки снова приводитъ въ Струнинковъ переулокъ—въ объятія невинной швейки. Конечно, средне-вѣковые рыцари тоже не мало рыскали ради поцѣлудя „дамы сердца“, но вѣдь они дѣлали и кое-что другое: кромѣ интереса любовныхъ похощеній, у нихъ были кое-какіе и другіе интересы. А у нашего рыцаря съ Петербургской стороны, кромѣ Подлинки, нѣтъ, что называется, ні їіі, ні їіі, ні поі. Впрочемъ, можетъ быть, и есть, потому что въ противномъ случаѣ ему пришлось бы, вѣроятно, отправиться не въ Новую Землю и не въ Русскую Америку, а въ страны хотя и не менѣ теплыя и не менѣ близкія, но зато гораздо менѣ приспособленныя къ „торговымъ промысламъ“. Но мы дѣлаемъ это предположеніе единственно только въ интересахъ правдоподобія, хотя самъ авторъ не даетъ намъ на то ни малѣйшаго основанія. Все, что мы знаемъ отъ него о героѣ его, сводится лишь къ тому, что герой любитъ Подлинку, страстно желаетъ соединиться съ ней вѣчнымъ и неразрывнымъ союзомъ; далѣе мы узнаемъ, что онъ нѣсколько легкомысленъ и „очень хорошъ собою“. Затѣмъ о всемъ прочемъ предоставляется догадываться самому читателю.

Такимъ образомъ, и добродѣтельная швейка и образованный юноша, за вычетомъ изъ нихъ взаимной, „чистой любви“, превращаются въ призраки, не имѣющіе ничего общаго съ реальными людьми,—въ призраки неосозаемые и неуловимые. Романистъ вызвалъ ихъ изъ царства тѣней, чтобы, съ ихъ помощью, доказать основную мысль своего романа: „чистая любовь“ всегда и все преодолеваетъ и надъ всемъ торжествуетъ; она даетъ силу и капиталъ приобрести и невинность сохранить: она укрѣпляетъ человека въ борьбѣ съ жизнью и ведетъ его, въ концѣ-концовъ, къ высшему земному счастью—счастливому браку и богатству. Вотъ эту-то утѣшительную мысль онъ и воплотилъ, ради наглядности, въ своихъ герояхъ; весь ихъ смыслъ и все ихъ значеніе исчерпывается задачею этого воплощенія. Дурно или

хорошо выполнили они свою задачу, здѣсь, разумѣется, нѣтъ надобности говорить. Само собою понятно, что ребяческую мысль можно и доказывать только ребяческимъ образомъ: разбирать эти доказательства было бы тоже чистымъ ребячествомъ.

Счастливы романисты разбираемой нами категоріи, когда имъ приходится воплощать въ своемъ героѣ лишь *одну* какую-нибудь мысль. Тутъ, по крайней мѣрѣ, хотя и нагонись тоску на читателя, но зато избѣгнешь упрека въ непоследовательности. Но вотъ бѣда: иногда имъ вздумается сдѣлать изъ героя—воплотителя не одной, а двухъ, даже трехъ, и нерѣдко, совершенно противоположныхъ идей. Характеръ выходитъ разнообразіе—это правда; съ перваго взгляда онъ даже какъ будто имѣетъ нѣкоторое сходство съ характерами живыхъ людей. Но, въ сущности, это только обманъ зрѣнія; при ближайшемъ разсмотрѣніи, онъ оказывается сплетеніемъ самыхъ дикихъ и неправдоподобныхъ нелѣпостей.

Такимъ именно и является характеръ Горбуна. Горбунъ, если и не герой, то, во всякомъ случаѣ, главное дѣйствующее лицо романа: безъ него Подлиныхъ пришлось бы очень плохо, потому что отъ кого же бы она стала защищать свою невинность? Горбунъ играетъ роль бѣса-искусителя, карателя, злодѣя и, наконецъ, служитъ нагляднымъ доказательствомъ той истины, что зло рано или поздно, но непременно наказывается. Но этимъ еще не исчерпывается его амплуа: онъ же долженъ выражать собою нѣкоторый протестъ противъ крѣпостного права. Впрочемъ, протестъ этотъ совершенно сглаживается и затирается его горбомъ: изъ протестанта, созданнаго крѣпостными порядками, авторъ превращаетъ его въ протестанта, созданнаго физическимъ уродствомъ. Конечно, это гораздо благонамѣреннѣе, только.. это уже слишкомъ старо, даже и для 50-хъ годовъ.

Мы знаемъ уже, что Горбунъ былъ побочный сынъ нѣкоего богатаго помѣщика, прижившаго его съ своею дворовою дѣвушкой; мы знаемъ также, что дѣвушка, какъ это обыкновенно водилось, была прогнана съ барскаго двора, а помѣщикъ женился на своей сосѣдкѣ-помѣщицѣ. Разумѣет-

ся, мальчику, подвергнутому остракизму вмѣстѣ съ матерью, жилось плохо; надъ нимъ смѣялись, его обижали; падшая любовница не могла рассчитывать на снисходительность двора, особенно когда дворянка замѣтила, что главная ключница новой барыни, старая и злая Матрена, ненавидитъ бывшую фаворитку; но такъ какъ мучить ребенка было легче и удобнѣе, чѣмъ мать, то маленькій Добротинъ (такую ему дали фамилію) и былъ превращенъ въ козлице искупленія за материнскіе грѣшки. Одного этого было бы достаточно, даже безъчуждѣ достаточно, чтобы испортить мальчика, развить въ немъ злыя инстинкты и сдѣлать изъ него въ будущемъ озлобленнаго и безсердечнаго эгоиста. Но авторъ не удовольствовался этимъ: онъ заставилъ „старую и злую“ Матрену уронить ребенка съ лѣстницы; благодаря этому обстоятельству, у ребенка выросъ горбъ. Разумѣется, надъ маленькимъ горбуномъ стали еще больше смѣяться; надъ нимъ смѣялись не только тогда, когда онъ былъ маленькимъ, но и когда онъ сдѣлался взрослымъ. Эстетическое чувство людей возмущалось его уродствомъ, и бѣдный уродъ, презираемый и унижаемый, чѣмъ больше росъ, тѣмъ глубже проникался безсильною злобою и ненавистью къ людямъ. „Ужъ только подрасту.—грозила онъ, — я имъ задамъ!“ Безсильная злоба всегда вырождается въ хитрость и лицемеріе. Горбунъ, затанъ чувство мести, подобострастно заискивалъ передъ „сильными міра“. Онъ вкрался въ милость къ молодому *барчонку*, законному сыну его отца, забавлялъ его сказками, когда барчонокъ ходилъ еще въ рубашечкахъ; сталъ участвовать въ его шалостяхъ, когда барчонокъ надѣлъ курточку; а когда у барчонка прорѣзался усъ, онъ помогать ему въ любовныхъ шашняхъ съ дочерью экономки. Любовныя шашни открылись, барчонку могло сильно достаться отъ строгой матери, горбунъ принялъ все на себя: это не барчонокъ, а онъ, горбунъ, завелъ любовныя шашни. Строгая барыня обвиняла его на его мнимой любовницѣ. Горбунъ, — едва только почувствовать, что въ его рукахъ судьба живого человѣческаго существа, что власть его надъ этимъ существомъ безгранична и безконтрольна, — сейчасъ же начинаетъ вымещать на немъ все, что онъ терпѣлъ

и терпитъ отъ окружающихъ его людей. Онъ мучить свою жену до такой степени, что она, беременная, убѣгаетъ отъ него къ своимъ родственникамъ. На дорогѣ, въ какомъ-то уѣздномъ городишкѣ, она рождаетъ сына и умоляетъ акушерку скрыть его отъ отца, потому что отецъ „такой злодѣй, что убьетъ его, пожалуй“. Когда горбунъ отыскалъ свою жещу, она уже была трупомъ, а сынъ былъ подкинутъ къ нѣкому добродѣтельному помѣщику, по имени Тульчинову. Убивъ жену, онъ продолжалъ свои подвиги въ роли „лицемѣрнаго злодѣя“. Барчонокъ самъ сталъ баринномъ, горбунъ—его довѣреннымъ лицомъ и управляющимъ его имѣніями; въ качествѣ „довѣреннаго лица“, онъ развращалъ барина и поощрялъ его мотовство; а въ качествѣ „управляющаго“, обиралъ его. Игра кончилась такъ, какъ ей и слѣдовало кончиться: баринъ разорился и былъ убитъ въ Италіи на дуэли; горбунъ обогатился, переѣхалъ въ Петербургъ, сдѣлался ростовщикомъ и прижималъ бѣдныхъ и богатыхъ, сколько только хватало силъ. „Въ Петербургѣ,—говоритъ авторъ,—душа его черствѣла не по днямъ, а по часамъ, и скоро уснула глубокимъ сномъ“ (т. II, стр. 319). Прекрасно; до сихъ поръ, нѣтъ еще никакой нечеловѣчности: горбунъ неправо воплощаетъ собою идею *человѣко-ненавистничества*, хотя, по правдѣ сказать, его чело-вѣко-ненавистничество имѣетъ весьма невинный характеръ, и не идетъ далѣе продѣлокъ самаго зауряднаго мазурика. Но я сказалъ уже, что авторъ сдѣлалъ его воплощеніемъ не одной идеи, а двухъ и, къ несчастію, совершенно противоположныхъ. вмѣстѣ съ чело-вѣко-ненавистничествомъ авторъ всунулъ въ свою горбатую машинку нѣжное и любвеобильное сердце. Когда онъ узнаетъ, что книгопродавецъ Кирпичниковъ, котораго онъ разорилъ и довелъ до долгового отдѣленія,—его сынъ, онъ чувствуетъ внезапно такой приливъ родительской нѣжности, что готовъ сейчасъ же отдать ему все свое состояніе. Въ любви къ женѣ своего бывшаго помѣщика, Сарѣ, и потомъ къ Полинкѣ, онъ обнаруживаетъ столько страсти, самоотверженія и великодушія, и такое удивительное постоянство, что, право, на этомъ поприщѣ съ нимъ могутъ развѣ посоперничать какіе-нибудь средне-вѣ-

ковые рыцари, а уже никакъ не мы—„бѣдные пасынки“ съ-верхой природы. Конечно, эта любовь имѣла чисто-животный характеръ, но все-таки она была его *страстью*, подчинявшею себѣ всецѣло всю его жизнь. Но точно такія же права предъявляла на эту жизнь и другая его страсть—человѣко-ненавистничество. Повидимому, между двумя противоположными отраслями, между двумя демонами его души, должна бы начаться непримиримая вражда. Эта вражда, проникая все его мысли, чувства и поступки, должна была бы наложить свою печать на его характеръ. Характеръ, вѣчно путающійся въ противорѣчіяхъ своихъ инстинктовъ и стремленій, представляетъ крайне трудную и сложную задачу для художественнаго синтеза. И разумѣется, если бы въ горбу-нѣ гг. авторы разбираемаго нами романа имѣли намѣреніе нарисовать живого человѣка, то для насъ было бы весьма важно и интересно знать, какъ они справились бы со своею задачею. Но такого намѣренія они, очевидно, не имѣли, и потому съ нашей стороны было бы странно и не деликатно навязывать имъ какія бы то ни было психологическія или художественныя задачи. Ни о какой внутренней борьбѣ, ни о какихъ психическихъ противорѣчіяхъ они знаютъ ничего не знаютъ. Для нихъ характеръ Горбуна не представляетъ ни малѣйшей сложности: два враждебные демона уживаются въ его сердцѣ весьма дружелюбно; они нисколько не стѣсняютъ другъ друга, и каждый дѣйствуетъ вполне самостоятельно. Когда приходитъ чередъ дѣйствовать демону любви, Горбунъ любить и только любить; когда наступаетъ часъ демона ненависти, Горбунъ ненавидитъ и только ненавидитъ. Это очень просто. А что касается до психологической правды, то авторы на нее не претендуютъ. Имъ нужно только, чтобы каждое лицо воплощало какую-нибудь идейку, *единичную* или *парную*, смотря по требованіямъ ихъ беллетристическаго гранъ-пасьянса, а до всего прочаго имъ нѣтъ никакого дѣла. Слѣпенская старушка, убивающая свою скуку за безконечными пасьянсами, нисколько не заботится о художественной отдѣлкѣ своихъ картъ; для нея важно только ихъ условное значеніе. Вотъ эта карта означаетъ даму, эта— короля, а дѣйствительно ли походятъ изображенныя на

нихъ фигуры на живыхъ дамъ и королевъ, слѣпенькой старушкѣ—это все равно. Гг. Некрасовъ и Станицкій находятся именно въ положеніи этой старушки. Ихъ длинный, длинный грань-пасьянсъ, какъ и всякій грань-пасьянсъ, определяется не художественнымъ достоинствомъ картъ, а ихъ относительнымъ положеніемъ. Они это знаютъ, и мы это знаемъ: значитъ, насчетъ художественной отѣлки характеровъ здѣсь и упоминать не стоитъ.

VII.

А между тѣмъ, повторю опять, авторы (по крайней мѣрѣ, одинъ изъ нихъ) не лишены литературнаго таланта, и въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ приходится не *создавать* характеры, а просто *срисовывать*, они показываютъ намъ не куклы, набитыхъ соломой, а живыхъ, реальныхъ людей; таковы, напримеръ, въ романѣ Киршичиновъ, Граблинъ, Лиза. Эти люди ничего особеннаго въ себѣ не воплощаютъ; это—простыя, обыденныя личности; они случайно стояли въ уязвѣ районъ авторскихъ наблюденій, для ихъ воспроизведенія не требовалось никакого участія творческой фантазіи, и авторъ воспроизвелъ ихъ довольно вѣрно реальною дѣйствительности. Но и тутъ предвѣщая идея романа испортила художническій эффектъ. Одной простой наблюдательности было недостаточно для примиренія *жизни* съ оптимистическою теоріею, требовалось кое-что другое; а мы уже знаемъ, что этого-то *кое-чего* и нѣтъ у автора. О Лизѣ, Граблинѣ, и еще двухъ-трехъ дѣйствующихъ лицахъ, похожихъ хотя сколько-нибудь на живыхъ людей, намъ нѣтъ надобности здѣсь говорить; эти лица, во-первыхъ, чистоводныя, существеннаго значенія въ романѣ не имѣющія, а, во-вторыхъ, самъ авторъ останавливается на нихъ лишь мимоходомъ, очерчиваетъ ихъ весьма слабо и блѣдно. Только фигура Лизы представлена довольно живо и рельефно. Но и къ этой фигурѣ авторы ухитрились пришиллить ярлычокъ съ нравственною сентенціею изъ дѣтскихъ прописей. Вѣтрепая, капризная, легкомысленная, но самобытно и свободно развивавшаяся барышня (изъ *помѣщичьихъ внучекъ*) затронула какъ-то тщеславіе своего жениха, и необдуманно

сказала любимому человеку, что она не хочет быть его женою. За такое непрослительное легкомысліе авторы жестоко наказали веселенькую барышню, чуть не довели ее до самоубійства и загубили всю ея жизнь. Конечно, это весьма нравственно; но только уже чересчуръ строго! Столь же нравственно, хотя и столь же строго отнеслись они и къ Кирпичникову. Кирпичниковъ, одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа, невѣжественный, тупой, лѣnivый, развратный, безмѣрно-глухой и тщеславный купчикъ, открываетъ на женныя деньги книжный магазинъ и библиотеку для чтенія на всѣхъ языкахъ. Въ книжномъ дѣлѣ онъ ничего не смыслилъ, онъ не только никакихъ книгъ сроду не читалъ, да и видывалъ-то ихъ мало. Но его увѣрили, что, открывъ книжный магазинъ и начавъ издавать книги, онъ прославится на всю Россію, что имя его будетъ съ благодарностью произноситься современниками, а память о немъ не умретъ и въ потомствѣ; что „истинные цѣнители изящнаго“ поднесутъ ему какой-нибудь подарочекъ, въ видѣ перстня или табакерки, осыпанныхъ брилльянтами, и т. п. Тщеславіе заговорило въ немъ, и вотъ, руководствуясь общепзвѣстною моралью: „*и здраву моему не пренятствуй*“, изъ смиреннаго торговца хомутами и дегтемъ онъ превратился въ двигателя „россійской литературы“, въ издателя журнала, въ мецената россійской учености. Само собою понятно, что приказчики его надували, что авторы изъ „звѣменитыхъ“ дорого сбывали ему свои сочиненія, которыхъ никто не раскупалъ, и что вообще всякій, кто только не былъ дуракъ, норовилъ сорвать съ него хоть что-нибудь. Съ своей стороны, и Кирпичниковъ не оставался въ долгу: онъ тоже эксплуатировалъ бѣдныхъ писателей, учитывалъ у прислуги гроши, надувалъ иногороднихъ подписчиковъ, подскабливалъ въ книгахъ и т. п. Въ этой обоюдной эксплуатаціи побѣдителемъ, конечно, долженъ былъ остаться наиболѣе ловкій и умный. Кирпичниковъ же былъ безмѣрно глухъ, ничего не смыслилъ въ томъ дѣлѣ, за которое взялся, при томъ попойки и кутежи занимали все его время. А тутъ еще вмѣшался „злой горбунъ“, и папъ книгопродавецъ и издатель окончательно разорился. Магазинъ опечатали, а

„двигателя русской литературы“ свезли въ долговое отдѣленіе Въ эту-то критическую минуту горбунъ, скупившій всеъ векселя книгопродавца, узнаетъ, что Кирпичниковъ его сынъ. Въ припадкѣ родительской нѣжности, онъ бѣжитъ къ разоренному купцу и предлагаетъ ему и векселя уничтожить и капиталъ дать. Авторъ вездѣ рисуетъ Кирпичникова жаднымъ, тщеславнымъ, развратнымъ эгоистомъ, совершенно неспособнымъ увлекаться какими бы то ни было идеальнo-нравственными соображеніями. Это самый обыкновенный „купеческій безобразникъ“, въ московскомъ вкусѣ. Потому, мы въ правѣ думать, что онъ схватится съ радостью за неожиданное счастье и заключить въ свои объятія нежданнаго, негаданнаго отца - благодѣтеля. Но не тутъ-то было. Оптимистическая теорія романа требуетъ *кары* злодѣянію и *награды* добродѣтели. Какъ кара, такъ и награда должны быть двойными: внутренними и вѣшными, т.-е. злодѣй долженъ быть не только разоренъ и погубленъ, а добродѣтельный обогащенъ и возвеличенъ, но еще, кромѣ того, первый долженъ внутренно мучиться, сознавая свое злодѣяніе, а второй —внутренно радоваться и восхищаться, сознавая свою добродѣтельность. Въ силу этой теоріи Кирпичниковъ, очевидно, не могъ принять родительскаго предложенія, а долженъ былъ, ну, по меньшей мѣрѣ, утопиться, сознавъ предварительно всю свою дрянность.

Такъ онъ и поступилъ. На заманчивые посулы отца онъ разразился слѣдующею тирадою: „зачѣмъ ты сулишь мнѣ деньги? я знаю тебя хорошо... да и что мнѣ въ нихъ теперь? Я ихъ имѣлъ: что же я сдѣлалъ изъ нихъ? а, что? я бросать ихъ тѣмъ, которые лстали мнѣ, и выгонять тѣхъ, кто молилъ о помощи: что мнѣ въ той жизни, какую я велъ? пьянство... да оно-то и погубило меня... Нѣтъ, ничего мнѣ не надо! я вѣкъ свой прожилъ, словно какъ животное, прожилъ свои и чужія деньги, пустилъ по-міру жену и дѣтей. Я все сдѣлалъ низкое и злое, что только можетъ сдѣлать человѣкъ! Такъ зачѣмъ мнѣ еще деньги? чтобы опять поить, кормить льстецовъ, да обещивать бѣдныхъ и честныхъ людей? Нѣтъ, все уже кончено! не увидишь, не налюбишься ты больше моимъ поворомъ, моими черными дѣлами...

Иль, иль!“ (т. II, стр. 395) И затѣмъ—бултыхъ въ воду. Горбуны за нимъ, и оба тонуть. Такъ, да погибнуть грѣшники!

Вотъ какую мораль съ пафосомъ проповѣдывали наши передовые писатели ильть двадцать пять тому назадъ! Сравните теперешняго Некрасова-поэта съ тогдашнимъ Некрасовымъ-безлетристомъ! Кто повѣритъ, что это одинъ и тотъ же человѣкъ? И кто намъ скажетъ, когда, этотъ человѣкъ говоритъ искренно: тогда ли, когда онъ рѣшаетъ вопросъ: „Кому на Руси жить хорошо“, или когда, въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ, пишетъ „Три страны свѣта“? Во всякомъ случаѣ будущій историкъ нашей литературы не оставитъ безъ вниманія этого романа. Весьма ничтожный, какъ мы показали, въ чисто-художественномъ отношеніи, онъ весьма важенъ въ отношеніи историко-литературномъ. Пролитая свѣтъ на тогдашнее міросозерцаніе его автора, онъ указываетъ, въ то же время, и на то, какъ рѣшительно измѣнилась, въ послѣднія полтора десятилѣтія, наша умственная атмосфера. Теперь, я думаю, ни одинъ, самый плохенькій, самый скабрёзный романистъ не рѣшился бы признать себя авторомъ „Трехъ странъ свѣта“. Хотя и въ наше время, сплошь да рядомъ, пишутся романы съ манекенами, но они не подгоняются, по крайней мѣрѣ, подъ тѣ узенькія и пошленькія идеи, подъ которыя гг. Некрасовъ и Станицкій подогнали свое произведеніе.

VIII.

Въ заключеніе обратимъ вниманіе читателей еще на одну (отчасти уже указанную выше) характеристическую черту романа. Жизненный интересъ почти всѣхъ его дѣйствующихъ лицъ вертится на одной *любви*. Любовь играетъ у этихъ людей роль какого-то то ужаснаго, то благотельнаго фатума. Она или ведетъ ихъ къ счастью и блаженству (если они правственны и благоразумны), или (если они недостаточно правственны и благоразумны) губитъ ихъ, низвергаетъ ихъ въ адъ всевозможныхъ внутреннихъ и внѣшнихъ мукъ и страданій. Мы уже видѣли, что два главные

героя этого романа представляют собою не болѣе, какъ абстрактную идею любви, облеченную въ человѣческія формы. Третій герой-манекенъ, нѣкій добродѣтельный башмачникъ (въ pendantъ къ добродѣтельной швейкѣ) точно такъ же весь сосредоточивается въ любви къ Полтинникѣ. Немножко болѣе похожій на живого человѣка, нѣкій руссійскій живописецъ-самоучка, тотъ самый, котораго вѣтрная Лиза легкомысленно отвергла, наконецъ, сама Лиза, далѣе Граблинъ, Дарья (дѣвица вольныхъ правовъ), Полтинкина мать и т. п.,— всѣ они только и дышатъ любовью и, разумѣется, очень скоро задыхаются. Боже мой, какое обиліе любви! И добро бы занимались этимъ пріятнымъ времяпрепровожденіемъ окнѣрѣвшіе помѣщики, а то вѣдь, нѣтъ! разныя швейки, башмачники, даже „дѣвицы вольныхъ правовъ“,— весь этотъ бѣдный, живущій впроголодь людъ, у котораго и безъ того полны руки работы, и онъ также пускается въ идеальное амуршничество! И они пѣлничаютъ и вздыхаютъ, ухаживаютъ и бредятъ чистою любовью. У всѣхъ въ сердцѣ и на умѣ только одно—любовь, и какая любовь! самая, повидимому, утонченная и возвышенная! И нельзя сказать, чтобы эта „любовная пота“ составляла какую-нибудь отличительную особенность именно одного только этого романа. Нѣтъ, она съ упорнымъ однообразіемъ и какимъ-то ослѣпительнымъ постоянствомъ звучитъ во всей нашей старой и отчасти новой-шей беллетристикѣ. Если романисты этой школы, къ которой принадлежатъ гг. Некрасовъ и Станиславскій, смотрѣли на нее чисто-метафизически, видѣли въ ней какую-то сущность, переполняющую человѣческія внутренности, какую-то отвлеченную идею, воплощаемую людьми, то романисты другой школы, такъ-называемые художники, измѣнили лишь точку зрѣнія и стали разбирать ее чисто-психологически, но все-таки и у тѣхъ и у другихъ она стояла и стоитъ на первомъ планѣ. Говоря о Тургеневѣ, мы познакомимся ближе съ отношеніями художнической, правильнѣе сказать, *психологической школы* нашихъ беллетристовъ, къ этому привилегированному чувству, безъ котораго у сочинителей этой школы не обходился ни одинъ романъ, ни одна драма, даже ни одинъ водевиль самаго лубочнаго издѣлія, какъ

и до сихъ поръ у московскихъ купеческихъ сынковъ не обходится безъ любовныхъ похождений ни одинъ трактирный подвигъ, совершаемый по почамъ, вдали отъ родительской кровли... Говоря о Тургеневѣ, мы увидимъ, далеко ли ушли эти романисты - психологи отъ романистовъ-метафизиковъ. Теперь достаточно сказать, что и тѣ и другіе съ одинаковою щедростью надѣляютъ „любовнымъ богатствомъ“ все классы и сословія русской имперіи, безкорыстно отръшавшаяся на этотъ разъ отъ дворянскихъ привилегій. Тургеневскіе „пейзаны“ и Марко-Вовчеськія „пейзанки“, по части любви, безъ труда выдерживаютъ конкуренцію съ „добродѣтельными швейками“ и башмачниками гг. Некрасова и Станицкаго. Читая все эти безопечныя славословія любви, самыя разнообразныя ея варіаціи, можно подумать, что мы, и въправду, живемъ въ какой-то Аркадіи, гдѣ любовь надъ всемъ царитъ. А между тѣмъ, что же оказывается въ дѣйствительности? Читайте наши судебныя хроники, разверните уголовную летопись „добраго стараго времени“, загляните за ширмы семейной жизни прошлой эпохи, и укажете намъ на этихъ идеальныхъ героевъ, готовыхъ изъ-за любви жертвовать самою жизнью. И, конечно, чѣмъ дальше будемъ отодвигаться въ глубь крѣпостного права, тѣмъ менѣе шансовъ на то, чтобы встрѣтиться съ аркадскими пастушками и буколическими сценами, въ родѣ левинной швей, ожидающей въ свои объятія страждущаго рыцаря съ Петербургской стороны... А между тѣмъ, тогда-то именно съ особенною неутомимостью и воспѣвалась въ нашей литературѣ „чистая любовь“. Тотъ же фактъ, какъ извѣстно, повторяется и въ литературѣ другихъ народовъ. Въ средніе вѣка поэты и рыцари идеализовали любовь самымъ неумѣреннымъ образомъ, а жизнь съ циническимъ смѣхомъ топтала ее въ грязь. Не имѣемъ ли мы права заключить отсюда, что положительные идеалы беллетристовъ отражаютъ въ себѣ реальную дѣйствительность не въ настоящемъ ея видѣ, а въ обратномъ? Не дополняетъ ли болѣзненно-настроенная фантазія своими призраками того, чего именно недостаетъ въ дѣйствительной жизни? Мнѣ кажется, что эта мысль не лишена справедливости не только съ чисто-исторической, но и съ психологической точки зрѣ-

нія. Сытый не мечтаетъ о хлѣбѣ, любимый и любящій—о любви. Только человѣкъ голодный способенъ увлекаться кускомъ хлѣба; только люди мало любящіе и мало любимые видятъ въ любви главное украшеніе и назначеніе человеческой жизни. Любовь, какъ и вообще всѣ гуманныя и высоко-развитыя чувства, не падаетъ на насъ съ неба; она является, какъ продуктъ высокаго уменственнаго развитія, общей жизненной гармоніи и тѣхъ общественныхъ условій, которыми такъ мало отличалось крѣпостное стойло. Читатель скажетъ, что все это старыя и тривиальныя истины: это правда. Но когда дѣло идетъ объ оцѣнкѣ общества, съ точки зрѣнія его литературныхъ идеаловъ, то эти старыя истины обыкновенно забываются. Мы всегда бываемъ склонны видѣть въ литературѣ и въ особенности въ беллетристикѣ *прямое отраженіе* общества; мы всегда готовы признать то общество болѣе нравственнымъ, беллетристика котораго проникнута нравственными сентенціями, наполнена нравственными героями: мы ужасаемся безнравственности того общества, въ которомъ беллетристика не устаетъ купаться въ грязныхъ водахъ цинизма и полового разврата. Напримѣръ, мы наивно думаемъ, что Золя, Флоберы, Дрезы свидѣлствуютъ о безнравственности французскаго общества, а чопорная мораль англійскихъ моралистовъ есть несомнѣнный призракъ крѣпости „нравственныхъ устоевъ“ англійскаго „мѣщанства“ и сельскаго „джентри“. А между тѣмъ, съ точки зрѣнія „тривиальныхъ истинъ“, мы должны бы были дѣлать совершенно обратныя заключенія: чего беллетристика не идеализуетъ, того, значить, имѣется въ обществѣ въ достаточномъ количествѣ, а то, что она идеализуетъ, въ томъ, значить, чувствуется большой недостатокъ. Разъ вы утвердились на этой точкѣ зрѣнія, вы безъ всякихъ дальнѣйшихъ указаній будете знать, какъ нужно смотрѣть на дѣйствительныхъ людей, на реальныя отношенія того общества, въ которомъ могутъ появляться романы, подобныя „Тремъ странамъ свѣта“.

П. Н. Ткачевъ.

*) Въ ноябрьской книжкѣ „Цѣла“ нѣкоторый, впрочемъ, талантливый, критикъ стремится провести мысль и поддерживать свои увѣренія относительно художественной несостоятельности писателей сороковыхъ годовъ—чѣмъ бы вы думали?—разборомъ романа „Три страны свѣта“. Критикъ беретъ это забытое произведеніе въ качествѣ лучшаго представителя романовъ „старой беллетристики“ изъ категоріи бьющихся на выѣшніе эффекты. Разобравъ пошлость содержанія и пошлость эффектовъ этого романа, критикъ приходитъ къ тому заключенію, что въ современной беллетристикѣ даже такой убогій писатель, какъ г. Всеволодъ Крестовскій, стоитъ несравненно выше авторовъ „Трехъ странъ свѣта“. И въ его вымыслахъ, принадлежащихъ тоже къ разряду продуктовъ бездарнѣйшей фантазіи, больше правдивости, больше жизни и рельефности, чѣмъ въ нелѣпыхъ сказкахъ компаніи, сочинившей „Три страны свѣта“. Все это, можетъ быть, и справедливо, но все это въ то же время отнюдь не доказываетъ, что современная беллетристика и современные беллетристы стоятъ выше талантовъ сороковыхъ годовъ. Судить старую беллетристику по „Тремъ странамъ свѣта“ не подобаетъ потому, что этотъ романъ исключительнаго характера, написанный съ особыми цѣлями и по особеннымъ обстоятельствамъ. Время, когда г. Некрасовъ, въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ, печатали свое длинное и эффектное произведеніе, было однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ періодовъ журналистики. Тогда журналамъ приходилось бороться не съ одними только выѣшними препятствіями, но и съ равнодушіемъ большинства общества къ умственнымъ интересамъ, къ чтенію порядочныхъ книгъ. Общество только въ своемъ образованномъ меньшинствѣ считало интересы литературы и мысли достойными вниманія: остальная масса не хотѣла о нихъ ничего знать, не хотѣла оцѣнивать той тяжелой борьбы, какую приходилось выдерживать помянутымъ интересамъ съ различными темными силами, не желала поддерживать журналистику въ этой благородной борьбѣ. Ме-

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1872 г., № 352. Статья Z. (В. П. Буренина).

жду тѣмъ, образованное меньшинство можно было въ то время считать десятками, пожалуй, сотнями, но ужъ никакъ не болѣе. Журналистикѣ приходилось искать помощи въ массѣ неразвитой, съ грубыми вкусами и инстинктами. Для пріобрѣтенія этой помощи журналистика и должна была поневолѣ прибѣгнуть къ сочиненію и печатанію романовъ въ родѣ „Трехъ странъ свѣта“. Такіе романы писались нарочно для чтенія массы, въ нихъ напѣренно вводились грубые и банальные эффекты, чисто-вишняя интересность содержанія, прописная мораль и прописныя тенденціи. Болѣе тонкимъ искусствомъ, менѣе декоративною живописью масса не могла бы завлечься; она отворачивалась отъ изящныхъ яствъ и бросалась съ своимъ грубымъ аппетитомъ на кушанья, приправленные разными припѣсами и всякими гарнирами. Благодаря изготовленію этихъ грубыхъ кушаній, журналы кой-какъ могли существовать, имѣли матеріальную поддержку въ публикѣ, и въ то же время имѣли возможность, вмѣстѣ съ грубыми блюдами, давать и другія, болѣе здоровыя и питательныя, болѣе тонкія. Лучшіе журналы сороковыхъ годовъ вынуждены были прибѣгать къ такой беллетристикѣ для заохочиванія массы къ чтенію. „Отечественныя Записки“ при Гутлиномъ печатали въ переводѣ романы въ родѣ „Королевы Марго“, „Графини Монсоро“, „Двухъ Діанъ“ и т. п. Конечно, печатаніе подобныхъ „заплетательныхъ“, но пустыхъ произведеній искусства было нѣкоторымъ грѣхомъ со стороны журналистики; но что же было дѣлать, если это былъ невольный грѣхъ, если необходимость вынуждала къ этому журналы, если правы публики требовали этого. Можно пожалѣть о жалкомъ положеніи тогдашней журналистики, но не слѣдуетъ порицать ее съ азартомъ за невинныя, вызванныя тяжелымъ положеніемъ, уловки. Особенно не слѣдуетъ порицать теперь, когда уже этотъ темный періодъ литературы можно судить съ исторической точки зрѣнія.

А между тѣмъ, критикъ „Дѣла“ обнаруживаетъ именно такой азартъ въ порицаніи „Трехъ странъ свѣта“. Этотъ несчастный, вынужденный необходимостью романъ, который писался (по крайней мѣрѣ, однимъ изъ его авторовъ) почти

въ шутку, къ которому, если не ошибаюсь, кромѣ гг. Некрасова и Станицкаго, прилагали мѣстами руку и другіе литераторы, — этотъ романъ преслѣдуется критикомъ какъ будто какое-нибудь серьезное произведеніе. Критикъ разбираетъ въ романѣ типы, анализируетъ его идею, его мораль, приемы творчества авторовъ, и все это съ цѣлію доказать, что прежде писались романы хуже, чѣмъ теперь. Какъ я думаю, смѣется если не г. Станицкій, то г. Некрасовъ, читая этотъ серьезный анализъ и припоминая, ради чего и какими беллетристическими средствами создавался этотъ романъ! Но смѣхъ смѣхомъ, а, съ другой стороны, вѣроятно, г. Некрасову и прискорбно, что его серьезно корятъ въ наши дни за вынужденное сочинительство завлекательныхъ эпопей добраго стараго времени. Впрочемъ, г. Некрасовъ можетъ утѣшиться: публика знаетъ, что за „Три страны свѣта“ онъ не порицанія достоинъ; публика знаетъ, что этимъ романомъ онъ въ свое время поддерживалъ интересъ къ „Современнику“. „Три страны свѣта“ очень читались массово: это лучшая похвала роману, написанному исключительно для процесса чтенія.

Не совѣмъ справедливо также обвинять критикъ „Дѣла“ г. Некрасова въ томъ, что онъ добровольно реставрируетъ теперь свой романъ, сознавая надобность такой реставраціи. Если бы г. Некрасовъ написалъ „Три страны свѣта“ одинъ, тогда бы теперешнее изданіе романа пришлось бы отнести вполне на его счетъ. Но вѣдь романъ написанъ въ сотрудничествѣ съ г. Станицкимъ, стало бытъ, его теперешняя реставрація зависѣла не отъ одного г. Некрасова. Можетъ быть, г. Некрасовъ вовсе не желать видѣть новое изданіе своего забытаго произведенія, но принужденъ былъ согласиться на такое въ виду желанія г. Станицкаго. Это предположеніе, весьма вѣроятное, во всякомъ случаѣ, должно принимать во вниманіе при оцѣнкѣ вопроса, насколько виноваты поэтъ нашихъ дней въ возобновеніи грѣховъ своей молодости? Не такъ давно была издана какимъ-то книгопродавцемъ нетѣлая сказка г. Некрасова „Баба-Яга“, написанная во дни юности. Изданіе этой сказки было продано потомъ книгопродавцу въ соро-

новыхъ годахъ: но послѣдній въ наши дни воспользовался своимъ правомъ, спекулируя на извѣстность имени г. Некрасова. Съ неразборчивой точки зрѣнія критики „Дѣла“, пожалуй, и за эту „Бабу-Ягу“ придется упрекать и порицать даровитаго поэта.

Критикъ „Дѣла“ старается доказать, посредствомъ разбора „Трехъ странъ свѣта“, что старые романы изъ категоріи тѣхъ, которые основываются на „страстяхъ и ужасахъ“, были недѣлы и писались хуже, чѣмъ новѣйшіе продукты беллетристики въ такомъ родѣ. Но на страницахъ самого „Дѣла“, въ ноябрьской книжкѣ и въ предшествовавшей ей, мы встрѣчаемъ необыкновенно яркое и наглядное доказательство противнаго: именно самоновѣйшій романъ г. Каразина „На далекихъ окраинахъ“. Сравните этотъ романъ съ „Тремя странами свѣта“, и вы сейчасъ же увидите, насколько прежніе беллетристическіе „страсти и ужасы“, писанные ради необходимости, чуть ли не шутя, выше теперешнихъ „страстей и ужасовъ“, сочиняемыхъ соп атоге. Мотивы различныхъ романическихъ эффектовъ „Трехъ странъ свѣта“, конечно, пошлы, избиты, неправдоподобны: но нельзя не сознаться, что этими мотивами авторы пользуются ловко, съ полнымъ пониманіемъ беллетристическаго дѣла, съ знаніемъ тѣхъ предѣловъ, до которыхъ слѣдуетъ доводить банальные эффекты. Избитую фабулу романа гг. Некрасовъ и Станицкій умѣютъ провести черезъ цѣлыя восемь частей такимъ образомъ, что витѣшній интересъ рассказа у нихъ ослабѣваетъ рѣзко. Картины ихъ романа, конечно, малеванныя, вывѣсочныя, но съ разнообразіемъ: авторы имѣютъ достаточный запасъ фантазіи, чтобъ расцвѣтить ихъ нестрыми подробностями. Вообще говоря, хотя внутренній вымыселъ романа бѣденъ, но по внѣшнимъ подробностямъ онъ представляется достаточно ловкимъ: видно, что авторы владѣютъ разсказомъ, знаютъ, какъ его вести, имѣютъ точное понятіе о приемахъ беллетристическаго искусства. Возьмите же теперь рядомъ съ „Тремя странами“ три части романа г. Каразина. Первая часть, гдѣ авторъ заводитъ пирогъ романа и фототирируетъ ташкентское общество, написана не безъ ловкости, не безъ живости и съ талантомъ, но за-

тѣмъ очевидно, что у автора беллетристическаго искусства только и хватило на завязку, да на фотографію нѣсколько витѣшныхъ въ дѣйствительности сценъ. Въ двухъ остальныхъ частяхъ „интрига“ улетучивается совѣтъ, веденіе разсказа становится не только неумѣльнымъ, но просто наивнымъ, чтобъ не сказать больше. „ужасы и страсти“ являются до такой степени дикіе, глупые, безобразные, что становится стыдно за дѣтскую неразвитость автора, способнаго серьезно заниматься такими вздорными эффектами. Цѣлыхъ двѣ части авторъ громоздитъ пелѣю на пелѣю; нить разсказа, видимо, потеряна имъ; онъ не умѣетъ, не можетъ справиться съ самыми обыкновенными эпизодами, не умѣетъ придать имъ должную мѣру, — словомъ, обнаруживаетъ полнѣйшее незнаніе самыхъ обыкновенныхъ правилъ искусства. „Реализмъ“ автора становится не только утрированнымъ, но просто возмутительнымъ: это реализмъ чловѣка, которому самыя отвратительныя подробности кажутся обыкновенными, даже привлекательными. Какой авторъ, мало-мальски знакомый съ законами искусства, можетъ допустить въ разсказѣ все эти „тухлыя“ отрубленные головы, „адскіе плоты“ изъ червей, копошащихся на трунѣ, выклеиваемые иглами глаза у мертвой женщины, „потныхъ“ ташкентскихъ красавицъ, ищущихъ паразитовъ во время любовныхъ объясненій, и т. п. И всеѣмъ этими глупостями, доходящими до омерзительности, авторъ занимается съ особымъ удовольствіемъ, повторяетъ ихъ гдѣ только можетъ. Я приглашаю критика „Дѣла“ поискать въ романѣ гг. Некрасова и Сталицкаго подобной грубости и неразвитости въ пониманіи беллетристическихъ эффектовъ: у нихъ ничего подобнаго не найдется, потому что они для своего времени были довольно основательно знакомы съ законами искусства. А г. Паранинъ, очевидно, писатель первобытный, въ нѣкоторомъ родѣ беллетристическій ташкентецъ. У него есть, конечно, талантъ, впрочемъ, незначительный, и при томъ чисто-витѣшный; но затѣмъ у него нѣтъ ничего: онъ немного больше настоящихъ ташкентцевъ знакомъ съ современною изысканною литературой, не только иностранной, но даже отечественной; но крайней мѣрѣ, такое впечатлѣніе производи-

грубость и неогрешанность его творчества, дикость его ташикентских фантазій. Вотъ уже про фантазію г. Каразина можно смѣло сказать то, что критикъ „Дѣла“ говорить про фантазію Всеволода Крестовскаго.

Да, какъ тамъ ни толкуютъ, а все-таки прежніе авторы относительно техники искусства куда какъ выше стояли теперешнихъ. Критикамъ нашихъ дней не унизать бы ихъ слѣдовало съ своей стороны, а, сообразивъ разстояніе ихъ времени отъ нашего, указать новѣйшимъ авторамъ, какъ мало прогрессируютъ они въ дѣлѣ изученія приѣмовъ литературнаго художества *).

В. И. Буренинъ.

1873 г.

Г. Некрасовъ—тарованіе своеобразное, самостоятельное, определенное и, однако же, не только крупное, сильное и глубокое, чтобъ породить рядъ послѣдователей, подобныхъ тѣмъ, какихъ имѣютъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Муза г. Некрасова, по оригинальности своихъ пѣсень, можетъ сравниться съ музами этихъ двухъ поэтовъ: подобно имъ, г. Некрасовъ вноситъ въ русскую поэзію новыя, до того незнакомыя ей мотивы, новое содержаніе, даже огластия и форму, отличную отъ прежнихъ формъ. Но только оригинальностью, а отнюдь не силою и глубиною содержанія, эта „муза мести и печали“ пріобрѣла себѣ значеніе въ родной литературѣ. Это содержаніе все именуется такъ-называемою „гражданскою скорбью“. Гражданская скорбь есть продуктъ того мрачнаго и тяжелаго періода русской жизни, который имѣть въ нашемъ развитіи значеніе пюгины, загорюничавшей ея естественное теченіе. У поэтовъ эпохи, предшествовавшей этому періоду, вы не отыщете гражданской скорби. И уже не говорю о такихъ изъ нихъ, какъ Пушкинъ,

*) См. м. о Некрасовѣ за 1872 г. въ „Нивѣ“, № 25, стр. 390 („Генералъ Топтыгинъ“).

**) „С.-Петербургскіе Ведомости“ 1873 г., № 27, Статья Z (В. И. Буренина).

миссы котораго заключалась совесть въ иномъ: въ созданіи настоящаго поэтическаго искусства въ общемъ, широкомъ смыслѣ. Но даже у такихъ поэтовъ, какъ Рылѣевъ, прямо приписывавшій своей поэтической дѣятельности „гражданское“ значеніе, вы не найдете гражданской скорби. Въ его одушевленныхъ стихахъ, особенно въ пьесахъ послѣдняго періода, повсюду прорывается гражданскій энтузіазмъ, порою протестъ: но стонъ отчаянія, стонъ скорби, стонъ „мести и печали“ вы не отыщете у этого поэта. Это чувство скорби явилось потомъ: первые отголоски его слышались въ Лермонтовѣ, полное же выраженіе они нашли себѣ въ стихотвореніяхъ г. Некрасова.

И не стану указывать, такіа произведенія г. Некрасова являются наиболѣе выразительными, наиболѣе имѣющими значеніе съ этой стороны: во-первыхъ, это всемъ извѣстно; во-вторыхъ, это не относится къ предмету моей бесѣды. Взамѣнъ подобныхъ частныхъ указаній, я выскажу нѣсколько общихъ соображеній кой-о-чемъ ипомъ. Мотивъ „гражданской скорби“, составляющій сущность поэзіи г. Некрасова, могъ имѣть живое содержаніе, могъ вызывать энергическія и искреннія строфы у поэта и находить не менѣе искренній сочувственный отзывъ въ сердцахъ читателей до тѣхъ поръ, пока наша жизнь находилась подъ тяжкими условіями, которыя сковывали ея естественное развитіе. Однимъ изъ этихъ условій, едва ли не самымъ существеннымъ, было крѣпостное право. Гражданская скорбь, гражданскіе стоны по преимуществу вызывались страданіями „родной земли“ и народа отъ крѣпостной опеки, и въ спеціальномъ смыслѣ рушилась совершенно, а въ общемъ утратила въ значительной степени свой прежній характеръ, — съ того времени, когда наша жизнь, худо ли, хорошо ли, все-таки получила кой-какую возможность идти по пути развитія, когда плоть, ея сдерживавшая, прорвалась, — съ этого времени гражданскіе стоны потеряли свое прежнее великое значеніе. Одной гражданской скорби, однихъ протестующихъ стонъ стало недостаточно для того, чтобъ возбуждать и поддерживать жизненное движеніе. Но зія, это — отраженіе жизни; поэзія, которая именно только тогда и можетъ считаться живымъ источ-

инкомъ искусства, когда она отражаетъ въ себѣ наущное движеніе жизни, не могла уже ограничиться безмолвнымъ повтореніемъ прежнихъ стонъ и тоскованій. Гражданская скорбь, имѣвшая когда-то значеніе могучаго жизненнаго стимула, утратила свой прежній смыслъ, потому что обратилась въ неискреннее, изученное „плохое фиглярство“, какъ довольно утѣчно выразился одинъ изъ самыхъ холодныхъ фигляровъ-поэтизаторовъ поэинъ Некрасова. Для предупрежденія разныхъ намекающихъ комментариевъ „молчалинниговъ выдыхающагося радикализма“, и долженъ здѣсь сдѣлать необходимую оговорку. Говоря о томъ, что въ наши дни такъ-называемая гражданская скорбь утратила свое значеніе, я вовсе не желаю унижать это высокое чувство, или отрицать его, и вовсе не хочу этимъ сказать: действительность столь прекрасна и отрадна, что не можетъ вызывать никакой скорби, а одно лишь свѣтлое ликованіе. Я хочу сказать только одно: теперь съ однимъ этимъ чувствомъ, хотя бы и выражаемымъ въ краснорѣчивыхъ фразахъ и хорошо сдѣланныхъ стихахъ, нельзя заслужить титулъ гражданского писателя и поэта. Кромѣ скорбныхъ стонъ, фразъ и стиховъ, даже отъ пѣвцовъ теперь требуется еще кое-что другое: требуется дѣло жизни, тяжелое съ словомъ. Для поэта такое дѣло жизни можетъ реально выражаться хоть въ томъ, напримѣръ, что онъ будетъ слѣдить за развитіемъ и направленіемъ современнаго знанія, за ходомъ современныхъ общественныхъ идей, что онъ посвятитъ свою поэзію искреннему выраженію чувства, внушаемаго ему отрицательными или положительными явленіями действительности, а не либеральному лицедейству, искусственно подогрѣваемому затаенной мыслию: при теперешнемъ, молъ, плохомъ пониманіи истинной поэзии, подоемое лицедейство сдѣлать за настоящее горячее вдохновеніе.

Поэтъ всего сказаннаго, становится отчасти понятнымъ, почему гражданская скорбь и гражданскіе порывы поэинъ Некрасова за послѣднее время являются совѣмъ не съ тѣмъ значеніемъ, какое они имѣли прежде. Несмотря на то, что поэтъ понынѣшнему, поднимаетъ уровень своей по-

зѣи, несмотря на то, что онъ беретъ уже не только гражданскія, но даже архи-гражданскія темы, изъ этихъ темъ выходитъ „ничего или очень мало“. Его гражданскіе стихи являются дѣланскими, вялыми и холодными: при всей своей опытности, при всей способности къ блестящимъ лирическимъ порывамъ, г. Некрасовъ никакъ не можетъ стать на высоту искренняго поэтического увлеченія и безпрестанно впадаетъ въ пошлость мысли и выраженія, безпрестанно превращаетъ наносъ и теплоту своего подогрѣтаго цинизма въ нечто дряблѣ-приторное и порою даже комическое.

Новая поэма г. Некрасова, по поводу которой я распространился о нашемъ поэтѣ, можетъ служить нагляднымъ подтвержденіемъ всего сказаннаго. Содержаніе поэмы, взятое авторомъ, самое благодарное: поэтъ задается намѣреніемъ воспѣть гражданское самопожертвованіе героинь двадцать пятаго года, память о которыхъ долго будетъ жить въ позднѣйшихъ поколѣніяхъ и пробуждать добрыя чувства, говоря выраженіемъ Пушкина. Что можетъ быть счастливѣе подобной темы для поэта? Мотивы, данные ему историческою дѣйствительностью, образы, представляемые ею, такъ рельефны и хороши, что ихъ не надо преувѣщать даже поэтической фантазіей. Г. Некрасовъ понялъ это, и въ своихъ поэмахъ по возможности придерживается тѣхъ „матеріаловъ“, которые даютъ ему мемуары и записки о подвигахъ нашихъ, можно сказать, первыхъ гражданокъ. Къ сожалѣнію, понялъ эту вещь г. Некрасовъ узко, и въ своемъ стремленіи сохранить фактическія черты подвиговъ и страданій героинь двадцать пятаго года доходитъ до крайности. Онъ до того придерживается помянутыхъ матеріаловъ, что послѣдняя его поэма написана даже въ формѣ записокъ кн. М. Н. Волконской и смѣло могла бы быть напечатана въ „Русскомъ Архивѣ“ или „Русской Старинѣ“, какъ образецъ стихотворныхъ мемуаровъ. Г. Семевскому и Бартевну осталось бы только снабдить эти стихотворные мемуары многочисленными примѣчаніями, и будущій русскій историкъ могъ бы пользоваться ими, какъ пособіемъ въ своихъ историческихъ изслѣдованіяхъ о событіяхъ двадцать пятаго года.

Что же заставило г. Некрасова обратить свою поэзію на дѣло, подобное тому, какимъ занимались поэты прежнихъ временъ, перекладывавшіе въ стихи историческіе трактаты и географическія руководства? По всей вѣроятности, онъ занялся подобіемъ стихотворнаго передословія записокъ, во-первыхъ, потому, что, какъ я уже сказалъ, факты дѣйствительности, послужившіе матеріаломъ для его поэмы, плѣнили его своей гражданской обаятельностью; во-вторыхъ, потому, что онъ, чувствуя оскуднѣніе своего творчества, хотѣлъ вознаградить его отсутствіемъ точностью и правдой содержанія своей поэмы. Но въ томъ-то и штука, что фактическая правда и правда поэтической творчества—двѣ вещи, имѣющія между собою соотношеніе, но отнюдь не тождественныя. Иногда точное воспроизведеніе правды дѣйствительности бываетъ совершенно неумѣстно въ поэзіи, и способно нарушать впечатлѣніе поэтической правды. Это очень легко пояснить примѣромъ. Положимъ, поэтъ изображаетъ какого-нибудь историческаго героя, увлекающаго „громовымъ словомъ“ народную массу на великій „патріотическій подвигъ“. Положимъ, изъ „подлинныхъ документовъ“ извѣстно, что герой въ это время страдалъ насморкомъ и сопровождалъ свое „громкое слово“ частымъ чиханіемъ, которое, однако, не восприниматьствовало ему увлечь толпу. Слѣдуетъ ли изъ этого, что поэтъ, задавшійся цѣлью въсилѣть подвигъ героя, долженъ необходимо упомянуть въ своихъ пламенныхъ строфахъ о помянутомъ насморкѣ и чиханіи? Не способна ли такая правда нарушить впечатлѣніе поэтической правды? Да что, впрочемъ, намъ выдумывать примѣры; мы можемъ позаимствовать ихъ прямо изъ поэмы г. Некрасова, имѣвшаго въ виду соединить документальную точность съ поэтическимъ творчествомъ. Вотъ одинъ изъ такихъ примѣровъ: поэтъ, желая исчислить всѣ тяжелыя случайности, которымъ подвергалась его героиня (княгиня В-ская) на пути въ Сибирь въ осужденному мужу, изображаетъ, между прочимъ, слѣдующее происшествіе:

А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей,
Гора была страшно крутая,
И я полетѣла съ кибиткой моей
Съ высокой вершины Алтая.

Какое впечатлѣніе производитъ на читателя героиня, летящая кубаремъ съ „вершины Алтая“? Безъ всякаго сомнѣнія, комическое. А между тѣмъ, поэтъ, конечно, желалъ произвести совершенно иное: онъ желалъ выставить страданія, вынесенныя молодой женщиной аристократическаго круга при совершеніи ею подвига самопожертвованія. И вотъ для большаго впечатлѣнія онъ вставляетъ въ свою поэму фактъ, весьма возможный и, по всей вѣроятности, имѣвшій мѣсто въ дѣйствительности, думая этимъ усилить впечатлѣніе читателя. Выходитъ, однако же, наоборотъ: подробности являются карикатурой, и въ душѣ впечатлительнаго читателя возбуждается досадное чувство на то, что поэтъ ставитъ благородный образъ въ карикатурное положеніе...

Вотъ еще, читатель, примѣръ документальнаго реализма и записочной поэзіи:

„Дорога безъ сѣгу—въ телѣгѣ! Сперва
Телѣга меня занимала,
Но вскорѣ потомъ, въ жива иль мертва,
И прелесть тѣлыхъ узнала.
Узнала я голодь на этомъ пути.
Бѣ несчастью, мнѣ не сказали,
Что тутъ ничего невозможно найти,
Тутъ почину буряты держали.
Говядину вялятъ на солнцѣ они,
Да пьются чаемъ кирпичнымъ,
И тотъ еще съ саломъ! Господь, сохрани
Попробовать вамъ, непривычнымъ!
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задали балъ:
Какой-то купецъ тороватый,
Въ Иркутскѣ замѣтивъ меня, обогналъ
И въ честь мою праздникъ богатый
Устроилъ... Спасибо! Я рада была
И вкуснымъ пельменямъ и банѣ...
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала
Въ гостинной его, на диванѣ...”

Такія подробности о бурятахъ, пьющихъ кирпичный чай съ саломъ, о пельменяхъ и банѣ, конечно, казались бы очень трогательными въ запискахъ княгини, но встрѣчать ихъ въ формѣ вялыхъ и пошловатыхъ стиховъ, встрѣчать ихъ въ поэмѣ, задавшейся грандіозной цѣлью нарисовать

образы русскихъ женщинъ-гражданокъ, — вотъ ваша, это производитъ впечатлѣніе комическое. Такіе безвкусиые стихи говорятъ очень ясно, что у поэта изсякло творчество, и онъ ищетъ себѣ подспорья для него въ „подлинныхъ документахъ“, вяло перелагая ихъ въ вялые стихи. И подобными-то вятыми, вымученными стихами наполнена большая часть новой поэмы г. Некрасова. Даже тамъ, гдѣ поэтъ, по-видимому, начинаетъ нѣсколько одушевляться, гдѣ у него вырываются строки искренней поэзіи, онъ почти постоянно портитъ послѣднія какими-нибудь совершенно неожиданными „записочными“ подробностями и банальными выходками и выраженіями. Вотъ примѣры.

Княгиня начинаетъ разсказъ о томъ, какъ она боролась съ настояніями семьи, умолявшей ее не увязать къ мужу:

*„Теперь опишу вамъ подробно, друзья,
Мою роковую побѣду...“*

Княгиня разсказываетъ о своемъ воспитаніи:

*„Могла говорить я почти обо всемъ,
И музыку звала, я пѣла.
И даже отлично скакала верхомъ,
Но думать совсѣмъ не умѣла...“*

Княгиня раздумываетъ о томъ, что ей долгъ ѣхать за мужемъ въ ссылку:

*„О, лучше въ могилу мнѣ заживо лечь,
Чѣмъ мужа лишитъ утѣшенья
И въ будущемъ сынъ презрѣнье навлечъ...
Пить, пить! не жочу я презрѣнья!..
А можетъ случиться—подумать боюсь!
Я первую мужа забуду,
Условіямъ новой семьи подчинюсь, и пр.*

Подобными банальностями, напоминающими діалоги героинь Александринскаго театра, перенотнена поэма въ изобиліи, и онѣ дерутъ ухо читателя, чуткаго къ настоящей поэзіи и знакомаго съ ней хотя бы по нѣкоторымъ прежнимъ пьесамъ нашего поэта. Эти банальности до такой степени овладѣли поэзіей г. Некрасова, что даже въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ его поэмы неумолимо суются между

строками. Лучшимъ мѣстомъ поэмы, по моему мнѣнію, должна быть признана сцена свиданія княгини съ мужемъ въ рудникѣ. Но и тутъ начало сцены и конецъ поморчены пошловатыми стихами и фальшивыми, натянутыми эффектами. Княгиня, преодолевъ всякія препятствія, пробралась въ подземелье рудника. Ее окружили ссыльные. Но мужа она еще не видитъ. Кто-то восклицаетъ, что онъ идетъ:

Я чуть не упала, рванувшись впередъ—
Канавѣ была передъ нами.
— „Потише, потише! Ужели затѣмъ
Вы тысячи верстъ *пролетѣли*,
Сказалъ Т—кой, чтобъ на горѣ намъ вѣзмъ
Въ канавѣ погибнуть—у цѣли“.
И за руку крѣпко меня онъ держалъ:
„Что бѣ было, когда бѣ вы упали?“

Къ чему тутъ эта канавѣ, вмѣстѣ съ рѣчами Т—каго, такъ некстати портящая „торжественность минуты“? По всей вѣроятности, поэтъ пустилъ эту канаву потому, что онъ вычиталъ ее въ какихъ-нибудь запискахъ, или слышалъ устный разсказъ о томъ, что въ действительности княгиня чуть не упала въ канаву. Желая быть точнымъ и правдивымъ, г. Непрасовъ и канаву вставилъ въ поэму, держась словъ, документовъ, какъ истинный реалистъ. Но, однако же, этимъ документальнымъ реализмомъ онъ значительно испортилъ поэтическое впечатлѣніе сцены.

Слѣдующіе затѣмъ стихи очень хороши и удались вполне:

Сергѣй торопился, но тихо шагаль.
Оковы уныло звучали.
Предъ нимъ разступались, молчанье храня,
Рабочіе люди и стража...
И вотъ онъ увидѣлъ, увидѣлъ меня!
И руки простеръ ко мнѣ: „Маша!“
И сталъ, обезсиленный словно, вдалѣ...
Два ссыльныхъ его поддержали.
По блѣднымъ щекамъ его слезы текли,
Простертыя руки дрожали...
Душѣ моей милого голоса звукъ
Мгновенно послалъ обвиненье,

Отраду, надежду, забвеніе мукъ,
Отцовской угрозы забвеніе!
И съ крикомъ: „иду!“ я бѣжала бѣгомъ,
Рванувъ неожиданно руку,
По узкой доскѣ, надъ зіяющимъ рвомъ
Навстрѣчу призывному звуку...
„Иду!“ Посылало мнѣ ласку свою
Улыбкой лицо испитое...
И я подбѣжала... И душу мою
Наполнило чувство святое.
Я только теперь, въ рудникѣ роковомъ,
Услышавъ ужасные звуки,
Увидя оковы на мужѣ моемъ,
Вполнѣ поняла его муки,
И слезу его... и готовность страдать!..
Невольно передъ нимъ я склонилась
Колѣнъ,—и, прежде чѣмъ мужа обнять,
Оковы къ губамъ приложила!..

Да, эти стихи напоминаютъ прежняго г. Некрасова, исключая, впрочемъ, послѣднихъ строкъ, гдѣ пригнанъ, какъ кажется, фальшивый грададавскій эффектъ—поцѣлуй оковъ. Я не знаю, основанъ ли этотъ эффектъ г. Некрасовъ на подлинныхъ документахъ или, что вѣрнѣе, создалъ его собственной фантазіей для вящаго усиленія цинизма, но, во всякомъ случаѣ, этотъ эффектъ въ poemѣ выходитъ психологически невозможнымъ: онъ не мотивированъ характеромъ героини. Книгиня, по объясненію поэта, пошла на каторгу за мужемъ не изъ сочувствія тѣмъ идеямъ, которыя привели его туда: она даже не знала о заговорѣ, объ участіи въ немъ мужа, она уже послѣ его ареста смутно догадалась, какими побужденіями руководился онъ и за какія идеи привалъ на себя крестъ страданія. Итъ, она повлеклась въ рушину за мужемъ, вѣрная интимному чувству, вѣрная личному долгу жены и подруги, для которой была бы немыслима мысль, что онъ—„узникъ усталый въ тюремномъ углу, терзаемый лютѣею думой, одинъ, безъ опоры“. Вотъ мотивъ, увлекшій княгиню на подвигъ самопожертвованія и въ действительности и въ poemѣ. Спрашивается: откуда же этотъ вычужденный циническій порывъ, это цѣлованіе оковъ, это предпочтеніе символа политическаго страданія самому стра-

дальцу? Что-нибудь одно: или этого не было въ дѣйствительности и придумано ради противохудожественной манеры г. Некрасова ставить точки надъ і тамъ, гдѣ этого не требуется; или же — если такой пошлудой оковъ имѣть фактическое основаніе — г. Некрасовъ невѣрно понять весь характеръ героини своей поэмы и невѣрно изобразить ея борьбу съ семьей, ея думы, все ея развитіе, очерченное въ первыхъ главахъ, — словомъ, не свелъ конца съ началомъ.

Нельзя также безъ досады читать заключительные стихи поэмы: они показываютъ, что г. Некрасовъ утратилъ вкусъ и способность критически относиться къ самому себѣ. Нарисовавъ предыдущую патетическую сцену, притянувъ за волосы совершенно ненужный эффектъ, поэтъ спѣшитъ внезапной пошлостью огорчить читателя и кончаетъ комически:

„По-русски меня офицеръ обругалъ,
Вяизу ожидавшій въ тревогъ.
А сверху маѣ мужъ по-французски сказалъ:
„Увидимся, Маша,—въ острогъ“.

Общее заключеніе о новомъ произведеніи г. Некрасова должно быть такое: поэма представляетъ истинно-поэтическихъ лишь два-три мѣста, да и то не вполне выдержанныхъ. Таковы, по-моему: сцена встрѣчи княгини съ мужемъ въ крѣпости, сцена изъ вѣности княгини съ Пушкинымъ, нѣсколько стиховъ обращенія княгини къ народу, и затѣмъ встрѣча съ мужемъ въ рудникахъ. Все остальное — наборъ вялыхъ и банальныхъ стиховъ, которые ниже таланта г. Некрасова.

В. Буренинъ.

) Давно уже не появлялось въ отечественной поэзіи такого серьезнаго, симпатичнаго и глубокаго-гуманнаго произведенія, какъ *Русскія Женщины* Некрасова. Наша критика поросла такою плѣсенью злобы, мелкой зависти, грубаго непониманія и чудовищнаго кумовства, что даже эта лучшая

*) „Новое Время“ 1873 г., № 37. Статья А. С.

пѣнь нашего лучшаго современнаго поэта вызвала тупое непониманіе и злобное глумленіе одной изъ наиболѣе распространенныхъ нашихъ газетъ. „Петербургскія Вѣдомости“ обрушились на поэмѣ Некрасова и, выражаясь литературнымъ жаргономъ, нашей маленькой прессы, продернули ее на-славу. Недобросовѣстное отношеніе къ дѣлу и полнѣйшее отсутствіе способности чувствовать и понимать ширину и высоту замысла поэта довели журнальнаго обозрѣвателя этой газеты г. Z. до неслыханной дерзости. Не довольствуясь тѣмъ, что съ рѣшимою ловкостью (въ этомъ ему надо отдать справедливость) подтасовалъ онъ самыя слабыя мѣста поэмы, почти совершенно пропадающія въ грандіозномъ впечатлѣніи цѣлаго, добросовѣстный критикъ рѣшается еще потѣшать своимъ глумствомъ публику и импровизуетъ въ заключеніе безсмысленныя стипшонки, якобы пародію на *Русскія Женщины*. Жалкое кривлянье г. Z., къ несчастію, не только смѣшно, но и положительнo вредно для подрастающей русской мысли, такъ какъ стремится пріучить своихъ читателей къ безсмысленному скептицизму, не опирающемуся ни на какія разумныя основы. А вѣдь суть излитой г. Z. на Некрасова злобы ясна какъ нельзя болѣе: *Русскія Женщины* напечатаны въ „Отечественныхъ Запискахъ“, съ однимъ изъ сотрудниковъ которыхъ, г. Михайловскимъ, фельетонистъ „Петербургскихъ Вѣдомостей“ велъ самую непримиримую, даже не полемику, а просто ругатию. — Поэтому, по присущей этой газетѣ теоріи, слѣдуетъ ругать все, что ни попадетъ въ этотъ журналъ. Но отвернемся скорѣе отъ этого грязнаго, недоразвитаго мірка, вѣчно порочащаго третировать всякій предметъ съ-кондачка, и возвратимся къ поэмѣ Некрасова.

Первая часть этой поэмы была напечатана еще въ № 4 „Отечественныхъ Записокъ“ за прошлый годъ, а въ январь-сѣнѣмъ грядущаго появилась вторая совершенно отдѣльная часть, озаглавленная: *Княгиня М. И. В... я* (Бабушкины записки). Въ ней старушка-княгиня рассказываетъ своимъ внукамъ о томъ, какъ она поѣхала въ Сибирь за своимъ мужемъ, однимъ изъ декабристовъ. Передъ нами встаетъ грандіозный образъ созрѣвшей подъ ударами судьбы жен-

щины. Выданная замужъ отцомъ за нелюбимаго человѣка, красавица равнодушна къ этому серьезному, мало занимаемуся ею человѣку. Только когда она узнаетъ, что онъ пострадалъ и подвергнется тяжкому наказанію, сердце ея даетъ о себѣ знать, и она начинаетъ любить мужа-героя! Для сильной женщины, какою была княгиня, нужеѣ быть высокій идеалъ, и вотъ она нашла его въ этомъ мученикѣ и борцѣ. Не идти за нимъ на каторгу представляется ей позорнымъ дѣломъ, и, несмотря на уговоры семьи и проклятія отца, она оставляетъ своего грудного ребенка и смѣло пускается въ далекій путь, героически разсуждая такъ:

Да, ежели выборъ рѣшить я должна
Межъ мужемъ и сыномъ—не боль,
Иду и туда, гдѣ я больше нужна.
Иду я къ тому, кто въ неволѣ!

Описаніе путешествія княгини превосходно мѣстами. напримѣръ, выѣздъ изъ Москвы, встрѣча съ обозомъ съ серебромъ и молебень въ маленькой сельской церкви. Но лучше всего обращеніе, въ каждой строчкѣ котораго такъ и звучитъ глубокая нота искренней благодарности:

..... Хочу я сказать:
Спасибо вамъ, русскіе люди!
Въ дорогѣ, въ изгнаньи, гдѣ я ни была,
Все трудное каторги время,
Народъ! я бодрѣе съ тобою неслъ
Мое непосильное бремя.
Пусть много скорбей тебѣ пало на часть,
Ты дѣлишь чужія печали,
И гдѣ мои слезы готовы упасть,
Твои ужъ давно тамъ упали!
Ты любишь несчастнаго, русскій народъ,
Страданія насъ породили...
.....
Примите мой низкій поклонъ, бѣдвяки,
Спасибо вамъ всѣмъ посылаю!

Человѣкъ, не съ совершенно зачерствѣвшимъ серд-

цель, невольно склонилъ голову въ знакъ благоговѣнія, и слезы душили его при чтеніи сцены перваго свиданія жены съ каторжникомъ - мужемъ. Въ этихъ дивныхъ, исполненныхъ глубокой жизненною правды звукахъ, такъ и вылилась вся душа поэта скорби и страданій. Не можемъ удержаться, чтобы не привести выдержки изъ этой потрясающей душу сцены.

Душѣ моея милаго голоса звукъ
Мгновенно послать обновленье,
Отраду, надежду, забвеніе мукъ,
Отцовской угрозы забвенье.
И съ крикомъ „иду“! я бѣжала бѣгомъ,
Рванувъ неожиданно руку,
По узкой доскѣ, надъ зіяющимъ рвомъ
Навстрѣчу призывному звуку...
„Иду!“ Посылало мнѣ ласку свою
Улыбкой лицо испитое...
И я подбѣжала... И душу мою
Наполнило чувство святое.
И только теперь, въ рудникъ роковомъ,
Услышавъ ужасные звуки,
Увидѣвъ оковы на мужѣ моемъ,
Вполнѣ поняла его муки,
И силу его.. и готовность страдать!..
Невольно предъ нимъ я склонилась
Кольями,—в, прежде чѣмъ мужа обнять,
Оковы къ губамъ приложила!..

За эти строки поэту опустятся все его ошибки и заблужденія,—кто умѣетъ такъ глубоко чувствовать, тотъ никогда не умретъ въ благодарной памяти потомства!.. Искреннее, глубокое спасибо говоримъ мы г. Некрасову отъ имени читающей публики за его прекрасную поэмѣ, слабыя стороны которой (не выработанный, порой вульгарный стихъ и растянутость и некрасивые обороты) исчезаютъ совершенно въ строгій гармоничности цѣлаго.

Изъ „Новаго Времени“. Статья А. С.

*) Помните ли вы, читатель, то эпидемическое стихосочинение, которое настало после Пушкина, когда

... смѣшались шапки
И ползали изъ щелей
Мошки да букашки:

разные Трилуны, Красовы, Тимофеевы и пр., которые цѣлыми ворохами своихъ стиховъ наполняли тогдашнюю „Библіотеку для Чтенія“ Сеньковского и альманахи разныхъ Владиславлевыхъ, Городнегемыхъ, Виртовыхъ и пр. Въ стихикахъ воспѣвались все большіе перси, да косы, да блескъ очей, въ родѣ:

Червы очи, черны очи
Изъ-подъ бархата рывиць.

Воспѣвались невинныя птички, синички, лисички, и все это воспѣвалось съ такой самоудовольной бездарностью, что пѣвцы скоро всѣмъ надоѣли; но не поняли, чѣмъ именно надоѣли, ибо были гораздо невиннѣе воспѣваемыхъ ими птичекъ, синичекъ и лисичекъ... Они не догадались, что ихъ неученыхъ зависеть просто отъ недостатка таланта, а не отъ переменъ вкусовъ публики. Нѣкоторые изъ нихъ оставили свое поэтическое поприще, другіе перемѣнили темы своихъ пѣсень — вмѣсто птичекъ, синичекъ и лисичекъ начали воспѣвать разные гражданскія чувства: великодушіе, самоотверженіе, тоску, „голодь, холодъ, сирота дѣлница“... Остальные же поэты, оставшіеся на сценѣ, вломались въ амбіцію и занялись какими-то претензіями, такъ что даже самъ Полонскій нашелъ теперь своего невиннаго Пегаса совершенно негоднымъ для ѣзды, и въ послѣднемъ своемъ стихотвореніи описываетъ, какъ онъ хотѣлъ промѣнять его на клячу, да никто за Пегаса и клячи не далъ. Вотъ что пишетъ г. Полонскій: встрѣтить онъ мужиконка, и дунца за сохой, которую тащила кляча.

— Дяди, — сказалъ г. Полонскій, — не промѣняешь ли клячу?

Я за нее тебѣ дамъ славную штуку—Пегаса.

Конь—что ни въ какъ сказать ни переть описать—конь крылатый.

*) „Новості“ 1873 г., № 38. Статья Пегаса граница, а въ названіемъ „Княгиня Волконская“.

в. зелинскій, сборн. критич. статей.

Они, пришедъ къ намъ изъ Греціи черезъ Карону Спыхать ли
Ты объ Европѣ хоть что-нибудь?..

— Нѣтъ, не слыхалъ,

— „Ну такъ вѣрь мѣѣ.

Есть, дядя, этакій ковь...“

И мужикъ съ недовѣрьемъ оскалилъ

Бѣлые зубы. И связали меня,

И посадили въ колодки, и повели къ ставовому:

Будто хотѣлъ я надуть мужика,

Будто за лошадь, которая можетъ пахать и работать,

Я предлагалъ викада негодящую тварь:

Пегаса.—Не сумасшедшій ли я? говорили...

Эти поэтики, разбѣзжавшіе на ятяхъ.—Пегасахъ или
ходящіе подъ-руку съ музами, давно уже стали смѣшными,
а при сравненіи съ такимъ колоссомъ, какъ г. Некрасовъ,
такими маленькими и такими жалкими, что просто являет-
ся позывъ раземотрѣть ихъ тѣланы подъ микроскопомъ,
хоть бы ненадолго и призрочно увеличались, а то ужъ
очень больно малы.

Г. Некрасова считаютъ вообще тенденціознымъ поэтомъ,
но едва ли это справедливо, по крайней мѣрѣ, въ томъ
отношеніи, будто тенденціозность помогаетъ успѣху его про-
изведеній. Кто изъ нашихъ стихотворцевъ не тенден-
ціозенъ? Минаевъ тенденціозенъ, Буренинъ тенденціозенъ,
Омелевскій тенденціозенъ, Плещеевъ тенденціозенъ... Они
даже, пожалуй, будутъ тенденціознѣе г. Некрасова, такъ
какъ, за недостаткомъ поэтическихъ образовъ, имъ постоянно
приходится перекладывать въ стихи передовыя статьи ли-
беральныхъ газетъ и прозу то соотаварицей своихъ по жур-
налу, то прозу публицистовъ другихъ журналовъ, если
поэтъ повѣдуецъ въ иностранныхъ языкахъ и, такимъ обра-
зомъ, лишень возможности пользоваться матеріалами изъ
перваго источника. Отчего же, спрашивается, эти тенден-
ціозные поэты не имѣютъ успѣха такого, какой пріобрѣлъ
г. Некрасовъ? Просто по недостатку таланта, —и г. де-Пуле
напрасно увѣрять насъ въ „Петербург. Вѣдомостяхъ“, что рус-
скую литературу до-гла стубила тенденціозность: остался
только одинъ гениальный писатель: г. Буренинъ, тенден-
ціозность котораго относится къ его таланту такъ же, какъ
милліонъ къ единицѣ!

По нашему скромному разсужденію, успѣхъ г. Некрасова вовсе не зависитъ отъ его тенденціозности или безтенденціозности, а просто отъ могучей силы его дарованія—и исключительно только отъ этого.

Въ первой книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ напечатана поэма г. Некрасова— „Русскія Женщины“, уже вовсе не имѣющая никакой претензіи на тенденціозность. Это превосходный поэтический и простой разсказъ бабушки внукамъ о великихъ подвигахъ своей жизни. Чтобы познакомиться читателя съ новымъ произведеніемъ нашего великаго поэта, мы, конечно, должны прибѣгнуть къ выпискамъ, за что и просимъ напередъ извиненія у многоуважаемаго автора...

(Далѣе слѣдуютъ выписки изъ поэмы, выражающія почти все содержаніе ея).

Читатели могутъ замѣтить нѣкоторыя ошибки г. Некрасова въ подробностяхъ, впрочемъ, вовсе не измѣняющія существа дѣла. Такъ, напримѣръ, авторъ заставляетъ свою героиню свалиться съ вершины Алтая, гдѣ она не могла пробѣжать, такъ какъ Алтайскія горы лежатъ чуть ли не на тысячу верстъ въ сторону отъ сибирскаго московскаго тракта. Точно такъ же, какъ героиня не могла встрѣтить каковаго бы то ни было каравана съ серебромъ или золотомъ, идущаго изъ *Перчинска*. Всѣ такіе караваны до послѣдняго времени идутъ исключительно изъ Барнаула, гдѣ сплавляется и пробирается все добываемое въ Сибири серебро и золото. Но все это—повторяемъ—такія ничтожныя частности, которыя нисколько не вредятъ новому прекрасному произведенію г. Некрасова. Дай Богъ, чтобы только именно такія ошибки дѣлали всѣ наши поэты! *).

Изъ „Новостей“.

*) Редакція „Новостей“ сопровѣждаетъ приведенную статью слѣдующими словами: „Въ современной литературѣ, столь бѣдной истинно-художественными произведеніями, появленіе такой вещи, какъ поэма Н. А. Некрасова, составляетъ эпоху. Мы рѣшаемся посвятить труду гениальнаго поэта этотъ небольшой отдѣльный фельетонъ, помня общаго отчетъ о новостяхъ русской литературы“.

*) Г. Некрасовъ украсилъ январскую книжку „Отечеств. Записокъ“ новой поэмой, составляющей вторую часть предпринятой имъ серии поэтическихъ сказаній, подъ заглавіемъ: „Русскія Женщины“. Какъ кажется, въ этихъ поемахъ г. Некрасовъ желаетъ передать въ стихахъ горькую повѣсть о самоотверженіи и страданіяхъ русскихъ женъ, раздѣлившихъ участь своихъ мужей, сдѣлавшихся жертвой извѣстной политической катастрофы. Такая тема должна была заранѣе осудить трудъ поэта на значительное однообразіе. Повѣсть каждой героини одна и та же: росла она въ богатомъ родительскомъ домѣ, вышла замужъ, мужа посадили въ крѣпость, сослали въ Сибирь, она поѣхала вѣдь за нимъ и встрѣтилась съ нимъ въ острогѣ. И г. Некрасовъ, передавъ эту исторію въ первой поэмѣ, съ точностью повторяетъ ее во второй. Божье, впрочемъ, ему и дѣлать нечего, такъ какъ фактъ въ обоихъ поемахъ одинъ и тотъ же, а расцвѣчивать историческій фактъ цвѣтами собственной фантазіи въ настоящемъ случаѣ неудобно. Да и поэтическая фантазія г. Некрасова въ послѣднее время не обнаруживаетъ силъ, замѣчавшейся въ его прежнихъ произведеніяхъ. Очевидно, все то, что намъ могъ сказать поэтъ, уже сказано, и содержаніе его истощилось. Петербургская журналистика многого года усердно занималась тѣмъ, что хоронила поочередно гг. Тургенева, Гончарова, Искандера, тогда какъ съ гораздо болѣею основательностію слѣдовало бы пройтись *de profundis* поэтическому таланту г. Некрасова. Гражданскіе мотивы, некогда закигавшіе сердца поклонниковъ этого самаго петербургскаго изъ всѣхъ петербургскихъ поэтовъ, отзывались и не прозывались болѣе впечатлѣнія. Поэтъ, очевидно, самъ чувствуетъ, что безъ новыхъ мотивовъ продолжать поэтической дѣятельности нельзя, но не находитъ ихъ въ душѣ своей, и потому обращается къ историческому факту и ограничиваетъ свою задачу передъ женою въ стихѣ появившихся ему въ руки фамиліальныхъ знаменій. Что жъ, и такая задача при всѣхъ томъ многочисленнѣй могла бы оказаться весьма бла-

*) „Русскій Міръ“ 1873 г., № 46. Статья А. О. (В. Г. Авеѣенко).

Примѣч. В. Зелинскаго.

годарною, потому что историческій фактъ самъ по себѣ, полонъ глубокато содержанія. Но такая вялость нынѣшней музы г. Некрасова, что, несмотря на богатія темы, на драматическое содержаніе факта, поэма его не производитъ никакого впечатлѣнія, или, лучше сказать, получаемое отъ нея впечатлѣніе совершенно двойственно: фактъ остается самъ по себѣ, не сливаясь съ поэіей г. Некрасова, а все, что помимо этого факта принадлежитъ самому поэту, выходитъ до крайности деревянно, неряшливо и анти-поэтично. Только при совершенномъ отсутствіи поэтическаго чутія и вкуса можно писать, напр., такіе стихи:

Теперь опишу вамъ подробно, друзья,
Мою роковую (?) побѣду,
Вся дружно и грозно возсталъ семья,
Когда я сказала: я ѣду!

Читатель такъ и ждетъ тутъ рѣшмы: „къ обѣду“, и дѣйствительно черезъ нѣсколько строкъ поэтъ варьируетъ это счастливое четверостишіе такимъ образомъ:

Когда собрались мы къ обѣду,
Отецъ мимоходомъ мнѣ бросилъ вопросъ:
— На что ты рѣшилась?—Я ѣду!

Или вотъ, наиримѣръ, слѣдующіе вирши:

Училась я много; въ трехъ языкахъ
Читала. Замѣтна была я
Въ парадныхъ гостиныхъ, на свѣтскихъ (?) балахъ,
Искусно танцун, играя;
Могла говорить я почти обо всемъ,
Я музыку знала, я пѣла,
И даже отлично скакала верхомъ, и т. д.

Съ деревянностью подчеркнутыхъ нами стиховъ можетъ сравниться только слѣдующая граціозная картинка, изображенная потомъ въ такомъ четверостишіи:

А ночью ящикъ не сдержалъ лошадей,
Гора была страшно крутая,
И я полетѣла съ кибиткой моей
Съ высокой вершины Алтая!

Кто изъ читателей, послушавшись поэта и представивъ себѣ его героиню въ нарисованныхъ имъ положеніяхъ, т. е. сначала отлично скачущую верхомъ, а потомъ летящую стремглавъ съ высокой вершины Алтая, — кто не согласится, что историческій фактъ, историческое лицо весьма мало выиграли отъ приналеженія къ нимъ поэта?

Г Некрасовъ мѣстами какъ будто даже щеголяетъ особаго рода реализмомъ, заключающимся въ томъ что если, напр., ему извѣстно, что въ такомъ-то городѣ героиня его мылась въ банѣ, то онъ такъ и пишетъ, что княгиня сходила въ баню, а если гдѣ-нибудь ее напоили вонючимъ чаемъ съ саломъ, то такъ и пишетъ, что вотъ, молъ, пила княгиня чай съ саломъ. Какъ образчикъ такого реализма, отчасти напоминающаго таикентскіе романы г. Каразина, приведемъ слѣдующую выдержку:

Дорога безъ снѣгу—въ тельгѣ! Сперва
Тельга меня занимала,
Но векоръ потомъ, ни жива ни мертва,
Я прелестъ тельги узнала.
Узнала я голодъ на этомъ пути.
Къ несчастью, мнѣ не сказали,
Что тутъ ничего невозможно найти,
Тутъ почти буряты держали.
Говядину вялятъ на солнцѣ они,
Да грѣются чаемъ кирпичнымъ,
И тотъ еще съ саломъ! Господь, сохрани
Попробовать вамъ, непривычнымъ!
Зато подъ Иерчинскомъ мнѣ задали балъ:
Какой-то купецъ тороватый,
Въ Иркутскѣ замѣтивъ меня, обогналъ
И въ честь мою праздникъ богатый
Устроилъ... Спасибо! Я рада была
И вкуснымъ пельменямъ и банѣ...
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала
Въ гостиной его, на диванѣ...

Неужели г. Некрасовъ вправду думаетъ, что это стихи?

В. Австыенко.

*) На дняхъ только мы бесѣдовали съ читателемъ о новой поэмѣ г. Некрасова: „Русская Женщины“, и вотъ намъ опять приходится говорить о его новомъ произведеніи, составляющемъ вторую часть поэмы: „Кому на Руси жить хорошо“. Кто поминигь первую часть этой поэмы? Она появилась четыре года назадъ, вскорѣ послѣ перехода „Отечествъ Записокъ“ изъ рукъ редактора Краевского въ руки А. Краевского, и тогда же была весьма позабыта, такъ какъ даже ревностнѣйшіе друзья и поклонники г. Некрасова отнесли ее къ числу неудачнѣйшихъ произведеній ихъ любимаго поэта (мы говоримъ, конечно, о поклонникахъ, мало-матерски понимающихъ дѣло, потому что есть и такіе, которые доходя въ восхищеніи каждой строкой, вышедшей изъ-подъ пера г. Некрасова, хотя бы въ этой строкѣ не было даже соблюденъ стихотворный размѣръ, какъ это сплошь да рядомъ встрѣчается въ его послѣднемъ произведеніи). Но самъ г. Некрасовъ, очевидно, взглянулъ на свою поэму иначе, и не только включилъ ее въ вышедѣвшую недавно 5-ю часть его стихотвореній, но даже задумалъ продолжать ее. Поэтъ, конечно, воленъ творить, что ему угодно, но и критика вольна имѣть о его твореніяхъ сужденіе, не вполне согласное съ собственнымъ взглядомъ автора. Такъ, напримѣръ, на этотъ разъ мы полагаемъ, что новая глава поэмы, названная нѣсколько напоминающимъ акушерскую практику словомъ „Послѣдись“, не имѣетъ, ни по идѣ ни по содержанию своему, никакого современнаго интереса. Идея, если хотите, очень благонамѣренная: авторъ жетаетъ надсмѣяться надъ жестокостями и самодурствомъ помѣщиковъ времянь крѣпостного права и показать, какъ нелѣпо было бы подобное самодурство при новыхъ порядкахъ. Но, ради Бога, какой смыслъ имѣютъ въ наши дни насмѣшки надъ крѣпостными самодурами? Ужъ не вѣрить ли г. Некрасовъ, вмѣстѣ со своимъ героемъ, что крестьянъ вѣрно обратно отдать помѣщикамъ? Что же касается до такъ-называемаго „сюжета“ комедіи, то онъ такъ несообразенъ, что и разсказать его трудно. Какой-то старичокъ-князь, узнавъ объ

*) „Русскій Міръ“ 1873 г., № 49. Статья А. О. (В. Г. Авсеенко).

освобожденіи крестьянъ, такъ обвирѣѣлъ, что прогнѣвался даже на ни въ чемъ невиноватыхъ сыновей своихъ и обратилъ къ нимъ такія рѣчи:

.....„Вы трусы подлые!
Не дѣти вы мои!
Пускай бы люди мелкіе,
Что вышли изъ поповичей,
Да понажившись взятками,
Купили мужиковъ,
Пускай бы... имъ простибельно!
А вы... князья Утятинны?
Какіе вы У-тя-ти-ны!
Идите вонъ подкидыши,
Не дѣти вы мои!“

Дальшезоркіе сыновья, „гвардейцы черноусые“, испугались, какъ бы батюшка по чрезмѣрному гнѣву своему не отказалъ имъ передъ смертью въ наслѣдствѣ, и для успокоенія его придумали такую штуку: увѣрили его, что крепостное право восстановлено, а крестьянъ убѣдили оказывать старику паружное почтеніе, за что обѣщали имъ подарить дуга. На этой, нельзя сказать, чтобы совѣмъ удачной, выдумкѣ держится рассказъ, весь его соль и весь предполагаемый авторомъ комизмъ. Старый князь самодурничаетъ, мнимый бурмистръ ему потакаетъ, крестьяне кланяются и за спиной смѣются. Описанъ даже такой случай: князь-самодуръ приказываетъ одного мужика отодрать на конюшнѣ, и мужики разыгрываютъ веселенькую комедійку: ведутъ провинившагося Агапа въ конюшню и ставятъ передъ нимъ штофъ вина:

„Пей, да кричи: помилуйте!
Ой, батюшки! ой, матушки!“
Послушался Агапъ,
Чу, вопль! Словно музыку,
Послѣдышъ стоны слушаетъ:
Чуть мы не разсмѣялись,
Какъ сталъ онъ приговаривать:
„Катай его, разбойника,
Бунтовщика... Катай!“
Ни дать ни взять, подъ розгами
Кричалъ Агапъ, дурачился,

Пока не допилъ штофъ;
Какъ изъ колюшня вынесли
Его мертвецки-пьянаго
Четыре мужика,
Тутъ баринъ даже сжалился:
„Самъ виновать, Агапушка!“
Онъ ласково сказалъ...“

Подобный фарсъ, появившійся двѣнадцать лѣтъ назадъ, т. е. въ годъ освобожденія крестьянъ, быть можетъ, и по казался бы забавнымъ, и имѣлъ бы успѣхъ *pièce de circonstance*; тогда, быть можетъ, показался бы очень удачнымъ и своевременнымъ пикантный въ извѣстномъ смыслѣ подборъ поговорокъ, въ родѣ:

..... есть пословица:
Хвали траву въ стогу,
А барина — въ гробу!—

или образчиковъ народнаго остроумія крѣпостной эпохи, какъ, напримѣръ:

„Въ кромѣшній адъ провалимся —
Такъ ждетъ и тамъ крестьянина
Работа на господъ!
— Что жъ тамъ-то будетъ, Климушка?
— А будетъ, что назначено;
Они въ котлѣ кипятъ,
А мы дрова подкладывать!“

Все это, повторяемъ, явился въ послѣднѣе годы крѣпостной эпохи, когда въ обществѣ и въ литературѣ велась страстная борьба либеральныхъ идей съ крѣпостничествомъ, могло бы быть у мѣста и найти оправданіе въ интересахъ минуты; но въ настоящее время подобныя банальности только подтверждаютъ высказанную нами въ предыдущемъ обзорѣ мысль, что мотивы Некрасовской поэзіи уже исчерпаны, и что новыхъ въ современной дѣйствительности г. Некрасовъ не находитъ. Онъ все еще переживаетъ сороковые и пятидесятые годы, годы его славы и значенія, и какъ бы не замѣчаетъ, что жизнь ушла впередъ, и что водевильное пропагандированіе анти-крѣпостническихъ идей, когда самихъ крѣпостниковъ не существуетъ, сильно отстѣвается заднимъ числомъ.

В. Австыенко.

*) Последняя книжка „Отечественныхъ Записокъ“ такъ обильна достойнымъ вниманія матеріаломъ, что его хватило бы на нѣсколько обзорѣй, но такъ какъ читатели не въ правѣ требовать отъ насъ обстоятельныхъ критическихъ разборовъ, то мы и ограничимся только послѣднимъ указаніемъ на достоинства и недостатки наиболѣе выдающихся въ книжкѣ статей.

Съ перваго взгляда васъ особенно поражаетъ обиліе бѣлье или менѣе замѣчательныхъ русскихъ именъ, которымъ щеголяютъ на этотъ разъ страницы вышеупомянутаго журнала. Тутъ вы встрѣтите и Островскаго, и Некрасова, и Щедрина, и Энгельгардта, и Глѣба Успенскаго. Прежде всего вы, конечно, остановитесь на имени ветерана нашего Островскаго въ надеждѣ, что его новое произведеніе доставитъ вамъ истинное эстетическое наслажденіе. Но—увы и ахъ!—давно уже миновали тѣ счастливыя времена, когда имя этого писателя поминалось только подъ талантливѣйшими произведеніями отечественной драматургіи. Теперь же талантъ г. Островскаго выдыхается съ каждымъ годомъ, и намъ съ грустью приходится присутствовать при его окончательномъ паденіи. Въ силу прежней славы, страницы всѣхъ порядочныхъ журналовъ и до сихъ поръ еще принимаютъ съ распростертыми объятіями его комедіи и драмы, но только по старой памяти, а отнюдь не вълѣдствіе ихъ дѣйствительныхъ достоинствъ.

Традіція прежняго блеска, органъ котораго созданъ нашимъ безсмертнымъ критикомъ и учителемъ Добролюбовымъ, еще и до сихъ поръ связана съ именемъ автора „Грозы“, но самъ онъ пережилъ свой талантъ. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что и послѣдняя его комедія „Комикъ XVIII столѣтія“ крайне плоха и ничѣмъ не напоминаетъ славнаго прошлаго своего автора...

Но если одно изъ нашихъ громкихъ литературныхъ именъ оставляетъ въ насъ тяжелое чувство, то зато другое съ избыткомъ вознаграждаетъ за все. Мы говоримъ о г. Некрасовѣ и о второй части его народной поэмы „Кому

*) „Новое Время“ 1873 г., № 61. Статья А. С.

на Руси жить хорошо". Эти первые три главы второй части составляют отдельный эпизодъ, не имѣющій почти никакого отношенія къ первой части и носящій отдельное, замѣчательно оригинальное заглавiе *Послѣдынь*.

Мы уже говорили и повторимъ еще разъ, что муза г. Некрасова все крѣпнѣе, развивается и идетъ впередъ. Кто изъ нашихъ поэтовъ такъ глубоко почувствовалъ и понялъ русскій народъ, кто искреннѣе и честнѣе относился къ нему, кто думаетъ его думами, говоритъ его языкомъ, плачетъ его кровавыми слезами, кто — какъ не пѣвецъ скорбей родной земли? Ни одна народная книга, написанная со специальною цѣлью поучать народъ, не будетъ ему такъ понятна, какъ „Коробейники“ и „Кому на Руси жить хорошо“. А все потому, что каждый крестьянинъ найдетъ въ нихъ отголосокъ своихъ понятій и стремленій: все потому, что онъ почуетъ въ нихъ свое простое, безыскусственное, человеческое чувство, переданное характернымъ и роднымъ ему языкомъ: все потому, что поэтъ изучилъ народъ нашъ и знаетъ его, какъ никто. Послушайте, читатель, развѣ это не мужицкая рѣчь:

По низменному берегу,
На Волгѣ, травы рослыя,
Веселая косьба.
Не выдержали странныки:
„Давно мы не работали,
Даванге — покосимъ!“
Семь бабъ имъ косы отдали.
Проснулась, разгорѣлася
Привычка позабытая
Къ труду! Какъ зубы съ голоду.
Работаетъ у каждаго
Проворная рука.
Валять траву высокую
Подъ пѣсню, незнакомую
Вахлацкой стороной;
Подъ пѣсню, что навѣяна
Метелями и вьюгами
Родимыхъ деревень, и т. д.

Главный герой новаго произведенія г. Некрасова — именитый старикъ изъ рода Угитиныхъ, съ которымъ случился

парализмъ, когда онъ узналъ объ освобожденіи крестьянъ. Сыновья его, боясь, чтобы вѣщанный старикъ, упрекавшій ихъ въ томъ, что они продали свои дворянскія права, не лишили ихъ наслѣдства, убѣдили крестьянъ обмануть вмѣстѣ съ ними стараго князя, убѣдивъ его, что мужиковъ вѣдьни воротить помѣщикамъ. Тотъ повѣрилъ этому, и съ тѣхъ поръ залгилъ снова попрежнему, по-барски.

Вотъ какъ описываетъ портъ непреклоннаго старика, прозваннаго мужиками „Послѣдышемъ“:

Худой, какъ зайцы зимніе,
Весь бѣлъ и шапка бѣлая,
Высокая, съ околышемъ
Изъ краснаго сукна.
Носъ клювомъ, какъ у ястреба,
Усы сѣдые, длинныя
И—разные глаза:
Однѣ здоровый—свѣтятся,
А лѣвый—мутный, пасмурный,
Какъ оловянный грошъ.

Все въ характеристикѣ „Послѣдыша“, начиная съ его портрета и до описанія сопровождающей его свиты, состоящей изъ его семейства, приживалокъ и собакъ, и самой манеры говорить и шепотать,—все исполнено глубокой жизненной правды и высокой художественной простоты. Передъ вами такъ и встаетъ, во весь свой богатырскій ростъ, фигура этого вымершаго на Руси тина, котораго мы еще видѣли и помнимъ, но который останется только преданіемъ для дѣтей нашихъ. Болѣе чистаго представителя его, чѣмъ Некрасовскій „Послѣдышъ“, невозможно найти въ нашей литературѣ, и его аристократъ-помѣщикъ, князь Утятинъ, чистокровное произведеніе нашей родной земли.

Превосходна сцена, въ которой нестерпѣвшій барской обиды мужикъ Аганъ накинулся на „Послѣдыша“ и выругалъ его по-мужицки. Тутъ старый князь въ первый разъ еще услыхалъ вольную, непринужденную рѣчь мужика. И дѣйствительно, въ самомъ тонѣ разсерженнаго Агана звучитъ рѣзкая, непримычная для помѣщичьяго уха нота.

„Что брага, раскуражились
Подонки изъ поганого
Корыта... Цыцы! Нишкни!
Крестьянскихъ душъ владѣнїе
Поковчено. Постѣдышь ты!
Постѣдышь ты! По милости
Мужицкой нашей глупости
Сегодня ты начальствуешь.
А завтра мы постѣдышу
Шивка—и конченъ балъ!
Иди домой, похаживай,
Поджавши хвостъ по горяппамъ,
А васъ оставь! Нишкни!“

Изъ „Новаго Времени“.

* *

*) Если я не ошибаюсь, поэма г. Некрасова „Постѣдышь“ принадлежитъ къ категорїи такихъ произведенїи, въ которыхъ реальная художественная правда является въ гармоническомъ соединенїи съ мыслью. Въ поэмѣ воспроизведено умирающее крѣпостничество въ яркомъ образѣ. Несмотря на то, что, повидимому, содержанїе поэмы анекдотическое, это ни мало не уменьшаетъ силы ея впечатлѣнїя. Анекдотъ, даже самый пустой, можетъ быть возведенъ художникомъ на степень событїя, имѣющаго широкое и глубокое жизненное значенїе, если только художникъ вложитъ въ него общій смыслъ. Примѣровъ тому искать не далеко: „Шинель“, „Носъ“, „Ревизоръ“ основаны на анекдотахъ и, однако, имѣютъ репутацію далеко не анекдотическихъ произведенїи. Анекдотъ, составляющій содержанїе поэмы г. Некрасова, состоитъ въ слѣдующемъ: старый богатый помещикъ, князь Утитинъ, заболѣлъ съ горя, услышавъ, что настала воля:

Хватилъ его ударъ.
Всю половину лѣвую
Отбѣло: словно мертвая
И какъ земля черна.
Пропалъ ни за копейку;

*) „С.-Петерб. Вѣстникъ“ 1873 г., N 68. Статя Z. (В. П. Буренинъ).

Извѣстно, не корысть,
А спесь его подрѣзала:
Соривку онъ терять...
Соринка дѣло плевое,
Да только на глазу.

Дѣти князя, думая, что старикъ уже не встанетъ, во время болѣзни отца заключили съ мужиками уставную грамоту. Но старикъ не умеръ и, узнавъ о распоряженіи дѣтей, пришелъ въ пенстовую ярость за то, что они продали „права свои дворянскія, вѣками освященныя“. Сообразивъ, что родитель можетъ лишить ихъ наслѣдства, сыновья князя, „гвардейцы черноусые“, струхнули. Одва изъ молодыхъ снохъ, для утѣшенія и укрощенія полтумнаго старика, увѣрила его, что „мужиковъ помѣщикамъ велѣли воротить“.

Повѣрили! Проще малаго
Ребенка стать старинушка,
Какъ параличъ расшибъ.
Заплакалъ! Предъ иконами
Со всей семьею молится,
Велитъ служить молебствіе,
Звонятъ въ колокола!
И слы слы словно прибыло
Опять: охота, музыка,
Дворовыхъ дуетъ палкою,
Велитъ созвать крестьянъ.

Комедию, разъ затѣянную наслѣдниками, необходимо было продолжать. Наслѣдники уговорили крестьянъ, чтобъ тѣ разыгрывали передъ княземъ роль крѣпостныхъ, обѣщая имъ за это подарить поемныя луга, какъ только умретъ „последынь“. Мужики согласились на это: мѣрь дозволить „покуражиться уволенному барину въ оставшіе часы“.

Вотъ въ этой-то курьезной комедіи поэтъ превосходно изображаетъ, съ одной стороны, типъ умирающей крѣпостнической, „барской“ власти, а съ другой—отношеніе къ ней отжившей власти крестьянства. Съ большимъ искусствомъ выставлено у Некрасова взаимное глумленіе другъ надъ другомъ названныхъ двухъ элементовъ, не чуждое, однако, и въ той-то добродушной сердечности, отголоски долгой рабской связи, порвавшей „волѣй“. Лицо послѣдняго

изъ крѣпостниковъ стоитъ передъ читателемъ, какъ живое. Этотъ полумертвый „последышъ“, наполовину уже лежащій въ гробу и задыхающійся окончательцо въ послѣднихъ порывахъ своихъ крѣпостническихъ возжелѣній, этотъ „уволенный баринъ“, окруженный шутовской покорностью мужиковъ, производитъ жалкое и въ то же время отталкивающее впечатлѣніе. Это типическій образъ отжившаго безправія, которое называлось крѣпостнымъ правомъ. Въ „останные“ свои часы это право не хочетъ признать себя побѣжденнымъ, въ безуміи отвергаетъ естественный ходъ жизни и умираетъ окруженное смѣхомъ и презрѣніемъ народа, все еще смѣшаннымъ съ нѣкоторой боязнью: но умираетъ онъ все-таки въ сладкомъ сознаніи полного торжества, не замѣчая своего комическаго положенія. Все это очень хорошо выражено въ образѣ, созданномъ г. Некрасовымъ. Подобный образъ могъ воспроизвести лишь писатель, глубоко прочувствовавшій въ своей душѣ всю безправственность и безобразіе, всю формальную силу и все внутреннее безсиліе того гнета, представители котораго теперь сдѣлались „последышами“. На этотъ разъ г. Некрасовъ является настоящимъ поэтомъ, черпающимъ силу искренняго поэтическаго одушевленія изъ прожитыхъ имъ впечатлѣній, а не изъ ловкихъ соображеній насчетъ того, какъ бы либеральнѣе высказаться передъ публикой.

Не менѣе хороши вышли въ поэмѣ лица мужиковъ и вообще отношенія міра къ „уволенному“ барину. Шутовской бурмистръ, безшабашный Клима, угрюмый Агачъ, не выдержавшій шутовства и прорвавшійся энергическимъ нападениемъ „последышу“, „чувствительный халуй“ Пнатъ, бурмистрова кума Орефьева.—все эти лица нарисованы рельефными и сжатыми чертами очень удачно. Много чисто-народнаго сарказма въ потѣпной рѣчи шутовскаго бурмистра. Я не привожу ее здѣсь только за недостаткомъ мѣста, а стоило бы: эти рѣчи принадлежать къ числу лучшихъ страницъ поэзіи г. Некрасова.

Вобщемъ говоря, настоящая глава изъ обширной поэмы „Кому па Руси жить хорошо“ не только лучшая, но даже положительно неудобная для сравненія съ прочими главами,

слабыми и прозаичными въ цѣломъ, безпрестанно отдающими пошлостью, и только мѣстами представляющими нѣкоторыя достоинства. Замѣлательно, что даже рубленныя стихи, которыми написана названная поэма, въ „Послѣдышъ“ выходятъ прекрасными и выразительными, не рѣжутъ уха прозаичностью. Конечно, не вся сплошь поэма выдержана: встрѣчаются и въ ней строки сомнительнаго качества.

В. Буренинъ.

* * *

Талантъ Некрасова слишкомъ хорошо извѣстенъ всей читающей публикѣ и оцѣненъ ею, чтобы нужно было распространяться о немъ. Популярностью своею, въ настоящее время имъ значительно утраченною, онъ обязанъ не столько силѣ своего поэтическаго таланта (хотя и по силѣ этого таланта онъ стоитъ цѣлою головою выше остальныхъ современныхъ нашихъ поэтовъ), сколько „гражданскими мотивами“ своихъ произведеній, иногда отличающихся, кромѣ того, и нѣкоторою своеобразною повизною своей формы. Главная причина его успѣха заключается въ томъ, что онъ поэтъ-публицистъ. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, самъ поэтъ говорить о нихъ:

Я не льшусь, чтобъ въ памяти народной
Уцѣлѣло что-нибудь изъ нихъ;
Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ.

Приговоръ этотъ самому себѣ слишкомъ строгъ. Но нельзя не сказать того, что у Некрасова рядомъ со стихами, полными красотъ и силы чисто-Пушкинскихъ, встрѣчаются не только стихи совершенно неуклюжіе, но и цѣлая стихотворенія крайне неудачныя. Прибавимъ къ этому еще слѣдующее. Поэмы (къ этому роду онъ все болѣе и болѣе склоняется въ послѣднее время) обыкновенно ему не удаются: представляя во многихъ мѣстахъ первоклассныя красоты, онъ, въ цѣломъ, страдаютъ невыдержанностью, какъ бы не-

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1873 г., № 78. Статья ч. II.

дѣлѣнностью и, сверхъ того, отличаются иногда полнымъ отсутствіемъ стройнаго плана („Несчастные“), а иногда растянутастью („Коробейники“, „Морозъ красный носъ“).

Со всеѣми почти достоинствами и недостатками Некрасовской музы мы встрѣчаемся и во второмъ отрывкѣ изъ его „Русскихъ Женицѣнъ“, въ которомъ разсказывается эпизодъ изъ жизни княгини М. Н. Волконской (дочь знаменитаго генерала Н. Н. Раевского и жена декабриста князя С. П. Волконскаго), которая поѣздовала за своимъ мужемъ въ Сибирь. Вотъ этотъ-то эпизодъ изъ ея жизни и составляетъ содержаніе поэмы. Разказъ веденъ отъ лица самой героини.

Новая поэма Некрасова встрѣчена была нашею критикою довольно единодушными похвалами. Единственное исключеніе отсюда составляетъ одна только академическая газета, — и да эго она имѣеть, какъ извѣстно, многія причины. Съ одной стороны, она вообще считаетъ долгомъ смотрѣть враждебно на все, что не ея прихода; съ другой стороны, она имѣеть, сверхъ того, и специальный зубъ противъ „Отечественныхъ Записокъ“, которыя, кистью Щедрина, представили мастерской и уморительный портретъ ея кружка, окрестивъ ее названіемъ „Старѣйшей россійской пѣнооснимательницы“: наконецъ, самъ библіографъ академической газеты г. Z. принадлежигъ къ числу „униженныхъ и оскорбленныхъ“ редакціею „Отеч. Записокъ“, такъ какъ редакція эта забрала у нѣкаго-то творецыца г. Z., который, такимъ образомъ, получилъ, вмѣсто ожидаемаго имъ гонорара, обратно свою рукопись назадъ.

Если взять во вниманіе давно извѣстную всеѣмъ общинность пѣнооснимателей академической газеты и ихъ недобросовѣстность въ воинѣ съ литературными противниками, то для насъ станетъ совершенно понятнымъ, почему „Петербургскія Вѣдомости“, безъ зазрѣнія совѣсти, встрѣчаютъ бѣшеннымъ лаемъ все, что появляется въ „Отечественныхъ Запискахъ“ — наиболѣе замѣчательнаго, и почему г. Z., въ частности, накинывается даже на Щедрина, не замѣчая того, что въ этомъ случаѣ онъ представляетъ изъ себя Крыловскую морскую лающую на слона. Мы не можемъ примкнуть ни къ мнѣнію г. Z., ни къ рецензентамъ, безусловно воехи-

В. ЗЕЛИНСКІЙ. СБОРН. КРИТИЧ. СТАТЕЙ. 11

щающимся новой поэмой Некрасова. Мы, съ своей стороны, находимъ, что она, при всѣхъ своихъ достоинствахъ, не принадлежитъ къ лучшимъ его вещамъ, и богатый ея сюжетъ достоинъ былъ бы лучшей обработки. Стихъ ея въ большинствѣ случаевъ тяжелъ; патетическія мѣста нередко отличаются какою-то холодною дѣланностью, иногда звучагь фальшиво; наконецъ, она изобилуетъ ненужными подробностями, которыя страшно охлаждаютъ читателя своей прозаичностью. Вообще новая поэма Некрасова кажется не плодомъ свободного творчества, а какимъ-то часто неудачнымъ, очень прозаическимъ, но такъ будто букватымъ переложеніемъ въ стихи мемуаровъ княгини Волконской. Очевидно, что мемуары и поэма — двѣ вещи совершенно различныя, и въ этомъ заключается главѣйшій недостатокъ новой поэмы Некрасова.

По нашему мнѣнію, гораздо удачнѣе были отрывокъ изъ его поэмы „Кому на Руси жить хорошо“: при оригинальномъ складѣ, онъ отличается вытерканностью и дышитъ чисточароднымъ юморомъ, такъ что нѣкоторая его растянутость почти не утомляетъ читателя.

Изъ „Буржевыхъ Вѣдомостей“.

*) Между современными русскими поэтами г. Некрасовъ занимаетъ привлекательное положеніе. Когда, дѣтъ двѣнадцать назадъ, на поэзію и поэтовъ вообще въ журналистикѣ нашей поднялось жестокое гоненіе; когда любимѣйшіе и безспорно талантливыя поэты низвергались съ престоловъ, поражаемые громами фелетонной критики; когда публицисты въ поносахъ за общественнымъ зломъ, останавливались на стихахъ гг. Фета, Манюкова, Полонскаго, — въ эту тяжелую годину г. Некрасовъ счастливо избѣжалъ участи своихъ собратьевъ. Несмотря на то, что занятія поэіей единственно признаны петербургскою критикою не соответствующими достоинству развитого человека,

*) В. Г. А. Гельмъ, „Русскія Вѣдомости“ 1873 г., V 6. Статьею, въ главѣмъ: „Поэзія журнальныхъ мотивовъ“.

г. Некрасовъ невозбранно продолжалъ и продолжаетъ наполнять страницы самыхъ quasi прогрессивныхъ изданій своими стихами, и петербургская критика не находитъ, чтобъ обстоятельство это причиняло какой-либо ущербъ нашему общественному развитію. Короче, какая-то счастливая волна, видимо, отбѣлила г. Некрасова отъ общаго теченія и благополучно понесла его въ попутную сторону.

Повидимому, самъ г. Некрасовъ въ началѣ своего поэтического поприща вовсе не рассчитывалъ на такую выгодную карьеру. Въ одномъ изъ старыхъ своихъ стихотвореній онъ выражался такимъ образомъ:

Блаженъ незлобивый поэтъ,
Въ комъ мало желчи, много чувства:
Ему такъ искрененъ привѣтъ
Друзей спокойнаго искусства.
Ему сочувствіе въ толпѣ
Какъ ропотъ волнъ ласкаетъ ухо;
Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ—
Сей пытки творческаго духа:
Любя безпечность и покой,
Глушаясь дерзкою сатирой,
Онъ прочно властвуетъ толпой
Съ своею миролюбивою лирой.
Дивясь великому уму,
Его коварно не злословятъ,
И современники ему
При жизни памятникъ готовятъ...

Случилось, однако, совершенно наоборотъ. Къ особенному счастью г. Некрасова, „волны русскаго прогресса“ приняли такое теченіе, что утлая ладья незлобивыхъ поэтовъ оказалась опрокинутою и потопленною, а надъ поглотившею ихъ бездною побѣдно развизается парусъ обильнаго желчью г. Некрасова.

Ему сочувствіе въ толпѣ
Какъ ропотъ волнъ ласкаетъ ухо;
Онъ чуждъ сомнѣнія въ себѣ—
Сей пытки творческаго духа.

И въ то время, какъ современники „дивятся его великому уму и при жизни памятникъ готовятъ“, печальна судьба незлобиваго поэта:

Его преслѣдуютъ хулы:
Онъ ловить звуки одобренья
Не въ сладкомъ ропотѣ хвалы,
А въ дикихъ крикахъ озлобленья.

Этотъ „незлюбивый поэтъ“ есть, конечно, лицо собирательное: онъ олицетворяетъ собою всю ту поэтическую плеяду сороковыхъ годовъ, которая вынесла на своихъ плечахъ упомянутое гоненіе и приняла на свои головы молніи и громы, тщательно миновавшіе главу г. Некрасова. Правда, иначе едва ли и могло быть, такъ какъ самые грозные громы, обрушившіеся на поэтовъ, находились въ непосредственномъ распоряженіи г. Некрасова, какъ издателя *Современника* и *Свистка*.

Но не въ этой, конечно, внешней связи г. Некрасова съ журналистикой заключается тайна привилегированнаго положенія, въ какомъ видимъ мы его въ послѣднее время. Подъ этою внешнею связью, въ самой поэзіи г. Некрасова скрывается внутренняя связь съ тѣмъ направленіемъ, какое съ сороковыхъ годовъ неуклонно пыталась принять наша періодическая печать, и какое, въ концѣ-концовъ, выродилось въ явленіе, названное нами въ предыдущей статьѣ журнализмомъ. Внимательнымъ разборомъ поэзіи г. Некрасова мы надѣемся показать, что эта поэзія постоянно искала сближенія съ господствующимъ журнальнымъ направленіемъ, черпала изъ него свои силы и вдохновеніе, и изжила какъ разъ въ то время, когда изсякло движеніе въ петербургской журналистикѣ, растерявшей своихъ наиболее бойкихъ представителей и замкнувшейся въ узкій кругъ законченнаго отрицанія. Мы увидимъ, что поэтическая дѣятельность г. Некрасова двигалась постоянно параллельно съ движеніемъ нашихъ журнальныхъ идей, вѣрнымъ отраженіемъ которыхъ она всегда была, и вмѣстѣ съ которыми вступила теперь въ періодъ совершеннаго безплотія.

Иельніе это весьма поучительно. Какимъ образомъ поэтъ, не обдѣленный талантомъ, могъ обратиться къ такому сомнительному источнику вдохновенія, какъ петербургское журнальное издраніе, и замкнуть свою литературную карьеру въ кругъ его идей? А между тѣмъ, изучая

г Некрасова въ связи съ общимъ движеніемъ нашей поэзіи и литературы вообще, нельзя не убѣдиться, что въ то время, какъ другіе поэты искали вдохновенія въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчно-юныхъ идеалахъ искусства, г Некрасовъ принималъ впечатлѣнія жизни изъ вторыхъ рукъ, поскольку они отразились въ теченіи журнальныхъ идей, служившихъ для него единственною духовною пищей. Поэзія г. Некрасова вырабатывалась въ редакціяхъ и служила постоянно какъ бы иллюстраціей направленій, попеременно господствовавшихъ въ извѣстной части журналистики.

Наша новая поэзіи вышла цѣлкомъ изъ Пушкина. Антологическія и лирическія стихотворенія Пушкина были источникомъ, къ которому послѣдующія поколѣнія поэтовъ постоянно обращались. Эта близкая связь съ Пушкинымъ не была результатомъ простаго подражанія: родство обусловливалось тѣмъ, что многосторонній геній поэта обнялъ всю область поэзіи и указалъ въ ней пути, съ которыхъ нельзя сойти, не разрывая съ вѣчными законами искусства. Пушкинъ первый заговорилъ у насъ тѣмъ языкомъ, въ которомъ выразились не субъективныя чувства, симпатіи и вкусы поэта, но исповѣдь благороднаго представителя вѣка, которому ничто человѣческое не чуждо. Онъ отрѣшилъ русскую поэзію отъ мечтательнаго, заимствованнаго романтическаго идеализма, каковымъ она была запечатлѣна подъ перомъ Жуковскаго, и привелъ ее въ соприкосновеніе съ бьющимся пульсомъ жизни— жизни образованнаго и мыслящаго общества. Въ поэзіи Пушкина находили отраженіе своихъ идей и впечатлѣній не одни только любители искусства, но всѣ, кто умѣлъ благородно мыслить и чувствовать, кому доступны были общечеловѣческія идеи добра, правды и красоты.

Лермонтовъ былъ непосредственнымъ продолжателемъ Пушкина. Его поэзія запечатлѣна субъективнымъ чувствомъ, сильно отличающимся отъ Пушкинскаго, не вѣдь этого субъективнаго чувства онъ шелъ рабски по пути, продолженному его великимъ учителемъ. Самъ онъ не проложилъ новыхъ путей: даже вышнія поэтическія формы у него тѣ

же, что у Пушкина, — тѣ же поэмы, въ которыхъ сила лирическаго чувства и красота описаній выкупають бѣдность романческаго содержанія, тѣ же краткія и сильные лирическія стихотворенія, тотъ же шутиливый тонъ въ изображеніяхъ вѣдливой современной жизни, тотъ же, наконецъ, четырехстопный ямбъ. Поэтическая техника значительно усовершенствована Лермонтовымъ, хотя онъ не достигъ желѣзной выразительности Пушкинскаго стиха послѣдняго періода: описательныя мѣста въ его поэмахъ иногда избыточны, чѣмъ у Пушкина, но зато нѣкоторые роды поэзіи, коими Пушкинъ владѣлъ въ совершенствѣ, остались для Лермонтова совершенно недоступными, какъ, напримѣръ, автологическій родъ, которому Пушкинъ научился у Гете, Шенке и Батюшкова. Въ общемъ, Лермонтовъ послужилъ какъ бы повѣркой Пушкина, доказавъ, что созданіе послѣднимъ пріемы въ высшей степени жизненны, и намѣченные имъ пути могутъ вести къ безконечному развитію.

Со смертію Лермонтова, въ поэзи нашей наступаетъ продолжительное затишье. Поэты Пушкинскаго цика умолкаютъ: новые таланты зрѣютъ медленно. Бодрище, грезвое и свѣтлое настроеніе Пушкинскаго поэзіи какъ бы изсякло не только въ литературныхъ кружкахъ, но и въ самомъ обществѣ: чувствуется, что новое поколѣніе поэтовъ должно принести съ собою другой, не-Пушкинскій тонъ. И въ самомъ дѣлѣ, когда съ конца сороковыхъ годовъ вступаетъ на литературное поприще новая поэтическая плеяда, иной тонъ ясно слышится въ нашей новой поэзіи, хотя она продолжаетъ разрабатывать тѣ же темы, остается въ тѣхъ же формахъ и напоминаетъ тѣ же звуки.

Критика пятидесятихъ годовъ много способствовала уясненію поэтовъ того времени, но общая оцѣнка даровитой плеяды, въ которой соединились имена гг. Майкова, Фета, Полонскаго, Тютчева, Щербини, Мей, еще ждетъ безпристрастнаго слова. Рецензенты пятидесятихъ годовъ очень много сдѣлали для того, чтобы, такъ сказать, провести названныхъ поэтовъ въ публичку, создать въ обществѣ массу цѣнителей поэтическихъ дарованій (служба, которою, замѣтимъ мимоходомъ, гнушается современная критика), но явленія, выз-

вавшія извѣстныя новыя тѣмъ поэзіи того времени и сообщившія много родственныхъ чертъ цѣлому кружку поэтовъ, остались не разъясненными. Между тѣмъ, изучая этихъ поэтовъ, нельзя не убѣдиться, что они руководились однимъ и тѣмъ же взглядомъ на поэзію, и, несмотря на литературную самостоятельность каждаго изъ нихъ, черпали вдохновеніе изъ одного и того же источника и разрабатывали поэтическія темы въ одномъ и томъ же направленіи. Такое совпаденіе, конечно, не могло быть случайнымъ, и въ общемъ ходѣ нашего развитія критика неминуемо должна найти явленія, его обусловившія.

Безпокойно-страстное и неудовлетворенное чувство, охватившееся въ нашей поэзіи сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, было удѣломъ цѣлаго поколѣнія, и не у насъ только, но и въ Европѣ. Въ избранныхъ умахъ господствовало чувство утомленія и недовольства, которое съ такою строгостію и такимъ горькимъ смѣхомъ выразилось въ поэзіи Гейне. Какъ поэтъ, выплакавшій въ стихахъ горе и боль своего вѣка, Гейне непосредственно стѣдуетъ за Байрономъ. У насъ вліяніе Гейне было всестороннее и продолжительное. Ботъвиненный смѣхъ Гейне, этотъ смѣхъ надъ тѣмъ самымъ, что онъ любитъ, пришелся какъ нельзя болѣе по вкусу русскому обществу, всегда расположенному сомнѣваться въ себѣ самомъ и смѣяться надъ собою. Гейне былъ встрѣченъ у насъ какъ родной пѣвецъ, и у каждаго русскаго поэта нашлось въ душѣ отголосокъ на его чѣни. Довольно припомнить, что поэты самыхъ противоположныхъ направленій переводили Гейне и подчинялись его вліянію; у каждаго нашлись струны, звучавшія согласно съ его лирою.

Эта госктивал струна внутреннего разлада слынигся, на-
примѣръ, въ поэзіи г. Фета, и только близорукіе не замѣ-
чаютъ ея за страстными звуками любви.

Находятъ дни: съ самимъ собою
Борются сердцу тяжело..
И духа злобы надъ душою
Я слышу тяжкое крыло.

Самая любовь—страстная и мечтательная—является у г. Фета
лишь какъ бы исходомъ изъ замкнувшагося круга вну-

треннихъ страданій. Есть у г. Фета одно стихотвореніе, въ которомъ жажда счастья и недугъ сомнѣвающагося духа выразились очень ясно; стихотвореніе это озаглавлено: *Весеннія мысли*.

Снова птицы летать издалека
Къ берегамъ, расторгающимъ ледъ,
Солнце теплое ходитъ высоко
И душнѣстаго ландыша ждетъ.
Снова въ сердцѣ ничѣмъ не умѣришь
До лавить восходящую кровь, ,
И душою *подкупленной* вѣришь.
Что какъ міръ *безконечна* любовь.
Но сойдемся ли снова такъ близко
Средь природы развѣженной мы,
Какъ видало ходившее нѣзко
Насъ холодное солнце зимы?

Только въ рѣдкія мгновенія страсти, когда разумокъ теряетъ свою власть, поэтъ находитъ короткое, но полное счастье:

О, называй меня безумнымъ! Назови
Чѣмъ хочешь. *Въ этотъ мигъ и разумомъ слабою*
И въ сердцѣ чувствую такой приливъ любви,
Что не могу молчать, не стану, не умѣю!

Изъ этой борьбы неудовлетвореннаго духа съ жаждою счастья, самозабвенія, истекаютъ два параллельныя теченія, проходяція по всей поэзии г. Фета: скорбное томленіе души и поэтическое чувство, обращенное къ женщинѣ. Только подлѣ любимаго существа находитъ поэтъ разрѣшеніе своего недуга, тяжкое крыло „духа злобы“ перестаетъ вѣять надъ нимъ, и больная душа волнуется „пѣною томительной“ во власти „неосказаннаго стремленія“. Припомнимъ предѣльные строки изъ стихотворенія *Муза*:

Мнѣ Муза молодость ную указала:
Отягощала прядь душнѣстая волосъ
Головку дивную узломъ тяжелыхъ косъ;
Цѣпты послѣдніе въ рукѣ ея дрожали;
Отрывистая рѣчь была *полна* печали
И желской прихоти и серебристыхъ грезъ,

*Несказаннымъ мукъ и неконятымъ слезъ.
Какой-то нѣгою томительной волнуемъ,
Я слушалъ, какъ слова встрѣчались съ поцѣлуемъ,
И долго безъ нея душа была больна.
И несказанно стремился волна.*

Стихотвореніе это задумано въ антологическомъ родѣ, но у г. Фета античная муза превратилась въ мечтательный, полупрозрачный призракъ *сѣверной* поэтисы. Напрасно искали бы мы въ немъ пластичности, роскоши и силы: это мечтательный, блѣдный образъ, созданный изъ серебристыхъ лучей мѣсяца:

Если зимнее небо звѣздами горитъ
И мечтательно свѣтитъ луна,
Предо мною твой образъ, твой дивный, скользитъ,
Словно ты изъ лучей создана
И свѣтла и легка, ты несешься туда...
Я гляжу и молю хоть слѣдовъ...
И свѣтла и легка—но зато ни слѣда,
Только грудь обуяетъ любовь...

Отъ этого мечтательнаго образа вбѣгъ сѣверомъ, словно отъ героини зимней сказки:

Знаю я, что ты, *малютка*,
Луной ночью не робка:
И на свѣгъ вижу утромъ
Легкій оттискъ башмачка.
Правда, ночь при свѣтѣ лунномъ
Холодна, тиха, ясна;
Правда, ты не даромъ, другъ мой,
Покидаешь ложе сна:
Бриллианты въ свѣтѣ лунномъ,
Бриллианты въ небесахъ,
Бриллианты на деревьяхъ,
Бриллианты на свѣгахъ.
Но боюсь я, другъ мой милый,
Какъ бы въ вихрь духъ ночной
Не завъялъ бы тропняку,
Проложенную тобой.

Присутствіе этого мечтательнаго и чистаго существа отрадно тѣлствуетъ на поэта: въ минуту душевнаго умиленія, онъ спрашиваетъ:

Не здѣсь ли ты *легкою тѣнью*,
Мой гевій, мой ангелъ, мой другъ,
Бесѣдуешь *тихо* со мною
И *тихо* *летаешь* вокругъ?
И робкимъ даршишь вдохновеньемъ,
И *сладкій* *врачуешь* недугъ,
И тихимъ даришь словидѣньемъ...

Поэтъ вѣрнѣ въ молитвенную чистоту этой женщины-младенца и ищетъ подтѣвныя силы въ борьбѣ съ тѣмъ „духомъ злобы и сомнѣнья“, крыло котораго порою тяжело вѣситъ надъ нимъ:

Какъ ангелъ неба безмятежный.
Въ сѣнѣяхъ тихаго огня,
Ты помолился душою явжной
И за себя и за меня.
Ты отъ меня любви словами
Сомнѣнья духа отжегъ,
И сердце тихими крылами
Твоей молитвы осыни.

Этотъ поэтически образъ, въ которомъ черты Шекспировскихъ женщинъ — Дездемоны, Офеліи, Корделіи — слились съ прозрачными красками сѣверныхъ сагъ, необыкновенно гармонируетъ съ лиризмомъ нашей поэзіи послѣ-Пушкинскаго періода. Эта *малютка*, созданная изъ серебристо-сѣваго сѣянца зимней ночи, съ печалью на скорбномъ лицѣ, со слѣдами слезъ на ясныхъ глазахъ, съ поспѣлыми блеклыми цвѣтами въ рукѣ, съ очарованьемъ, молитвенной благодати, вѣющимъ отъ всего сущаго ея, — та женщина особенно близка и дорога для больного сына възжа, ищущаго выхода изъ чувства неудовлетворенія и сомнѣнія, уязвленнаго жаждою *міровой скорби* и полнаго *несказаннаго стремленія*. Близъ этой женщины приугнетается острое чувство, и душевная боль разрывается сладкимъ томленіемъ...

Мы старались уловить этотъ образъ въ поэзіи г. Фета, потому что ни у кого не выразился онъ съ такою прозрачностью; но онъ живетъ и у другихъ поэтовъ того же круга, напримѣръ, у г. Тютчева и у г. Полонскаго. Ощущеніе неудовлетворенности, стремленіе къ выходу, къ отвлеченію — есть общая черта всей нашей поэзіи сороковыхъ и пятиде-

снх годовъ. У г. Манкова это чувство выразилось въ другой формѣ, но съ немальною силой, въ лучшемъ его произведеніи: *Три Смерти*, не говоря уже о многихъ мелкихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, отразившихъ на себѣ вліяніе Гейне.

Замѣчательно, что критика времени вовсе не замѣтила, насколько тонъ этой поэзіи и ея вдохновеніе исходятъ изъ глубины жизни и духа времени. Чувство неудовлетворенія, проходящее обильною струей въ этой поэзіи, ускользнуло отъ вниманія критики, видѣвшей только поэтическія темы, которыя казались ей весьма удаленными отъ жизни, и проглядѣвшей незримую нить, связывавшую эти темы съ обществеными историческими условіями. Критика замѣчала только, что поэты поютъ о любви, о женщинѣ, что чувствуемая въ ихъ поэзіи страсть, есть страсть къ женщинѣ,—и когда въ концѣ сороковыхъ годовъ въ журналистикѣ нашей возникла идея о необходимости ближайшей связи литературы съ жизнью, вся не-Некрасовская поэзія весьма смѣло была отнесена къ области „чистаго искусства“, пребываніе въ которой для писателя сдѣлалось предосудительнымъ. Къ шестидесятымъ годамъ такой взглядъ утвердился окончательно со всеми крайностями увлеченія, и поэты не-гражданскаго заката торжественно поставлены на одну доску съ ворами (въ извѣстныхъ стихахъ г. Некрасова:

Одни—стяжатели воров,
Другіе—сладкіе пѣвцы).

Разсматривая поэзію болѣе со стороны формъ, чѣмъ внутренняго содержанія, журналистика конца сороковыхъ годовъ нашла ее весьма далекою отъ возникавшихъ тогда общественныхъ задачъ, и заявила требованія, которымъ поэты послѣ-Пушкинскаго періода весьма мало, по ея мнѣнію, удовлетворяли. Журналистика требовала прежде всего отрицанія существующаго общественнаго строя. Она не замѣтила, что и безъ того отрицаніе было мотивомъ поэзіи Гейне и его послѣдователей: она хотѣла отрицанія рѣзкаго, голаго, не прикрытаго поэтическимъ стремленіемъ къ красотѣ и къ художественнымъ идеаламъ. Все облакавшееся

въ художественныя формы казались ей бесполезнымъ, не достигавшимъ тенденціозной цѣли. Поэзія должна была служить протестомъ противъ социальнаго неравенства; въ этомъ смыслѣ поэтическое поклоиеніе красотъ признавалось чѣмъ-то аристократическимъ. Симпатіи журналистики перенесены были на такъ-называемую меньшую братію, объ освобожденіи которой отъ социальныхъ оковъ давно уже говорила европейская печать. Отсюда возникло требованіе народности, то-есть литературы предписано было заняться бытомъ и интересами русскаго крестьянина и отстраниться отъ художественныхъ идеаловъ, какъ чуждыхъ народной или, вѣрнѣе, простонародной жизни. Извѣстныя строки Пушкина

Не для житейскаго волненья
Не для корысти, не для битвы,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ—

сдѣлались предметомъ раздора въ нашей периодической печати, усмотрѣвшей въ этомъ опредѣленіи поэта прямое противорѣчіе возникавшимъ новымъ требованіямъ. Г. Некрасовъ отзывался на это движеніе стихотвореніемъ: *Поэтъ и гражданинъ*, въ которомъ ставитъ спорный вопросъ такимъ образомъ:

Пушкой ты вѣрнопъ назначенью,
Но легче ль родникъ твой?

Онъ не прибавляетъ, было ли бы родникъ легче, если бы поэтъ измѣнилъ своему назначенію. Въ этомъ же стихотвореніи онъ посвящаетъ „сладкимъ“ поемамъ такія строки:

... Громъ ударилъ; буря стонетъ
И сваста рветъ, и мачту клонитъ—
Не время въ шахматы (?) играть,
Не время пѣсни распѣвать!
Вотъ пѣсь—и тотъ опасность знаетъ
И бѣшено на вѣтеръ лаетъ:
Ему другого дѣла нѣтъ...
А ты что дѣлалъ бы, поэтъ?
Ужель въ каютѣ отдаленной
Ты сталъ бы лирой вдохновенной
Лѣнцевъ уши улаживать
И бури грохотъ заглушать?

Однако, развѣ лучше, и достойнѣе, и полезнѣе дать перомъ на вѣтеръ?.. Въ обстоятельствахъ, какія описываетъ г. Некрасовъ въ вышеприведенныхъ стихахъ, люди литературой не занимаются, ни чистою ни нечистою, а потому аллегорія лишена значенія и силы.

Поэтическая дѣятельность г. Некрасова такъ тѣсно сплелась съ судьбами петербургской журналистики, что ее нельзя разсматривать внѣ этой связи. Выступивъ на литературное поприще въ одно время съ возникновеніемъ новаго журнальнаго направленія, онъ до такой степени точно сформировать свою поэзію съ этимъ направленіемъ, что нерѣдко стихи его служили только рифмованнымъ перифразомъ журнальных статей, и постоянно—отголоскомъ журнальных требованій. Услужливость г. Некрасова въ этомъ отношеніи не имѣетъ предѣловъ: перебирая пять томовъ его стихотвореній, можно преслѣдить по нимъ весь ходъ нашей журналистики. Возникло, напримѣръ, въ сороковыхъ годахъ требованіе народности, и г. Некрасовъ написалъ своего *Огородника* и *Въ огороѣ* какъ разъ въ томъ самомъ духѣ и направленіи, какъ понимали народность въ петербургскихъ редакціонныхъ кружкахъ. Правда, эта народность очень походила на петербургскаго ряженаго троечника, въ плюсовой поддевкѣ и шапкѣ съ пѣтушьямъ перомъ, пасквилировавшаго трактирную пѣсню: но наши литературные кружки, и въ особенности кружокъ Бѣлишевскаго, только и понимали народность въ этомъ ряженомъ видѣ, въ какомъ она являлась у столичныхъ квазі-ямщиковъ и у Палкинскихъ полковыхъ прежняго времени. Настоящая, неряженая русская жизнь оставалась всегда чуждою нашимъ петербургскимъ наблюдателямъ: они понимали въ ней только бахвальство двороваго слуги и ухарства *литератка*. Г. Некрасовъ, занимавшій свое чувство народности изъ петербургскихъ журналовъ, естественно долженъ былъ положить на нее тотъ самый отпечатокъ, съ какимъ она являлась въ нраволюбивомъ сознаніи людей, наблюдавшихъ ее у Палкина и подъ балаганами: русский простолюдинъ предсталъ въ стихахъ г. Некрасова въ красной рубахѣ, съ серебряною серьгой въ одномъ ухѣ, „круглолицъ, бѣлолицъ,

„Кудри черныя лень“, въ плетевыхъ шароварахъ и съ гармошкой въ рукахъ. Впоследствии, когда знание и понимание народности сдѣлало успѣхи въ самой петербургской журналистикѣ, когда точка зрѣнія на народность въ ней перемѣнилась, и, вмѣсто ухарства и бахвальства, стали замѣчать въ народной русской жизни лохмотья, нищету, тяжелое бремя чернорабочаго труда, въ минимъ-народной поэзій г. Некрасова явились другія краски. Вспѣлъ за журналистами опять увидѣть нищету и лохмотья, кумачная рубашка смѣнилась рубищемъ, трактирная пѣсня—стономъ бурлаковъ, тавяшихъ лямку. Но вдохновенье опять шло не изъ непосредственнаго наблюденія жизни, а изъ журнальных статей, и потому опять звучало фальшивое, дѣйствительныя черты народнаго духа, такая углублялась, напримѣръ, г. Достоевскій въ *Запискахъ изъ Мертваго Дома* или Андрей Печерскій, остались незамѣченными г. Некрасовымъ, хотя у него есть стихотворенья, прямо называющія *Записками изъ Мертваго Дома*. Фальшивость происходила оттого, что почерпнутое у г. Достоевскаго мотивы г. Некрасовъ проводилъ съвозъ горюило воззрѣній редакціи *Современника*, измѣняя точку зрѣнія, и въ этомъ процессѣ перегорали краски, полученные изъ непосредственнаго художественнаго наблюденія. Впрочемъ, подѣльность народной поэзій г. Некрасова такъ очевидна, что излишне распространяться объ этомъ предметѣ.

Гораздо любопытнѣе изслѣдовать, какъ отразилось въ стихахъ нашего поэта то движеніе социалныхъ идей, которое съ половины сороковыхъ годовъ составляетъ внутреннее содержаніе петербургской журналистики. Мы видѣли, что критика, просматривая социальное и историческое значеніе нашей художественной поэзій послѣ-Пушкинскаго періода, и замѣтивъ только ея внѣшнее содержаніе, ея темы, посвященныя либви, женщинѣ, красотѣ, осудила эту поэзію въ имѣ общечеловѣческихъ и гражданскихъ идей. Осудивъ содержаніе, она осудила также и форму, въ художественной виртуозности которой она видѣла нѣгу звуковъ, не гармонизирующую съ тѣми новыми темами, которыя журналистика претендовала внести въ поэзію. Журнализмъ потребовалъ

отъ поговѣй суровыхъ пѣсенъ, суровыхъ образовъ, которые воплотили бы въ себя борьбу человечества за социальныя права, въ которыхъ звучали бы отголоски страданий, стоны пролетаріевъ, задавленныхъ социальнымъ неравенствомъ. Насколько все это было примѣнимо къ русской жизни въ социальныя условія крѣпостного права—журналистика не разсуждала. Видя сама изъ условій чуждой жизни, она поставила своею задачею: отыскать во что бы то ни стало аналогическія условія въ русскихъ порядкахъ, и такъ или иначе ввести русскую жизнь въ социальное движеніе, въ котораго нашу журнализмъ не умѣлъ найти для себя содержания. Явилось требованіе, чтобы наша поэзія служила отголоскомъ этой борьбы, чтобы она забыла „пѣсни любви и лѣни“. Новая поэзія должна была нарядиться въ лохмотья социальной нищеты, облечься въ „суровый, неуклюжій стихъ“, и забыть о „праздникѣ жизни“, потому что на этомъ праздникѣ много званыхъ, но мало избранныхъ. Защитница униженныхъ и угнетенныхъ, она должна рыдать и скорѣть, обливаясь желчью и негодованіемъ.

Г. Некрасовъ вызвался съ точностью удовлетворить этимъ новымъ требованіямъ. Онъ вѣритъ, что въ этихъ именно требованіяхъ заключается его поэтическое призваніе:

... Рабо надо мной отяготили узы
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдыяковъ,
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ,—
Той Музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей,
Которой золото—единственный кумиръ...
Въ уславу новаго пришельца въ Божій міръ,
Въ убогой хлибѣ, предъ дымною лучиной,
Согбенная трудомъ, убитая кручиной,
Она пѣвала мнѣ—и половъ была тоской
И вѣчной жалобой напѣвъ ей простой.
Случалось, не стерпѣвъ томительнаго гори,
Вдругъ плакала она, мопмъ рыданьямъ вторя.
Или тревожила младенческой мой умъ
Разгульной пѣсней... Но тотъ же скорбный стонъ
Еще пронзительнѣй звучалъ въ разгулъ шумномъ.

Все слышалось въ немъ въ смѣшеніи безумномъ:
Расчеты мелочной и грязной суеты,
И юношескихъ лѣтъ прекрасныя мечты,
Погибшая любовь, подавленные слезы,
Проклятія, жалобы, безсильныя угрозы.
Въ порывѣ ярости, съ неправдою людскою
Безумная клялась начать упорный бой,
Предавшись дикому и мрачному веселью,
Играла бѣшено моею колыбелью,
Кричала: мщеніе! и буйнымъ языкомъ
Въ сообщники свои звала Господень громъ!

Какая мрачная и дикая программа! Рыдающій вопль и буйный разгулъ какой-то ширь во время чумы, Фаустъ, Гете и пластическія фантазіи Макарта... И г. Некрасовъ неоднократно возвращается къ этой программѣ: онъ любитъ вообразить себя пивцомъ скорби и страданія, любитъ находить въ своей поэзіи жемчъ и метительное чувство:

Если долго сдержанныя муки
Накшѣвъ, подь сердце подойдутъ,
Я пйшу
Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ!
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства...
Но кипятъ въ тебѣ живая кровь.
Торжествуетъ метительное чувство...

Даже воспоминанія собственнаго дѣтства, съ такимъ примиряющимъ и освѣжающимъ вліяніемъ дѣйствующія на человека, будятъ въ душѣ г. Некрасова лишь мрачныя образы и озлобленное чувство. Онъ радъ, что время разрушило гнѣздо, въ которомъ протекли его первые годы, что измѣнился даже наружный видъ родной стороны:

И съ отвращеніемъ кругомъ кидая взоръ,
Съ отрадой вижу я, что срубленъ темный боръ —
Въ томящій лѣтвій зной защита и прохлада —
И пива выжжена, и праздно дремлетъ стадо,
Попуривъ голову надъ высохшимъ ручьемъ,
И на-бокъ валяется пустой и мрачный домъ.
Гдѣ вторгаль звону чашъ и гласу ликованій
Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій
И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ,
Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ...

Таковъ г. Некрасовъ, когда онъ обращается къ своему внутреннему чувству или строить программу собственной поэтической дѣятельности. Но эта программа походитъ на великолѣпныя проиллюстрированныя путешествіи, за которыми путешественникъ неожиданно встрѣчается съ небольшою постройкой весьма посредственной архитектуры. Такое же разочарованіе испытываетъ читатель, когда отъ вышеприведенныхъ стихотвореній переходитъ къ тѣмъ произведеніямъ г. Некрасова, которыя упрочили за нимъ званіе сатирическаго поэта. Оказывается, что „скорбный стонъ, подавленные слезы, проклятія, жалобы, безсильныя угрозы“ Некрасовской музы направлены на предметы, нѣсколько водевильнаго свойства и во всякомъ случаѣ не имѣющіе того какъ бы стихійнаго значенія, котораго читатель расположенъ ожидать. Предметами сатиры являются то вытѣзающій изъ канцелярскихъ погребовъ бюрократъ, оставляющій съ сѣтью міра сего „съ глазу на глазъ красавицу-дочь“, то опять тотъ же бюрократъ, живущій „согласно съ строгою моралью“ и подкарауливающій похищенія своей жены, чтобъ уличить ее „съ полиціей“; то опять все тотъ же неизмѣнный бюрократъ, устранивающій своей дочери „прекрасную партію“, затѣмъ опять онъ же, не умѣющій голоднаго отъ пьянаго отличить, и, наконецъ, опять онъ же, гуляющій по Невскому и обѣдающій въ Англійскомъ клубѣ. Для разнообразія мелькаютъ порою въ сатирѣ г. Некрасова помѣшкы старыхъ временъ, рыскающій по полю съ борзыми и ломающій ребра встрѣчному и поперечному, да падшая женщина, давящая рыскаками петербургскихъ пѣшеходовъ.

Таковы постоянныя, любимыя темы тѣхъ стихотвореній г. Некрасова, которыя наиболѣе нравились публикѣ и наиболѣе содѣйствовали упроченію его литературной репутаціи. Уровень сатиры, очевидно, весьма невысокъ и ни мало не соответствуетъ гранціознымъ задачамъ, которыя воображеніе предписало поэту. Читатель опять встрѣчается здѣсь съ пошловатымъ отпечаткомъ канцелярскаго либерализма и водевильно-фельетонной литературы чисто-петербургскаго происхожденія. Заимствованность вдохновенія не изъ непосредственнаго, широкаго изученія жизни, а изъ ли-

тературы, точка зрѣнія наблюдателя, обзрѣвающего окружающую его дѣйствительность съ панорамой Невскаго проспекта, —сказываются въ сатирахъ г. Некрасова такъ же очевидно и ясно, какъ и въ его много-народныхъ произведеніяхъ. Идея социальнаго протеста, служащая содержаніемъ нашей новой литературы, прошла черезъ журнальную реторту и получила въ ней тотъ водевильно-канцелярскій оттѣнокъ, которымъ запечатлѣна вообще петербургская печать. Въ этомъ процессѣ все, что названная идея заключала въ себѣ грандіознаго, общечеловѣческаго, осыло на стѣнкахъ дистиллирующаго снаряда, и осталась маленькая, худосочная и дѣйная, выражающая протестъ загнаннаго петербургскаго чиновника противъ выдѣзнаго въ люди бюрократа Униженный и оскорбленный, о сочувствіи къ которому вызвала журналистика, найдетъ въ лицѣ маленькаго чиновника, который

Въ провіантскую комиссію,
Поступивши, напримѣръ,
Покупалъ свою провизію—
Вотъ какой милліонеръ!

Это было очень естественно со стороны поэта, почерпавшаго свое вдохновеніе изъ міросозерцанія *Современника*. Когда этой журналистикѣ понадобилось во что бы то ни стало отыскать въ русской жизни условія социальной борьбы—нѣтъ ничего удивительнаго, что эти условія найдены въ явленіяхъ ближайшей дѣйствительности, въ петербургской жизни—единственной доступной наблюденіямъ журнальных дѣятелей. Этотъ петербургскій букетъ, составившійся изъ нищеты и скуки чиновничьяго существованія и водевильныхъ развлеченій уличной и трактирной жизни, отразился всецѣло въ поэзіи г. Некрасова и пропиталъ ее своимъ крѣпкимъ запахомъ. Остроуміе Александринской сцены и развязная пронія, не чуждая разгильдяйства театральнаго буфета, окропить обильною струей эту чисто-петербургскую сатиру, относительно которой самъ авторъ, очевидно, приходитъ въ заблужденіе, подозрѣвая, будто его муза, „личащаяся, скорбящая и болящая, всечасно жаждущая, униженно просящая“, путемъ этой водевильной сатиры,

Въ порывѣ ярости, съ неправдою людскою
Безумная клялась начать упорный бой.

Бой оказывается не столько упорнымъ, сколько однообразнымъ, и значение этой „безумной“ борьбы сатирическаго поэта съ недугами и язвами своего вѣка постепенно умалется по мѣрѣ того, какъ мы отъ замысловъ переходимъ къ исполненію. Перѣдко содержаніе Некрасовской сатиры замѣчательнымъ образомъ совпадаетъ со статьями *Петербургскаго Листка*, обличительное усердіе котораго такъ высоко цѣнится столичными дворниками и лавочниками. Г. Некрасовъ не брезгаетъ говорить своимъ „неулыбкимъ стихомъ“ о неудобствѣ петербургскихъ мостовыхъ, о цвѣлой водѣ въ каналахъ и о дурномъ воздухѣ, какимъ дышатъ лѣтомъ обитатели столицы. Въ стихотвореніяхъ подобнаго содержанія, въ самомъ тонѣ встрѣчается замѣчательно близкое сходство съ благонамѣренно-обличительными статьями уличныхъ листовъ. Вотъ небольшой примѣръ изъ сатиры *О лѣтѣ*, гдѣ г. Некрасовъ слѣдующимъ образомъ „бичуетъ“ недостатки Петербурга лѣтомъ:

Но кто лѣтомъ толкается въ немъ,
Тотъ ему одного пожелаетъ —
Чистоты, чистоты, чистоты!
Грязны улицы, лавки, мосты,
Каждый домъ золотухой страдаетъ;
Штукатурка валяется — и бьетъ
Тротуаромъ идущій народъ,
А для вдушихъ есть мостовая,
Не шалящая бѣдныхъ боковъ:
Лѣтомъ взрываютъ ее, починая,
Да наставить зловонныхъ костровъ:
Какъ дорогой бросаются въ очи
На зеленомъ лугу свѣтляки,
Ты замѣтишь въ туманныя ночи
На вершинѣ костровъ огоньки —
Берегись! Въ дополненіе, съ мая,
Не весьма-то чиста, и всегда,
Отъ природы отетать не желая,
Зацвѣтаетъ въ каналахъ вода...

Санитарное содержаніе этихъ строкъ и несвѣжая острота о петербургскихъ каналахъ, зацвѣтающихъ весной, чтобы не отетать отъ природы, прямо указываютъ, что вдохновеніе

поэта заимствовано въ настоящемъ случаѣ изъ фельетоновъ весьма невысокаго свойства. На поэтаъ отразилось уже пониженіе уровня петербургскаго журнализма, замѣтное съ шестидесятыхъ годовъ.

Мы имѣли уже случай указать въ началѣ этой статьи на близкую связь поэзіи г. Некрасова съ судьбами петербургской журналистики. Дѣйствительно, едва ли есть другой поэтъ, творчество котораго находилось бы въ такой роковой зависимости отъ уровня журнальныхъ идей. Лучшимъ періодомъ въ поэтической дѣятельности г. Некрасова были сороковые и пятидесятые годы, то-есть именно тѣ годы, когда петербургская журналистика обнаруживала и некоторую жизненность. Хотя и въ этотъ періодъ большая часть стихотвореній г. Некрасова представляется весьма слабою въ смыслъ непосредственнаго художественнаго творчества, хотя лучшія его произведенія носятъ несомнѣнную печать журнальныхъ вѣяній, но самыя эти вѣянія были свѣжѣе. Журналистика хотя становилась болѣе и болѣе тенденціозною, но тенденціозность еще не противопоставалась таланту, не исключала самостоятельной работы мысли. Притокъ общественныхъ идей въ художественную литературу первоначально сообщилъ ей большую глубину содержания, и одинъ изъ самыхъ даровитыхъ ревнителей тогдашняго журнализма, Бѣлинскій, безъ сомнѣнія, очень бы удивился, если бы ему сказали, что черезъ двадцать лѣтъ тѣ живыя силы, которыя онъ стремился вызвать въ литературѣ, замкнутся въ заколдованный кругъ либеральной формалистики и приведутъ къ полному застою и мертвечинѣ.

Наше журнальное движеніе съ шестидесятыхъ годовъ послѣдовало, однако жъ, именно по этому злополучному пути. Живая струя, питавшая ее въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, видимо, изсякла, и съ тѣмъ вмѣстѣ измельчало ея внутреннее содержаніе. Самостоятельная работа мысли замѣнилась формализмомъ: перестали искать живого и свѣжаго слова, авторской индивидуальности, потому что всякая индивидуальность враждебна предустановленной тенденціи. Въ предыдущей статьѣ нашей: *Нужна ли намъ литература?* мы видѣли, до какой степени понизились требованія, предъ-

являемія къ литературѣ повѣншею критикой. Мы видѣли, что даже въ произведенія Гоголя, за которыми критика Бѣлинскаго признавала огромное общественное значеніе, не удовлетворяютъ современный журнализмъ, потому что представляютъ нѣчто болѣе глубокое и высшее, чѣмъ эфемерные интересы журналистики. Это мелководье современнаго журнальнаго уровня выразилось еще яснѣе въ слѣдующей статьѣ г. Пыпина (*Вѣстникъ Европы*, май), посвященной Бѣлинскому. Критикъ нашихъ дней даетъ оцѣнку критика сороковыхъ годовъ, при чемъ огромное разстояніе между ними сказывается противъ воли г. Пыпина съ полною выразительностью. Г. Пыпинъ увидѣлъ въ Бѣлинскомъ совѣтъ не то, что, конечно, составляетъ его главную заслугу. Замѣчательный критическій талантъ Бѣлинскаго, его горячая проповѣдь въ пользу художественности и талантливости въ литературѣ, его эстетическое чутье, помогшее ему разгадать значеніе Пушкина и Гоголя въ нашей поэзіи, все это осталось совершенно незамѣченнымъ для г. Пыпина. Современный журналистъ увидѣлъ въ Бѣлинскомъ только одно достоинство, одну заслугу—*направленіе*. Можно думать, что, по мнѣнію г. Пыпина, никакого дарованія вовсе не требуется въ литературѣ, а нужно только направленіе. И дѣйствительно таковъ взглядъ, таковы требованія современнаго журнализма. Понятно, что какъ скоро журналистика замыкается въ безплодный формализмъ направленія, въ ней прекращается всякая живая производительность. Направленіе, лишенное внутренняго содержанія, враждебное всякому поступательному движенію въ смыслѣ изученія и разработки нравственныхъ и художественныхъ задачъ, не можетъ повести ни къ чему другому, кромѣ толченія воды и пересыпанія изъ пустаго въ порожнее. Возможна ли литературная производительность тамъ, гдѣ на все есть готовая формула, гдѣ все явленія жизни предрѣшены и гдѣ всякая попытка глубже всмотрѣться въ эти явленія и дать имъ болѣе вѣрное и жизненное освѣщеніе—заранѣе отвергается какъ несогласная съ *такимъ-то направленіемъ*.

Бѣлинскій, съ извѣстной точки зрѣнія, былъ писатель того самаго направленія, которое современный петербургскій

журнализмъ признаеть господствующимъ и единственно здравымъ. Но Бѣлинскій, конечно, энергически протестовать бы противъ такого сближенія, если бы судьба привела его увидѣть плоды, произросшіе изъ брошенныхъ имъ семянъ. Невозможно болѣе глубокое паценіе, какъ то, которое испытала наша журналистика въ періодъ времени, протекшій отъ „Литературныхъ Мыслей“ Бѣлинскаго до „Литературныхъ Характеристикъ“ г. Пышина. При Бѣлинскомъ мы видѣли журналистику, горячо и искренно борющуюся противъ застоя, формализма и бездѣйствія мысли, поцарапанности и бездарности, журналистику, которая въ литературѣ цѣнила прежде всего талантъ и ждала отъ писателя свободного, живого слова, проясненной мысли, самостоятельнаго выработаннаго убѣжденія. Направленіе, созданное у насъ Бѣлинскимъ, въ которомъ современный журнализмъ, глазами г. Пышина, ничего болѣе не видитъ, кромѣ такъ-называемыхъ „освободительныхъ идей“, видѣло освобожденіе прежде всего въ полнотѣ внутренняго содержанія нашей литературы и радостно шло навстрѣчу всякому свѣжему дарованію, нахоуло ли оно его въ сатирѣ Гоголя или въ антологическихъ стихотвореніяхъ Майкова. Недостатокъ болѣе серьезнаго образованія постоянно вредилъ Бѣлинскому и заставлялъ его бросаться въ крайности, печальнымъ образомъ отзывавшіяся на будущихъ судьбахъ нашего журнальнаго движенія: но въ этихъ крайностяхъ преимущественно виноваты тѣ зловѣщія силы, которыя послѣдовательно низвели нашу журналистику до ея нынѣшняго плачевнаго уровня. Настоящаго Бѣлинскаго надо искать не въ послѣднемъ періодѣ его дѣятельности, и въ особенности не въ уклоненіяхъ его послѣдователей, а въ его статьяхъ первой половины сороковыхъ годовъ, когда имъ руководило его художественное чутье.

Пониженіе уровня журнальныхъ идей, обнаружившееся у насъ съ начала шестидесятихъ годовъ, отразилось на поэтической дѣятельности г. Некрасова тѣмъ сильнее, что поэма его постоянно вдохновлялась журнальными мотивами, и изъ нихъ заимствовала свою силу. Если въ предшествовавшій литературный періодъ, при болѣе высокомъ

уровнѣ журналистики, муза г. Некрасова возвышалась иногда до произведеній талантливыхъ, каково, напримѣръ, стихотвореніе: *Воду ли ночью по улицѣ темной*, то въ послѣдніе годы произведенія этого поэта ушли до того низменнаго уровня, на которомъ коснѣеть современный петербургскій журнализмъ. Вѣрный господствующимъ журнальнымъ идеямъ въ эпоху ихъ сильнаго развитія и живучности, онъ остается вѣренъ имъ и при нивѣшиемъ ихъ мелководьи, и раздѣлитъ съ ними ихъ паденіе. Разница между предыдущимъ и послѣдующимъ періодами въ поэтической дѣятельности г. Некрасова такъ же замѣтна и существенна, какъ и между журналистикой сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ и журналистикой современною. Заимствованная сила лучшихъ прежнихъ стихотвореній его изсякаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ она изсякла въ пивавшемъ его источникѣ. Поэтъ оставляетъ общія идеи добра, блага, правды, составлявшія внутреннее содержаніе литературы предшедшаго періода, и обращается къ тѣмъ мелкимъ, такъ сказать, специализованнымъ интересамъ журнальнаго дѣла, которые выступаютъ на первый планъ въ самой журналистикѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ poeta оставляетъ всякая забота о художественныхъ цѣляхъ поэзіи, такъ какъ эти цѣли отвергнуты и осмѣяны повѣйшею журналистикой. Стихъ г. Некрасова, весьма небрежный и прежде, но въ своей небрежности не лишенный иногда силы и выразительности, въ послѣднихъ произведеніяхъ его становится совершенно прозаическимъ и водянистымъ: поэтъ какъ бы вполне подчиняется требованіямъ новой критики, которая ищетъ въ писателѣ только неуклоннаго вращенія около нѣсколькихъ темъ, предвѣщенныхъ стереотипными формулами петербургскаго либерализма.

Этотъ печальный упадокъ поэтическаго творчества отразился въ послѣднихъ произведеніяхъ г. Некрасова не только вообще, но и въ частностяхъ. Поэтъ тщательно слѣдитъ за всѣми оглощеніями идей петербургскаго журнализма, и если не предупреждаетъ ихъ, то всегда служитъ вѣрнымъ ихъ отголоскомъ. Такъ, напримѣръ, его отношенія къ русской народности измѣнились кореннымъ образомъ, соотвѣтственно новымъ отношеніямъ къ ней петер-

буржеской журналистики. Известно, что, вмѣсто нѣкотораго идеализированія русскаго простоты, вмѣсто исканія въ его природѣ здравыхъ началъ, журналистика шестидеся-
тыхъ годовъ стала относиться къ народу почти ругательно, изобличая его крайнюю тупость, нищету и грязь; вмѣсто народнаго молодчества и ухарства, выступили на сцену идіо-
тизмъ и забитость, безпробудное пьянство и кабацкая брань; вмѣсто красныхъ рубахъ, пилесовыхъ шароваръ и гармоникъ—
дохмотыя, рубища, зеленый полушторфъ и окровавленные ку-
лаки. Въ quasi-народной литературѣ — литературѣ г. Рѣ-
шетникова, г. Успенскихъ и пр. — повѣяло новымъ, осо-
бымъ запахомъ, который г. Некрасовъ, со свойственною ему
чуткостью ко всемъ журнальнымъ явленіямъ, тотчасъ опре-
дѣлить, сказавъ, что смѣсь

.... водки, конюшни и пыли—
Характерная русская смѣсь.

Собственно съ тѣмъ, и самъ г. Некрасовъ сталъ рисовать
русскихъ мужичковъ другими красками. Въ одной изъ его
послѣднихъ поэмъ: *Кому на Руси жить хорошо*, русскіе
мужички такимъ образомъ выражаютъ свои понятія о бла-
женствѣ:

Чтобъ вошь, блоха паскудная
Въ рубахахъ не плодилась,
Потребовать Лука.
— Не прѣли бы онученьки,
Потребовали Губны...

Всякій согласится, что русскій народный букетъ вышелъ
тутъ покрѣпче „смѣси водки, конюшни и пыли“, и что до
г. Некрасова одинъ только г. Рѣшетниковъ возвышался до
подобнаго реализма изображеній... Недурны также краски,
которыми г. Некрасовъ рисуетъ сельскихъ ловеласовъ и
прелестницъ:

Куда же ты, Оленушка?
Постой, еще дамъ пряничка.
Ты, какъ блоха проворная,
Наѣлась и упрыгнула,
Погладить не далась!

.....

Эй, парень, парень глупевкій,
Оборванный, паршивенькій,
Эй, полюби меня,
Меня простоволосую,
Хмельную бабу, старую,
Зааа-паа-чканную!

Въ сущности, эта новая народность такъ же далека отъ настоящей, такъ же замаскирована и поддѣльна, какъ народность *Огородника*; но новыя краски на палитрѣ г. Некрасова очень хорошо указываютъ, въ какую сторону направились современные литературныя вкусы.

Общественныя задачи, о которыхъ такъ много любить говорить современная журналистика и за равнодушіе къ которымъ она такъ горько упрекаетъ беллетристовъ предыдущей эпохи, пеняемо должны были сузиться при томъ пониженіи идей и понятій, которое настало въ журналистикѣ съ начала шестидесятыхъ годовъ. Мы уже говорили, что общія идеи блага, добра, правды, такъ-называемые общіе гражданскіе мотивы, уступили мѣсто мелкимъ, специализованнымъ интересамъ журнальнаго дѣла. У г. Некрасова есть цѣлая серія стихотвореній, посвященныхъ этимъ темамъ, то-есть внѣшнимъ судьбамъ нашего печатнаго слова. Выходить, напримѣръ, новый цензурный уставъ, г. Некрасовъ тотчасъ пишетъ стихотвореніе, въ которомъ типографскій разсылный слѣдующимъ либерально-водевильнымъ образомъ воспѣваетъ этотъ фактъ:

Вста ходить по цензурѣ!
Осlobонилась печать,
Авторы наши въ натурѣ
Стали статейки пущать.
Къ нимъ да къ редактору нынѣ
Только и носимъ статьи...
Словно повыспитъ въ чинѣ,
Ожгли дѣтки мои!
Каждый тепереча кротокъ,
Ну, да и вамъ-то расчетъ:
На восемь гривенъ подметокъ
Меньше износится въ годъ!

Въ фактъ отмены предварительной цензуры г. Некрасовъ только и увидѣлъ глазами типографскаго разсылнаго, что

„авторы наши въ натурѣ стали статейки пущать“, и что дядя Миша по этому случаю износитъ менѣе подметокъ. Въ другомъ стихотвореніи, *Наборщики*, этотъ нѣсколько странный взглядъ на свободную печать выраженъ г. Некрасовымъ еще конкретнѣе: отмѣна цензуры оказывается важною потому, что наборщикамъ дорогъ порядокъ, и они радуются что впередъ не придется перевертывать наборъ вслѣдствіе цензурныхъ помарокъ.

Въ работѣ безпорядокъ
Намъ сокращаетъ вѣкъ.
И лишній рубль не сладокъ.
Какъ боленъ человѣкъ...
Но вотъ свобода слова
Негаданно пришла,
Не такъ ужъ безтолково.
Авось, пойдутъ дѣла!

Ужъ не принижаютъ ли г. Некрасовъ, и не хочетъ ли сказать, что отмѣна цензуры подѣйствовала на безтолковость петербургской печати только въ томъ смыслѣ, что наборъ стали верстать сразу?

Отдавъ поэтическое привѣтствіе новому факту, г. Некрасовъ продолжаетъ тщательно отмѣлять по газетамъ дѣйствіе этого факта въ жизни. Онъ узнаетъ, напримѣръ, что было нѣсколько процессовъ по дѣламъ печати, и пишетъ на эту тему стихотвореніе: *Осторожность*. Попалось ему въ газетахъ свѣдѣніе, что какая-то книга уничтожена по приговору суда, и у него готово стихотвореніе:

Пропала книга! Ужъ была
Совсѣмъ готова—вдругъ пропала, и т. д.

Тутъ опять его поражаетъ не внутреннее содержаніе факта, а нѣкоторый, такъ сказать, внѣшній безпорядокъ явленія. Его безпокоитъ мысль, что вѣдь, можетъ быть, въ книгѣ слѣдовало выкинуть всего только „двѣ-три страницы роковыя“, а остальное дозволить, а между тѣмъ, уничтожена вся книга, и такимъ образомъ

Затраченъ даромъ капиталъ.
Пропали хлопоты большія.

Если бы судъ вырывать только двѣ-три странички, капиталь прощать бы небольшой, клопы также вышли бы умѣренныя, и поэтъ „свободнаго слова“, вѣроятно, совершенно бы успокоился. Что жь, у всякаго своя точка зрѣнія, и г. Некрасовъ имѣетъ полное право смотрѣть на уничтоженіе книги со стороны „затраченного даромъ капитала“. Только напрасно онъ полагаетъ, что эту точку зрѣнія съ нимъ „раздѣлитъ вся Россія“.

Тема поквталась г. Некрасову настолько благодарною, что онъ возвратился къ ней въ длинномъ стихотвореніи *Судъ*, названномъ имъ „современною повѣстью“. Въ этой вялой повѣсти, написанной стихами оперетокъ Александринскаго театра, разсказывается, какъ къ писателю явился въ полночь полицейскій чиновникъ, требуя его на судъ за предосудительныя мѣста въ его книгѣ. Конечно, это только поэтическая вольность, потому что требованіе къ гласному суду передается авторомъ болѣе простымъ порядкомъ, безъ таинственныхъ звонковъ въ полночь и безъ полицейскихъ офицеровъ со „звукомъ шпоръ“. Но дѣло не въ этомъ. Судъ присуждаетъ автора къ мѣсячному тюремному заключенію, во время котораго несчастнаго узника дожимають блохи, клопы, запахъ тююна и разговоры какого-то либеральнаго гвардейскаго офицера. Г. Некрасовъ стѣдующимъ образомъ заканчиваетъ свою повѣсть:

Блоха—безсонница—тютюнъ—
Усатый офицеръ болтунъ—
Тютюнъ—безсонница—блоха—
Все это мелочь, чепуха!
Но вѣрнѣе ли, читатель мой!
Такъ иногда съ блохами бой
Былъ тошени; смрадомъ тютюна
Такъ жизнь была отравлена;
Такъ больно клопъ меня кусалъ
И такъ жестоко дожималъ,
Что день, то новый либераль—
Что я закаялся писать...

Итакъ, попали осужденный авторъ на такую гауптвахту, гдѣ нѣтъ блохъ и клоповъ, гдѣ сторожа, вмѣсто тютюна, курятъ папирсы братьевъ Петровыхъ, и гдѣ къ заключен-

нимъ не является для либеральныхъ бесѣдъ гвардейскіе офицеры, гора «современной повѣсти», надо думать, быть бы совершенно доволенъ, а г. Некрасовъ совершенно спокоенъ.

Относись самъ такимъ вышнимъ образомъ къ духовнымъ интересамъ общества и литературы, г. Некрасовъ требуетъ отъ русскаго народа весьма не малаго. Въ поэмѣ его: *Жизнь на Руси жить хорошо*, мы находимъ слѣдующія пожеланія, на этотъ разъ даже не заимствованныя изъ газетныхъ фельетоновъ, потому что и фельетоны въ наше время стали смотрѣть на жизнь гораздо трезвѣе:

Эхъ, эхъ! придетъ ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадутъ понять крестьянину,
Что рознь портретъ портретику,
Что книга книгъ рознь?
Когда мужикъ не Блюхера
И не милорда глупаго —
Бѣлинскаго и Гоголя
Съ базара понесетъ?
Ой, люди, люди русскіе!
Крестьяне православные!
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена!
То имена великія,
Носили ихъ, прославили
Заступники народные!
Вотъ вамъ бы ихъ портретики
Повѣсить въ вашихъ горенкахъ,
Ихъ книги прочитать...

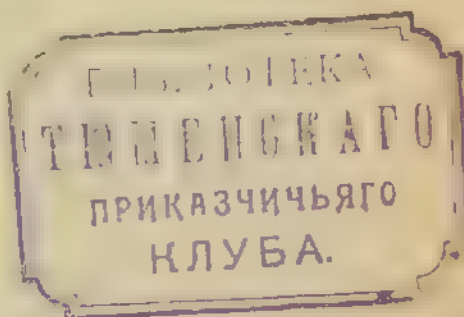
Къ сожалѣнію, при совершенномъ паденіи журналистики, кругъ журнальныхъ и газетныхъ темъ весьма ограниченъ, и г. Некрасовъ, видимо, испытываетъ затрудненіе въ пріисканіи сюжетовъ для своей поэтической дѣятельности. Изъ толстыхъ журналовъ совсѣмъ исчезла публицистика, притокъ новыхъ идей прекратился, старыя оплодотворились и замкнулись въ либеральную формалистику. При такомъ положеніи дѣлъ г. Некрасовъ нашелъ весьма удобнымъ эксплуатировать старый историческій фактъ, именно 14 декабря 1825 года, вѣроятно, разсчитывая, что интересъ событія возмѣститъ бѣдность поэтического творчества и некупить

прозаичность стиха, уже не „сурового и неуклюжаго“, а водянистаго и вялаго. Половина вышепятаго недавняго тома стихотвореній г. Некрасова посвящена 14-му декабря. Тутъ мы находимъ поэму *Дѣдушка*, въ которой разсказывается, какъ внукъ декабриста все спрашивалъ бабку, гдѣ его дѣдъ, и какъ самъ дѣдушка, наконецъ, вернулся домой, но на все вопросы любопытнаго внука отвѣчаетъ: „Вырастешь, Саша, узнаешь...“ Разсказъ пересыпанъ самымъ прозаическимъ благомысліемъ, въ родѣ:

Зрѣлище бѣдъ и вѣдъ народныхъ
Невыносимо, мой другъ,
Счастье умовъ благородныхъ
Видѣть довольство вокругъ...

Или:

Солнце не вѣчно сіяетъ,
Счастье не вѣчно везетъ;
Каждой странѣ наступаетъ
Рано или поздно чередъ,
Гдѣ не покорность тупая—
Дружная сила нужна:
Грядетъ бѣда роковая—
Скажется мигомъ страна.
Единодушье и разумъ
Всюду дадутъ торжество—
Да не придутъ они разомъ,
Вдругъ не создать ничего, и т. д.



Эта азбучная мораль, не лишенная нѣкотораго политическаго и претенціознаго оттѣнка, лучше всего свидѣтельствуешь, до какой степени истощилось содержаніе петербургской прогрессивной литературы: г. Некрасовъ, такъ горячо возстававшій нѣкогда противъ морали прописей, кончаетъ тѣмъ, что самъ обращается къ ней, не находя болѣе нищи въ нѣкогда вдохновлявшей его журналистикѣ.

Двѣ поэмы, подъ общимъ названіемъ *Русскія Женщины*, эксплуатируютъ тотъ же историческій фактъ. Содержаніе обѣихъ поэмъ совершенно одинаково: въ одной княгиня Т—ая, въ другой княгиня В—ая растутъ въ богатомъ родительскомъ домѣ, выходятъ замужъ, мужа ихъ попадаютъ въ катастрофу 14-го декабря и ссылаются въ Сибирь.

Жены рѣшаются ѣхать вѣдѣть за ними, чтобы разделить ихъ изгнѣніе, преодолеваютъ все трудности пути, все препятствія, поставляемыя имъ людьми и природою, и, наконецъ, соединяются съ мужьями въ сибирскихъ рудникахъ. Такова историческая канва обѣихъ поэмъ; неблагодарною ее, конечно, нельзя назвать, и, попадись она въ руки поэта, дарованіе котораго не выдохлось до такой степени, какъ дарованіе г. Некрасова, наша поэзія могла бы обогатиться произведеніемъ высокаго художественнаго интереса. Къ сюжету, сюжетъ оказался не по силамъ г. Некрасову, и все, что въ его поэмѣ не относится прямо къ историческому факту, поражаетъ плоскостію и сухостію. Это произошло, конечно, оттого, что самаго сюжета г. Некрасовъ почти не коснулся, почувствовалъ только тенденціозную его сторону. Внутреннее содержаніе факта не открылось г. Некрасову, не прошло черезъ горнило поэтическаго творчества; онъ удовольствовался тѣмъ, что разрубилъ вышнюю фабулу разсказа на рѣчмованныя строки—остальное должна сдѣлать тенденція. *Направленіе* удовлетворено—чего же больше?

Можно пойти далѣе и доказать, что г. Некрасовъ своимъ прикосновеніемъ даже испортилъ сюжетъ. Поэзія вещь весьма опасная, и когда поэтъ въ данную минуту не находитъ въ себѣ поэтическихъ струнъ, гораздо лучше прекратить рѣчмованную рѣчь и передать фактъ въ безыскусственной простотѣ прозы. Неудачный стихъ всегда въ тысячу разъ прозаичнѣе прозы: а у г. Некрасова въ *Русскихъ Женщинахъ* столько неудачныхъ стиховъ, что поэзія самаго факта исчезаетъ въ нихъ, и героини поэмъ, независимо отъ авторской воли, являются почти въ карикатурномъ видѣ. Какой поэтическій образъ не потерпитъ ущерба, когда ее заставляютъ выражаться такими роковыми виршиами:

Теперь разскажу вамъ подробно, друзья,
Мою роковую побѣду.
Вся дружно и грозно возсталъ семья.
Когда я сказала: „я ѣду!“

.....
Когда собралась мы къ обѣду,
Отецъ мимоходомъ мнѣ бросилъ вопросъ:
„На что ты рѣшилась?“—Я ѣду!

Конечно, никогда ботѣ драматическое движеніе поэтической женской души не было выражено такими плоскими стихами... Г. Некрасовъ пытается даже нарисовать вѣрный образъ своей героини и заставляеть ее говорить себѣ:

Сказать ли вамъ правду? Была я всегда
Въ то время царицею бала:
Очей моихъ томныхъ огонь голубой,
И черная съ синимъ отливомъ
Большая коса, и румянецъ густой
На личикъ смугломъ, красивомъ,
И ростъ мой высокій, и гибкій мой станъ.
И гордая поступь—плѣняли
Тогдашнихъ красавцевъ...

Хотя можно призадуматься надъ *отнемъ томины* очей, но приведенныя строки еще ничѣмъ не оскорбляютъ чувства красоты. Но г. Некрасовъ заставляеть героиню дополнить свой портретъ слѣдующими неумѣстными и плоскими чертами:

Училась я много; на трехъ языкахъ
Читала. Замѣтна была я
Въ парадныхъ гостиныхъ, на свѣтскихъ балахъ,
Искусно танцуя, играя;
Могла говорить я почти обо всемъ.
И музыку знала, и пѣла,
И даже отлично скакала верхомъ,
Но думать совсѣмъ не умѣла.

Эту характеристику поэтъ дополняетъ еще такою картинкой:

А ночью ямщикъ не сдержалъ лошадей.
Гора была страшно крутая,
И я полетѣла съ кибиткой моей
Съ высокой вершины Алтая!
.....
Дорога безъ снѣгу—въ тѣлѣ! Сперва
Тѣлѣга меня занимала,
Но скоро потомъ, ил жива ил мертва,
Я прелесть тѣлѣги узнала.
Узнала я голодь на этомъ пути;
Къ несчастію, мнѣ не сказали,
Что тутъ ничего невозможно найти,
Что почту буряты держали.

Говядину вялят на солнцѣ они,
Да грѣются чаемъ кирпичнымъ,
И тотъ еще съ саломъ! Господь, сохрани
Попробовать вамъ, непривычнымъ!
Зато подъ Нерчинскомъ мнѣ задали балъ:
Какой-то купецъ тороватый,
Въ Иркутскъ замѣтивъ меня, обогналъ
И въ честь мою праздникъ богатый
Устроилъ... Спасбо! Я рада была
И вкуснымъ пельменямъ и бань...
А праздникъ, какъ мертвая, весь проспала
Въ гостиной его, на диванъ...

Съ этою картинкой можетъ поспорить только нарисованный тѣмъ же г. Некрасовымъ сибирскій пейзажъ съ инородцемъ, поющимъ на *странномъ* языкѣ:

Луна плыла среди небесъ
Безъ блеска, безъ лучей,
Налѣво былъ угрюмый лѣсъ,
Направо — Енисей.
Темно! Навстрѣчу ни души:
Имщикъ на козлахъ спалъ,
Голодный волкъ въ лѣсной глуши
Провзательно стоналъ,
Да вѣтеръ бился и ревѣлъ,
Играя на рѣкѣ,
Да ивородецъ гдѣ-то пѣлъ
На странномъ (?) языкѣ...

Приведенныхъ выдержекъ, мы полагаемъ, вполне достаточно, чтобы читатели могли судить, какую ничтожность представляютъ *Русскія Женщины* въ отношеніи не только художественномъ, но даже просто литературномъ. Но г. Некрасовъ, очевидно, и не заботился ни о томъ, ни о другомъ. Вѣрный всякому новому журнальному толчку, г. Некрасовъ въ настоящее время, безъ сомнѣнія, исповѣдуетъ идею, постоянно проводимую г. Пилинымъ и всею вообще петербургскою печатью, — идею, по которой отъ писателя ничего болѣе не требуется, кромѣ *направленія*. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи сюжетъ *Русскихъ Женщинъ* оказался пригоднымъ, — пригоднымъ, конечно, въ весьма условномъ смыслѣ, такъ какъ между общественнымъ движеніемъ двадцатыхъ годовъ

и журнальными теченіями нашего времени нѣтъ ничего общаго. Остальное должны довершить нѣкоторыя придаточныя подробности, введенныя потомъ, очевидно, въ прямомъ расчетѣ именно на журнальныя теченія нашихъ дней. Такъ, напримѣръ, въ Иркутскѣ губернаторъ убѣждаетъ княгиню Т—ую отказаться отъ ея намѣренія и вернуться назадъ. Видя ея непреклонность, онъ грозитъ ей предстоющими ей ужасами, и, наконецъ, объявляетъ, что если она желаетъ ѣхать далѣе къ мужу, то должна подписать отреченіе отъ своихъ дворянскихъ и гражданскихъ правъ. Поэтъ заставляетъ княгиню отвѣтить на это слѣдующимъ образомъ:

„У васъ сѣдая голова,
А вы еще дитя.
Вамъ наши кажутся права
Правами—не шутя.
Нѣтъ! мнѣ я не дорожу.
Возьмите ихъ скорѣй!
Гдѣ отреченье? Подпишу!
И живо—лошадей!“

Княгиня В — ая встрѣчаетъ въ дорогѣ идущій изъ Сибири транспортъ серебра, сопровождаемый военнымъ конвоемъ.

Вошелъ молодой офицеръ; онъ курить.
Онъ мнѣ не кивнулъ головою,
Онъ какъ-то надменно глядѣлъ и ходить,
И вотъ я сказала съ тоскою:
„Вы видѣли, вѣрно... Известны ли вамъ
Тѣ... жертвы декабрьскаго дѣла...
Здоровы они? каково-то имъ тамъ?
О мужѣ я знать бы хотѣла...“
Начально ко мнѣ повернулъ онъ лицо—
Черты были злы и суровы—
И выпустивъ изо рту дыму кольцо,
Сказалъ: „несомнѣнно здоровы,
Но я ихъ не знаю, и знать не хочу.
Я мало ли каторжныхъ видѣлъ?“

Черта маленькая, но она заслуживаетъ упоминанія, потому что характеризуетъ несвободность мысли, для которой къ известнымъ явленіямъ, типамъ и единицамъ какъ бы

в. везинскій. сборн. крѣпач. статей.

обязательны именно тѣ, а не другія отношенія. Конвойный офицеръ въ современной беллетристикѣ непременно долженъ быть изображенъ *монстромъ*.

Несвободныя отношенія печатнаго слова къ жизни составляютъ главный недугъ нашего современнаго положенія. Въ духовной области нашей исчезло творчество, и мы питаемся тенденціей. Но тенденція не можетъ замѣнить литературу, такъ же какъ ремесло не можетъ замѣнить искусства: тенденція всегда будетъ игрою для духовной дѣятельности, и мы видѣли, какимъ зловѣщимъ образомъ это игро порабоцаетъ писателей съ задатками дарованія.

Упомянутый недугъ нашъ ведетъ начало не со вчерашняго дня. Первые симптомы его провидѣлъ еще Пушкинъ, и въ послѣдніе годы своей жизни сознательно съ ними боролся. Ихъ провидѣлъ и другой поэтъ той же эпохи, Мицкевичъ. На своихъ лекціяхъ въ Collège de France, а также въ весьма интересной статьѣ въ журналѣ Le Globe 1837 года Мицкевичъ очень ясно выражаетъ мысль, что для русской литературы только въ лицѣ Пушкина открывались далекіе горизонты, и что со смертію Пушкина русская литература кончилась. „Въ той эпохѣ, о которой говоримъ, писалъ Мицкевичъ въ упомянутой статьѣ, онъ (Пушкинъ) прошелъ только часть того поприща, на которое былъ призванъ: ему было тридцать лѣтъ. Зналие его въ это время замѣчали въ немъ большую перемѣну. Въмѣсто того, чтобы съ жадностью пожирать романы и заграничныя журналы, которые нѣкогда занимали его исключительно, онъ нынѣ болѣе любитъ вслушиваться въ рассказы народныхъ былинъ и пѣсней и углубляться въ изученіе отечественной исторіи. Казалось, онъ окончательно покидалъ чуждыя области и пускалъ корни въ родную почву. Одновременно разговоръ его, въ которомъ часто прорывались задатки будущихъ твореній его, становился обдуманнѣе и степеннѣе. Очевидно, поддавался онъ внутреннему преобразованію. Что происходило въ душѣ его? Принимала ли она безмолвно въ себя дуповеніе этого духа, который животворилъ созданія Манцони, Пеллико, и который, кажется, оплодотворяетъ размышленія Томаса Мура, также замолкшаго?

Какъ бы то ни было, я былъ убѣжденъ, что въ поэтическомъ безмолвіи его таились счастливыя предзнаменованія для русской литературы. Я ожидалъ, что скоро явится онъ на сценѣ человѣкомъ новымъ, въ полномъ могуществѣ своего дарованія, созрѣвшимъ опытностію, укрѣпленнымъ въ исполненіи предначертаній своихъ. Всѣ знавшіе его дѣлики со мною эти ожиданія. Выстрѣлъ изъ пистолета уничтожилъ всѣ надежды^{*)}. На лекціяхъ въ Парижѣ, рассказавъ о смерти Пушкина, Мицкевичъ говоритъ такимъ образомъ: „Такова была кончина русской литературы, образовавшейся подъ вліяніемъ Петра Великаго. Конечно, остаются еще великія дарованія, пережившія Пушкина; но на дѣлѣ русская литература съ нимъ кончилась. Онъ умеръ, этотъ человѣкъ, столь ненавидимый и преслѣдуемый всеми партіями: онъ оставилъ имъ свободное мѣсто. Кто же замѣнитъ его на этомъ упраздненномъ мѣстѣ? Писатели съ умомъ? Пушкинъ не былъ ли всѣхъ умнѣе? Пѣвцы сонетовъ и балладъ? Пушкинъ далеко превосшелъ ихъ. На какой новый путь попытаются вступить они? Съ понятіями, которыя они имѣютъ, имъ невозможно подвинуться на шагъ впередъ: русская литература на долгое время заторможена“^{**)}.

Мнѣніе высказано Мицкевичемъ очень рѣзко, но можемъ ли мы отказать ему вовсе въ основательности? Онъ смотрѣлъ на литературу, конечно, не съ той точки зрѣнія, съ какой смотритъ на нее г. Пыпинъ. Мицкевичъ понималъ литературу въ смыслѣ вѣщаго духовнаго творчества, въ какомъ она завѣщана классическою древностію, въ какомъ она является въ твореніяхъ Данте, Шекспира, Гете и Байрона. Въ этомъ смыслѣ было ли у насъ что-нибудь сдѣлано послѣ Пушкина?

Значеніе Пушкинской поэмы, уровень Пушкинской эпохи для насъ еще не совсѣмъ ясны. Развитие письменности въ послѣдующее время представляется намъ неоспоримымъ и всеобнимающимъ успѣхомъ: мы охотно вѣримъ, что Пушкинъ былъ только поэтъ въ ограниченномъ значеніи этого

*) „Русскій Архивъ“, 1873 г., июнь, стр. 1068 и 1069.

**) Тамъ же, стр. 1079.

слова, тогда какъ тотъ же Мицкевичъ свидѣтельствуетъ о томъ, что „когда говорить о политикѣ внѣшней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека замѣтнѣйшаго въ государственныхъ дѣлахъ и пропитаннаго ежедневнымъ чтеніемъ парламентскихъ преній“ ¹⁾. Мы представляемъ себѣ наши тридцатые годы временемъ умственнаго дилетантизма, и начинаемъ исторію нашей духовной возмужалости съ появленіемъ Бѣлинскаго. Но люди, бывшіе живыми свидѣтелями той эпохи, говорятъ о ней иначе. „Вспоминая всю обстановку того времени, — выражается одинъ изъ ветерановъ русской литературы, — все это движеніе мыслей и чувствъ, переносишься не въ дѣйствительное минувшее, а въ какую-то баснословную эпоху. Личности, присутствіемъ своимъ озарявшія этотъ міръ, исчезли: жизнь утратила поэтическое зарево, которымъ она тогда отцвѣчивалась; улетучились, выдохлись благоуханія, которыми былъ пропитанъ воздухъ этихъ ясныхъ и обаятельныхъ дней. Одна ли старость вырываетъ изъ груди эти сѣтованія о минувшемъ, почти похожія на досадливыя порицанія настоящаго? Надѣюсь, что нѣтъ.“ ²⁾.

Восходя къ Пушкинскому періоду нашей поэзіи, мы видимъ постепенное пониженіе ея уровня при каждомъ последующемъ поколѣніи. Сперва продолжается разработка Пушкинскихъ темъ, то-есть дѣйствуютъ тѣ „дѣвцы сонетовъ и балладъ“, о которыхъ Мицкевичъ съ горестію вопрошаетъ: Пушкинъ не былъ ли умѣе ихъ? Пушкинъ не превзошелъ ли ихъ? Потомъ къ этимъ Пушкинскимъ темамъ примѣшивается осадокъ горькаго, разочарованнаго чувства, печальное показаніе, насколько эпоха сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ была далеко отъ бодрыхъ упованій и свѣтлыхъ идеаловъ Пушкинскаго времени. Затѣмъ поэзія падаетъ окончательно и претерпѣваетъ величайшее униженіе, становится полуперемъ и служебнымъ орудіемъ крохотныхъ журнальныхъ идейъ. Въмѣсто Пушкина, наше время даетъ намъ г. Некрасова.

¹⁾ „Русскій Архивъ“, 1873 г., іюнь, стр. 1070.

²⁾ Тамъ же, стр. 1086.

Нѣтъ причины думать, что это быстрое повышение духовнаго уровня есть окончательный и неограниченный результатъ матеріальнаго прогресса, составляющаго содержание послѣднихъ десятилѣтій. Но нужно много времени, много упорнаго труда, много благоприятныхъ обстоятельствъ и счастливыхъ вліяній, чтобы поднять нашъ художественный и нравственный уровень до той высоты, на какой стоялъ онъ въ эпоху Пушкина.

В. Асѣенко.

*) Поэзія журнальных мотивовъ! Подъ этимъ заглавіемъ въ 6-й книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ помещенъ разборъ всей поэтической дѣятельности г. Некрасова, „черпавшаго свое вдохновеніе изъ самаго сомнительнаго источника — петербургскаго журнализма“. „Въ то время, говоритъ авторъ, скрывшійся подъ буквою А., какъ другіе поэты искали вдохновенія въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчныхъ идеалахъ искусства, г. Некрасовъ принималъ впечатлѣнія изъ чужихъ рукъ, вырабатывалъ свою поэзію въ редакціяхъ и служилъ какъ бы плутостранией направлений, попеременно господствовавшихъ въ извѣстной части журналистики“.

Итакъ, критикъ констатируетъ прежде всего тотъ несимпатичный ему фактъ, что поэтъ черпаетъ свое вдохновеніе въ редакціяхъ. Критику хотѣлось бы, что явствуетъ изъ общаго смысла его статьи, чтобы поэтъ черпалъ это вдохновеніе или въ проявленіяхъ жизни или въ вѣчныхъ идеалахъ искусства. Въ разсужденіи этихъ источниковъ болѣе всего удовлетворяетъ критика г. Феті. Онъ приводитъ нѣсколько стихотвореній изъ г. Фета и умиляется передъ прелестью Фетовской поэзіи. „Томительная нѣга“, „невывсканная мука“, „непонятныя слезы“, „несказанныя стремленія“, какая-то „малюжка изъ серебристо-снѣжнаго сіянія зимней ночи“, — весь этотъ эстетическій мистицизмъ г. Фета авторъ предпочитаетъ „поэзіи журнальных мотивовъ“. Конечно, онъ, рѣшаясь называть Некрасовскую поэзію поэзі-

*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1873 г., № 196 „Очерки современной журналистики“. Статья С. Т. В. (С. Т. Герцъ-Виноградскаго).

ей, насвистанной журнальными мотивами, не рѣшается назвать Фетовскую поэзію поэзіей, насвистанной эстетическим мистифицизмомъ. Онъ знаетъ, что уже вывелись добродушные и довѣрчивые читатели, вѣрившіе въ поэта, какъ жреца Аполлона, святаго лира котораго молчитъ до тѣхъ поръ, пока „божественный глаголѣть до слуха чуткаго коснется“. И только тогда, когда этотъ „глаголѣть“ коснется поэта, послѣдній имѣетъ право ричмовать свою „томительную тоску“ и „несказанныя стремленія“.

Тогда

Бѣжать онъ, дикій и суровый
И звуковъ и смятенья поля,
На берега пустынныхъ воли,
Въ широко-шумныя дубравы.

Г. Фетъ такъ и дѣлаетъ. Онъ, напр., въ стихотвореніи „Весеннія Мысли“ бѣжитъ „къ берегамъ, расторгающимъ ледъ“, гдѣ „солнце теплое ходитъ высоко и душистаго ландыша ждетъ“; тамъ у поэта кровь восходитъ до ланитъ, и онъ восклицаетъ:

О, называй меня безумнымъ! Назови
Чѣмъ хочешь. *Въ этотъ мигъ я разумомъ слабою,*
И въ сердцѣ чувствую такой приливъ любви,
Что не могу молчать, не стану, не умѣю!

„Только въ рѣдкія мгновенія страсти, когда разсудокъ теряетъ свою власть, поэтъ находитъ короткое, но полное счастье“, говоритъ по поводу этого четверостишія критикъ.

Не поздоровится отъ такихъ похвалъ!

Теперь я спрашиваю читателя, какой источникъ лучше: „божественный глаголѣть“ или „редакція? Если второй источникъ сомнителенъ, то первый не оставляетъ никакого сомнѣнія относительно своей недоброкачественности. Конечно, подъ журнальными мотивами критикъ разумѣетъ мотивы дѣланные, придуманные. Пусть такъ. Но развѣ для того, чтобы придумать умную мысль, не нужно быть умнымъ человекомъ? Но развѣ для того, чтобы передать умную мысль и индоксиризовать ея читателя, не нужно таланта? Человекъ, которому приходятъ въ голову умныя мысли, или который умѣетъ откликаться на умныя мысли, задержать

ихъ въ своей головѣ, разработать и отлить въ поэтическую форму, гораздо выше человѣка, носящагося, можетъ быть, и съ весьма умными, но тѣмъ не менѣе „невысказанными“ мыслями. Не знаю, кто нависталъ г. Некрасову (конечно, не Аполлоновскій глаголь) такія вещи, какъ „У параднаго подъѣзда“, „Илья Еремущин“, „Ѣду ли почью по улицѣ темной“, „Желѣзная Дорога“, „На Волгѣ“, „Морозъ—красный носъ“, „Русскія Женщины“ и много другихъ, но знаю, что „скорбное томленіе души и поэтическое чувство“ вылилось въ этихъ произведеніяхъ, какъ плодъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ. Конечно, въ этихъ произведеніяхъ вы не найдете того, что находить Бѣлинскій у Пушкина, вы не найдете ни античной пластики, ни удивительнаго акустическаго богатства, ни сладостной нѣги, ни ропота волш, ни яркости молвіи, ни прозрачности кристалла, ни благовопія и душистости весны, ни могучески-богатырскаго меча, но вы найдете въ нихъ то нѣчто, что будить и шевелить вашу мысль, что цивилизуетъ ваши инстинкты, что воспитываетъ въ васъ соціальнаго человѣка, что подвигаетъ васъ къ извѣковѣчнымъ идеаламъ, держащимъ въ тревогѣ человѣчество.

Критикъ все это игнорируетъ и казнить поэта нѣсколькими стихотвореніями, которыя онъ называетъ водевильно-сатирическими, а именно „чиновникомъ, оставляющимъ съ сильнымъ міра сего съ глазу на глазъ красавицу-дочь“, „бюрократомъ, живущимъ согласно съ строгой моралью и подкарауливающимъ похищенія своей жены, чтобы уличить ее съ полиціей“, „помѣщикомъ, рыскающимъ по полямъ съ борзыми и ломающимъ ребра встрѣчнымъ“, и т. д. Подтасовавъ такимъ образомъ всю поэтическую кододу г. Некрасова и сдавъ читателю однѣ поэтическія двойки, критикъ говоритъ: „таковы постоянныя любимыя темы стихотвореній г. Некрасова, которыя содѣйствовали упроченію его литературной славы“.

Въ остальномъ критика носитъ характеръ самой дѣтской придиричивости. Напр., цитируется стихотвореніе поэта:

.... Громъ ударилъ; буря стонетъ
И снасти рветъ, и мачту клонитъ.

Не время пѣсни распѣвать.
Вотъ пѣсь—и тотъ опасность знаетъ.
И бѣшено на вѣтеръ дасть.

Метафору поэта критикъ понять буквально, и восклицаетъ: „Однако, что лучше: пѣсни пѣть, или дать пѣсню на вѣтеръ?“ Ну, скажите, можно ли такого критика читать серьезно. Вся статья „Поэзія журнальных мотивовъ“ есть рядъ дѣтскихъ придиорокъ къ г. Некрасову. Чтобы не показаться читателю голословнымъ, приведу еще одну-другую выдержку. „Въ фактъ отмены предварительной цензуры г. Некрасовъ только и увидѣлъ глазами типографскаго разсылнаго, что

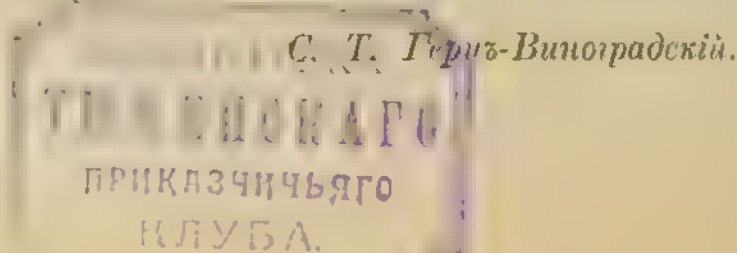
Авторы наши въ натурѣ
Стали статейки пуцать,

и что типографскимъ разсылнымъ

На восемь гривенъ подметокъ
Меньше возносится въ годъ“.

Неужели г. А. хочется, чтобы поэтъ въ эту минуту *ослабѣлъ разумомъ* и написалъ подъ вліяніемъ „прилива“ свободы какую-нибудь несоответствующую случаю штуку? Чѣмъ виноватъ поэтъ, что онъ не почувствовать „прилива“, и въ фактъ отмены предварительной цензуры увидѣлъ только удобства для типографскаго разсылнаго? Или: читателямъ, конечно, памятно стихотвореніе г. Некрасова: „Судь“. Въ этомъ стихотвореніи судь приежидаетъ автора къ тюремному заключенію, во время котораго автора донимають блохи, клопы, знаяхъ тютюна и т. п. и донимають такъ больно, что авторъ даетъ обѣтъ не писать.

„Попали авторъ на лучшую гауитвахту, онъ, значить, былъ бы совершенно доволенъ“, говоритъ г. А., нарочито забывающіи, какую предварительную душевную пытку вынесъ авторъ. И такъ далѣе въ этомъ родѣ.



*) Стихотворенія Некрасова. Часть пятая. Петербургъ, 1873 г. Цѣна 2 рубля.

Среди всеобщаго запустѣнія нашей современной литературы оградно встрѣтить то неподдѣльное чувство, тѣ поэтическія мѣста и художественные образы и картины, которые рисуются намъ въ послѣднихъ произведеніяхъ г. Некрасова. Недавно вышедшая пятая часть его стихотвореній показываетъ намъ, что талантъ нашего поэта-реалиста не ослабѣваетъ. Произведенія его съ годами получаютъ даже большую стройность и законченность. Второй отдѣлъ, если такъ можно назвать его „Русскихъ Женщинъ“, именно княгиня В. Н. Волска, долженъ быть поставленъ выше большей части прежнихъ произведеній, за исключеніемъ развѣ только знаменитаго „Паращаго Подъѣзда“. Въ этой пятой части его стихотвореній помѣщены слѣдующія произведенія: „Кому на Руси жить хорошо“—прологъ и первыя пять главъ, „Стихотворенія, посвященныя русскимъ дѣтямъ“ (I. „Дѣдушка Мазай и зайцы“, II. „Соловьи“), „Дѣдушка“—поэма (1857 годъ), „Недавнее Время“—очерки, „Русскія Женщины“ I. Княгиня Т—ая, поэма въ 2 частяхъ (1826 года), II. Княгиня В—ая. Бабушкины записки (1826—27 г.).

Какъ видно изъ этого перечня, въ пятой части, въ противоположность первымъ четыремъ частямъ стихотвореній г. Некрасова, преобладаютъ произведенія болѣе крупныя по размѣру и болѣе обширныя по задуманному плану. Всѣ они написаны въ послѣднее время, въ періодъ отъ 1856 по 1872 г., по крайней мѣрѣ, судя по выставленнымъ подъ ними самимъ авторомъ цифрамъ, и печатались въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Во всѣхъ нихъ, въ разныхъ мѣстахъ, замѣтно довольно искреннее чувство симпатіи къ простому человеку, видна любовь къ „несчастному русскому народу“ и сочувствіе поэта его страданіямъ. Не мало бытовыхъ сценъ и характерныхъ картинъ нашихъ нравовъ и различныхъ сторонъ походной жизни рисуется, напримѣръ, въ художественномъ, хотя и написанномъ стихами безъ рима, произведеніи — „Кому на Руси жить хорошо“, „Ирмарка“, „Пьяная Ночь“ —

*) „Сіяніе“ 1873 г., № 17.

прежній бытъ помѣщиковъ крайне хорошо и вѣрно съ дѣйствительностью, такъ же какъ и вѣрны слова, которыми кончается напечатанная часть этого произведенія:

Порвалась цѣпь великая,
Порвалась,—разскачлася:
Однимъ концомъ по баряну,
Другимъ—по мужику!..

Въ очеркахъ „Недавнее Время“ авторъ бросаетъ взглядъ назадъ, на то время, когда мы готовились къ реформамъ и когда только наступила первая изъ нихъ—крестьянская, на то время, про которое блаженной памяти оптимисты шестидесятыхъ годовъ начинали говорить или писать не иначе, какъ извѣстной фразой: „въ настоящее время, когда“... (слѣдовало перечисленіе реформъ и различныхъ благъ, излившихся на русскую землю); они считали это время чѣмъ-то прочнымъ, неизблемымъ, временемъ, которое не можетъ пройти для насъ почти безслѣдно. А между тѣмъ, десять лѣтъ спустя, г. Некрасовъ могъ справедливо воскликнуть, обращаясь къ нему:

Благодатное время надеждъ!..
Да, прошедшимъ и ты уже стало!

Говоря объ общемъ увлеченіи молодежи того времени и о тѣхъ обвиненіяхъ и укорахъ, которые сыпались на ея голову, поэтъ замѣчаетъ:

Правда, правда! Народъ молодой
Бралъ подчасъ непосильныя роли.
Помолчать бы вамъ лучше, глупцы,
Да рѣшеньемъ вопроса заняться:
Таковы ли бываютъ отцы,
Отъ которыхъ герои рождаются?..

Но самыя поэтическія мѣста встрѣчаются, безъ сомнѣнія, въ поэмѣ „Русскія Женщины“. Напримѣръ, прочтите хоть монологъ княгини В—ской, обращенный къ русскому народу, — къ тому простому народу, который она узнала и оцѣнила только во время своего несчастія. Онъ начинается словами:

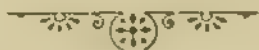
...Хочу я сказать
Спасибо вамъ, русскіе люди!

и кончается этимъ прекраснымъ мѣстомъ, полнымъ грусти,
благодарности и энергій:

Примите мой низкій поклонъ, бѣдняки!
Спасибо вамъ всѣмъ посылаю!
Спасибо!.. считали свой трудъ ни во что
Для насъ эти люди простые;
Но горечи въ чашу не подлилъ никто,—
Никто изъ народа, родные!..

Да, за подобныя прекрасныя мѣста поэту можно отпущать многія изъ его прегрѣшеній.

Изъ „Сіянія“ 1873 года.



*1 Еще за 1873 г. см. о Некрасовѣ въ „Вѣстникъ Европы“, № 3 (библиографическая замѣтка на оберткѣ: „Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ“ Хрестоматія для всѣхъ Изд. Гербеля, стр. 536—538, Спб.

Прижъч. В. Зелинскаго.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

писателей, литературных произведений и названий газетъ и журналовъ, встречающихся на страницахъ второй части „Сборника критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ“

- Авдѣева. 4.
 Авсеенко, В. 86—90, 148—150, 151—153, 162—197, 200.
 Аксаковъ. 2, 6.
 Алмазовъ. 50.
 Андреевъ, П. 58, 86.
 Антоновичъ, М. 44, 45.
 „Баба-Яга“. 129, 130.
 Бальзакъ. 93.
 Бартеневъ. 135.
 Батюшковъ. 166.
 Байронъ. 195.
 Бергъ. 45.
 „Библіотека для Чтенія“. 14, 28, 145.
 „Биржевыя Вѣдомости“. 35, 44, 160—162.
 Блюхеръ. 188.
 Боборыкинъ. 98.
 Бокль. 79.
 Боткинъ, В. 43, 86.
 Булгаринъ. 2, 105, 110.
 Буренинъ, В. 57, 127—132—141, 146, 157—160.
 „Бада Проповѣдникъ“, Полонскаго. 51.
 Быковъ, В. 25.
 „Бѣдная Лиза“, Карамзина. 60.
 Бѣлинскій. 41, 45, 58, 59, 86, 91, 128, 180, 181, 182, 188.
 Вагнеръ. 34.
 Велинскій, М. 36—41.
 „Взбаламученное Море“, Писемскаго. 92, 93.
 Волконская, кн. 135, 161, 162.
 Волконскій, кн. 161.
 Вормсъ. 45.
 „Воскресный Досугъ“. 21—25.
 „Время“. 28.
 „Всемирный Трудъ“. 27, 44.
 „Выборъ“. 27.
 „Вѣстникъ Европы“. 45, 181, 203.
 „Вѣсть“. 44.
 „Въ дорогѣ“. 173.
 „Газетная“. 62, 72.
 „Генералъ Топтыгинъ“. 33, 132.
 Герценъ. 49.
 Герцъ-Виноградскій, С. 197—200.
 Гете. 38, 166, 176, 195.
 Гейне. 38, 167, 171.
 Гоголь. 2, 50, 99, 181, 182, 188.
 „Голосъ“. 28, 69.
 Гончаровъ. 25, 26, 62, 91, 92, 148.
 „Гражданинъ“. 98.
 Грановскій. 41, 43, 45.
 „Графиня Монсоро“. 128.
 Григорьевъ, А. 86.
 „Гроза“, Островскаго. 154.
 Данте. 195.
 Дарвинъ. 67, 85.
 „Дворянское Гнѣздо“, Тургенева. 93.
 „Двѣ Діаны“. 128.
 Декартъ. 79, 80.
 Денисовичъ. 20.
 „День“. 2, 5, 6, 10, 13.
 „Дешевая Покупка“. 8.
 Диккенсъ. 93.
 Добролюбовъ. 5, 13, 49, 154.
 „Довольно“, Тургенева. 97.
 „Донъ“. 44.
 Достоевскій. 174.
 Дрозъ. 126.
 Дружининъ, А. 20.
 Дудышкинъ. 2.
 „Дѣдушка“. 57, 189, 201.
 „Дѣдушка Мазай и зайцы“. 201.

- „Дѣло“. 44, 91, 127, 128, 129, 130, 131, 132.
 „Желѣзная Дорога“. 199.
 „Живописное Обозрѣніе“. 25.
 „Живя согласно съ строгою моралью“. 26.
 „Жница“. 9.
 Жоржъ-Зандъ. 93.
 Жуковский. 4, 45, 165.
 Жуковский, Ю. Г. 44
 „Журналъ для дѣтей“. 15—20.
 Загоскинъ. 105.
 Загуляевъ, М. 27.
 „Записки въ Мертваго Дома“, Достоевскаго. 174.
 „Записки Охотника“, Тургенева. 93.
 „Заря“. 41—44, 45, 48, 51.
 Зайцевъ, В. 1—13.
 Звонаревъ. 98, 99.
 Золя. 126.
 „Иванъ Выжигинъ“. 98.
 „Извозчикъ“. 23.
 „Изъ природы“, Вагнера. 34.
 „Иллюстрированная Газета“. 20—21, 45—48, 86.
 „Искра“. 30, 86.
 „Исторія Цивилизацій“, Бокля. 79.
 Каразинъ. 130, 131, 132, 150.
 „Катерина“. 55.
 Кашпиревъ. 97.
 „Кіевскій Телеграфъ“. 36—41.
 Ключниковъ. 92.
 „Книжный Вѣстникъ“. 13—14.
 Козловъ. 31.
 „Коломенская Роза“. 98.
 „Колыбельная Пѣсня“. 14.
 Кольцовъ. 21.
 „Комикъ XVII столѣтія“. 154.
 „Кому на Руси жить хорошо“. 36, 48, 89, 123, 151, 154, 155, 159, 162, 184, 188, 201.
 Кореро. 82.
 „Коробейника“. 23, 155, 161.
 „Королева Марго“. 128.
 „Космосъ“. 45.
 Краевскій. 28, 29, 50, 151.
 Крестовскій, В. 45, 113, 127, 132.
 Крестовскій (псевд.). 97.
 „Критика Направленій“, Соловьева. 27.
 Кроль. 45.
 „Кузнечикъ Музыкантъ“, Полонскаго 51.
 Кукольникъ. 97, 105.
 Курочкинъ. 45, 46, 52, 61.
 Лажечниковъ. 97.
 „Le Globe“. 194.
 Лермонтовъ. 3, 31, 132, 133, 165, 166.
 „Литературное паденіе гг. Антоновича и Жуковскаго“, П. Рождественскаго. 45.
 „Литературныя Мечтанія“, Бѣлинскаго. 182.
 „Литературныя Характеристики“, Пыпина. 182.
 „L'homme qui rit“. 94.
 „Люди сороковыхъ годовъ“, Писемскаго. 97.
 Лѣсковъ. 92, 97.
 Манцони. 194.
 Марко-Вовчокъ. 125.
 Майковъ. 1, 4, 22, 25, 26, 45, 50, 86, 162, 166, 171, 182.
 „Медвѣжья охота“. 41, 43, 46, 70, 74.
 Мей. 25, 45, 86, 166.
 Милль. 62.
 Минаевъ. 45, 46, 52, 61, 89, 146.
 Михайловскій. 142.
 Мицкевичъ. 194, 195, 196.
 „Морозъ — красный носъ“. 7, 9, 20, 23, 161, 199.
 „Москвитянинъ“. 6.
 „Муза“, Некрасова. 14.
 „Муза“, Пушкина. 14.
 „Муза“, Фета. 168.
 Муръ, Томасъ. 194.
 „Наборщики“. 186.
 „На Волгѣ“. 23, 199.

- „На далекихъ окраинахъ“, Ка-
разина. 130.
„Наяды“, Полонскаго. 51.
„Недавнее Время“. 202.
„Неизвестному другу“, Антоно-
вича. 45.
„Нешоукрашенная Старина“, ст.
Ткачова. 91.
„Песжатая Полоса“. 20.
„Песчастные“. 161.
„Нива“. 132.
„Новое Время“. 48, 58—68—75—
86, 141—144, 154—157.
„Новости“. 145—147.
„Новый годъ“. 14.
„Notre Dame de Paris“. 94.
„Нужна ли намъ литература?“.
180.
„Обрывъ“, Гончарова. 92.
„Обыкновенная Исторія“, Гонча-
рова. 93.
„Объ отношеніяхъ Некрасова къ
Бѣлинскому“, П. С. Тургенева.
45.
„Огородникъ“. 173, 185.
„Одесскій Вѣстникъ“. 44, 197.
Омелевскій. 146.
„О погодѣ“. 179.
„О преподаваніи русской литера-
туры“, В. Стоюнина. 14.
„Орина, мать солдатская“. 9.
„Осторожность“. 62, 186.
Островскій. 154.
„Отечественныя Записки“. 2, 14,
27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36,
41, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 56,
57, 59, 128, 142, 147, 148, 151,
154, 161, 201.
„Отрывки изъ путевыхъ записокъ
гр. Гараискаго“. 14.
„Отцы и Дѣти“, Тургенева. 45,
92, 93.
Пальминъ. 31, 45.
„Папаша“. 14, 48.
Пеллико. 194.
„Петербургскій Листокъ“. 179
Печерскій, А. 174.
Писаревъ. 25, 26, 49.
Писемскій. 25, 26, 91, 92, 97, 148.
„Писемскій, Тургеневъ и Гонча-
ровъ“, ст. Писарева. 25, 26.
Плещеевъ. 45, 146.
Полонскій. 25, 45, 49, 50, 51, 52,
53, 56, 86, 145, 162, 166, 170.
„Портретная галлерей русскихъ
дѣятелей“. 44.
Постный (П. Н. Ткачовъ). 91.
„Поэзія журнальныхъ мотивовъ“,
ст. Авсеенко. 162, 200.
„Поэтъ и гражданинъ“. 172.
„Приговоръ“, Майкова. 26.
„Пригча о кивелѣ“. 27.
„Пришли и стали тѣни ночи“, По-
лонскаго. 51.
„Пропала Книга“. 62.
„Публика“. 62, 70, 73.
Де-Пуле. 146.
Пушкинъ. 51, 52, 53, 132, 135,
165, 166, 170, 171, 172, 174,
181, 194, 195, 196, 197, 199.
„Пѣсня Еремушки“. 23.
„Пѣсня Любви“. 46.
„Пѣсня о трудѣ“. 46.
Пыпинъ. 181, 182, 192, 193.
Раевскій, П. 161.
„Разборъ „Музы“ Некрасова срав-
нительно съ „Музой“ Пушки-
на“, ст. В. Стоюнина 14.
„Размышленія у параднаго крыль-
ца“. 13.
„Разсылный“. 69.
„Ревизоръ“, Гоголя. 99, 157.
Ришелье. 84.
Рождественскій. 45.
Розенгеймъ. 4.
„Русская Старина“. 135.
„Русское Слово“. 1, 26, 28.
„Русскіе поэты въ біографіяхъ и
образцахъ“. 203.
„Русскія Женщины“. 89, 141, 142,
147, 148, 151, 161, 189, 190,
192, 199, 201, 202.

- „Русскій Архивъ“. 58, 135, 195, 196.
 „Русскій Вѣстникъ“. 162, 197.
 „Русскій Міръ“. 86, 148.
 Рѣшетниковъ. 184.
 Рылѣевъ. 133.
 „Рыцарь на часъ“. 8, 11.
 „Савонаролла“. Майкова. 26.
 „Саша“. 26, 42, 43.
 „Сватъ и женихъ“. 55.
 „Свистокъ“. 164.
 Свистуновъ. 58.
 Семевскій. 135.
 Сеньковскій. 145.
 „Сіаніе“. 203.
 „Современникъ“. 1, 2, 3, 5, 14, 27, 28, 30, 45, 46, 48, 89, 164, 174, 178.
 „Солнце и мѣсяцъ“. Полонскаго. 51.
 Соловьевъ, Н. 27—32.
 „Соловьи“. 201.
 „Сорокалѣтніе Опыты“, Авдѣвой. 4.
 Спенсеръ. 62.
 „С.-Петербургскія Вѣдомости“. 25, 32—35, 45, 56, 57, 86, 127, 132, 142, 146, 157.
 Станицкій. 98, 99, 120, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 131.
 Стасюлевичъ. 97, 99.
 „Статейки въ стихахъ безъ картинокъ“. 14.
 „Статуя“, Полонскаго. 51.
 „Стихотворенія Н. А. Некрасова“, ст. В. Зайцева. 1.
 „Стихотворенія, посвященныя русскимъ дѣтямъ“. 201.
 Стоюнинъ, В. 14.
 Страховъ, Н. 41, 44, 48—56.
 „Судъ“. 27, 36, 62, 187, 200.
 „Сѣверное Сіаніе“. 20.
 Сю. 93.
 „Тарасъ Бульба“. 60.
 Теккерей. 93.
 Ткачовъ, П. Н. (Постный). 91.
 Толстой, А. 50.
 „Три Смерти“, Майкова. 26, 171.
 „Три страны свѣта“. 91, 98, 99, 105, 113, 114, 123, 127, 128, 129, 130.
 Тролопъ, Антони. 92, 93.
 „Тройка“. 23.
 Тургеневъ. 25, 26, 45, 56, 62, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 104, 124, 125, 148.
 Тютчевъ. 1, 45, 50, 51, 86, 166, 170.
 „Тысяча Душъ“, Писемскаго. 93.
 „У Аспазіи“, Полонскаго. 51.
 „Убогая и нарядная“. 27.
 „У параднаго подъѣзда“. 199, 201.
 Успенскій, Гл. 100, 154, 184.
 Фетъ. 1, 22, 25, 45, 58, 86, 87, 162, 166, 167, 168, 169, 170.
 „Физиологія Петербурга“. 14.
 „Филантропъ“. 26, 27.
 Флоберъ. 126.
 Ханъ. 97.
 Хомяковъ. 2, 50, 56.
 „Царь Симеонъ“, Полонскаго. 51.
 „Циркуляры Одесскаго учебнаго округа“. 20.
 „Чиновникъ“. 14.
 Шекспиръ. 170, 195.
 Шенье. 166.
 Шиллеръ. 38.
 „Шинель“, Гоголя. 157.
 „Школьникъ“. 23.
 Щедринъ. 31, 154, 161.
 Щербина. 166.
 „Бду ли ночью по улицѣ темной“. 23, 26, 89, 199.
 Энгельгардтъ. 154.
 „Эпилוגъ къ ненаписанной поэмѣ“. 26.
 Языковъ. 2.
 „Я покинулъ кладбище унылое“. 13.
 „Ярмарка“. 201.

ВЪ СКЛАДѢ ИЗДАНИЙ

В. А. ЗЕЛИНСКАГО

(Москва, Спиридовіевская улица, д. Бойцова)

находятся слѣдующіе сборники критическихъ статей:

Собрание критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Три выпуска. I и II выпуски изд. 6-е, а III—изданіе 5-е. Цѣна каждому выпуску 2 р.

Критическій комментарий къ сочиненіямъ Ф. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Четыре части. Первые три части изданіе 4-е, а четвертая часть—изданіе 3-е. Цѣна каждой части 2 р.

Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ Н. А. Некрасова. Три части. Первая часть изданіе 3-е, а 2-я и 3-я—изданіе 2-е. Ц. по 1 р. за часть.

Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Ц. по 1 р. за часть. (1-я и 2-я части изданіе 4-е; 3-я, 4-я, 5-я и 6-я части вышли 3-мъ изданіемъ, а седьмая часть—2-мъ изданіемъ).

Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Восемь частей. Ц. по 1 р. за часть. (1-я и 3-я части—4-е изд.; 2-я, 4-я и 5-я части вышли 3-мъ изданіемъ, а 6-я, 7-я и 8-я части—2-мъ изданіемъ).

Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Первая и вторая части—изд. 4-е, а третья часть—изд. 3-е. Ц. по 1 р. за часть.

Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти“. Изд. 3-е. Ц. 50 к.

Критическіе разборы романа Л. Н. Толстого: „Война и Миръ“. Ц. 3 р. (Оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ Л. Н. Толстого“).

Критическіе комментарий къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. 1-я, 2-я и 3-я части—изд. 3-е, а остальные части—2-е. Ц. по 1 р. за часть.

Критическіе разборы „Дворянскаго Гнѣзда“ и „Наканунъ“—Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. Изд. 4-е. Ц. 80 к.

Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. Изд. 3-е. Каждая часть по 1 р.

А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина“. Изданіе 2-е. Ц. 2 р.

Критическіе разборы „Записокъ Охотника“—Тургенева. Изд. 3-е. Ц. 50 к.

Критическіе разборы романа „Новъ“—Тургенева. Ц. 70 к.

Критическіе разборы повѣсти „Рудинъ“—Тургенева. Изд. 2-е. Ц. 40 к.

Критическіе разборы романа „Дымъ“—Тургенева. Изд. 2-е. Ц. 40 к.

Критическіе разборы романа Ф. М. Достоевскаго—„Преступленіе и Наказаніе“. Ц. 1 р.

Критическіе разборы „Записокъ изъ Мертваго Дома“—Достоевскаго. Ц. 40 к.

Критическіе разборы „Мертвыхъ Душъ“—Гоголя. Ц. 1 р.

И. С. Тургеневъ. Біографія, ходъ развитія его таланта и общая оцѣнка его литературной дѣятельности. Оттискъ изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“. Ц. 50 к.

V3/
11

